

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

12/2015

Содержание

ПРОЗА

- Алексей РЯСКИН. Запрудское. Рассказы.3**
Надежда ГЕРМАН. Дом, где рождаются радуги. Рассказы.70
Игорь КОЖУХОВ. Дедова правда. Рассказ. 112

ПОЭЗИЯ

- Владимир СВЕТЛОСАНОВ.**
«Выходил из Генуи корабль...» Стихи.62
Станислав ЛИВИНСКИЙ. «Без раствора и глины,
пера и бумаги...» Стихи..... 106
Олег ГОРШКОВ. Хлеб тишины насущной. Стихи. 116

ДРАМАТУРГИЯ

- Серафима ОРЛОВА. Дерево без цветов. Постсоветская пьеса. 119**

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Георгий ПАНКРАТОВ. Креативный класс и все-все-все. 158**

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Алексей КУРИЛКО. Слово в защиту Рассказчика. 177**

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана БЕЛЯЕВА. Сибирская старина в графике**
Владимира Колесникова. 189

- Авторы номера 191**

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Алексей РЯСКИН

ЗАПРУДСКОЕ

Р а с с к а з ы

ДЕРЕВНЯ

Дома в Запрудском стояли так близко, что пауки опутывали пространство между ними единой паутиной и ползали с одной крыши на другую прямо над головами прохожих. Бывало, ляжешь летом ночью смотреть на звезды, а пауки так и мелькают в небе, переползая от одного созвездия к другому. Запрудским женщинам по нескольку раз в неделю приходилось брать в руки вилы и убирать паутину над грядками лука или петрушки, чтобы она не создавала тени. А местами паутина была такой плотной, что под ней можно было стоять в дождь и не мокнуть.

Если пройти по деревенской улице, можно заметить, что дома похожи друг на друга, как семечки одного яблока. Это потом уже, спустя много-много лет, их будут строить из камня и досок, покрывать крыши железом и шифером, и они уже не будут казаться одинаковыми. А сейчас почти все дома построены из самана — глины, смешанной с соломой, побелены жиденьким раствором извести и напоминают севшие на мель корабли. А зимой, когда метель может мести по три дня кряду, они похожи на заметенные снегом буханки хлеба, разбросанные каким-то неведомым великаном по полю.

Со всех сторон деревня окружена степью и бесчисленным множеством полей, таких больших, что не всякая птица перелетит их без передышки. Когда приходит пора пропалывать свеклу, деревенские бабы уходят из дому на неделю и живут в поле, засыпая прямо на грядке, там, где их застанет ночь. В такие дни деревня становится сама не своя. Дети без присмотра матерей бегают с утра до ночи голыми, питаются лишь клеєм с вишневых деревьев и козьим молоком и взрослеют быстрее обычного. Вся домашняя скотина, от кур до свиней, либо обжирается, накормленная небрежной мужской рукой, либо сохнет от голода, когда мужики засыпают, забывая дать им корм. Внутреннее убранство домов преобразается в это время удивительно: все вещи, от ножей до калаш, вдруг начинают жить своей жизнью, самостоятельно передвигаясь с места на место, создавая тем самым невообразимый беспорядок. Старики и старухи с утра

до ночи крестятся, глядя на безумствующую деревню, и до боли в языке повторяют, что во времена их молодости такого не было. Даже сама природа, кажется, странно волнуется, чувствуя не заполненные женщинами места, и выкидывает разные фокусы вроде восходящего с запада солнца или теплого, как парное молоко, дождя. Но самое большое влияние эти дни оказывают на мужчин. Без присмотра жен мужья пьют, дерутся и вытворяют самые невероятные поступки.

Однажды, дуря от жары, безделья и долгого отсутствия жены, Колька Морданов взял лопату и стал рыть яму посреди плотины на Обросиновом пруду. Через час к нему присоединился проезжавший мимо Витька Кондусов по прозвищу Ёся. Работали молча, изредка утирая лицо краем рубахи, и без того уже мокрой от пота. Вдвоем они быстро проломили плотину. Вода хлынула на луг, окружая пасущихся на нем коров. Пока Колька с Ёсей перегоняли коров на безопасное расстояние, подошли другие мужики.

— Вот что наделали, сволочи! — удивленно закричал кто-то.

Посоветовавшись, решили прокопать канаву вокруг яблоневого сада и соединить Обросинов пруд с рекой Хворостянской. Сходили за лопатами. Кто лопаты не нашел, взял вилы. Петька Кулаков пригнал запряженную лошадь, чтобы перевозить глину.

К вечеру следующего дня канава превратилась в небольшую речушку, соединившую два водоема. Мужики смотрели на бегущую вокруг сада воду, выпивали и гордились сделанной работой. Кто-то даже предложил соединить таким же каналом Обросинов пруд с Навозным прудом, но его никто не поддержал.

Когда женщины вернулись со свеклы, на берегу новоиспеченной речки уже гнездились гуси и зацветала мать-и-мачеха. Всем пришлось по душе такое изобретение. Только старая Бащева покачала головой и сказала мужикам: «Дурачье».

Две ближайшие деревни, Красный Лог на севере и Можайское на юге, были точным подобием самого Запрудского, за исключением, пожалуй, лишь прудов. И хотя обе они были сравнительно недалеко, пару часов пешком до каждой, жители редко ходили туда. Все сплетни и новости приносил участковый Калатушкин — единственный в то время представитель закона на три деревни. Это был высокий, нестарый еще мужчина с копной соломенных волос на голове и усами, похожими на конскую гриву. В плечах он был широк настолько, что в некоторые дома заходил боком, не вмещаясь в дверной проем. Обычно Калатушкин ездил на велосипеде от одной деревни до другой, привнося в крестьянский быт чувство порядка и справедливости. Жители всех трех деревень очень уважали своего участкового и в знак признательности часто угощали его водкой или самогонном. К спиртному организм Калатушкина был расположен самым лучшим образом. Пил он помногу, хмелея только после второй бутылки, и никогда наутро не страдал. Здоровье и хорошая закалка позволяли ему обойти пять-шесть домов зараз и в каждом выпить по стакану.

Под конец, когда выпитое уже просилось обратно наружу, он отказывался от закуски и занюхивал листиком мяты. Лицо его становилось румяным и довольным, и Калатушкин поворачивал назад к дому. Возвращался он в страшном шатании, держась за стебли растущей вдоль дороги полыни. Не чувствуя в себе сил обходить оставленные коровами кучи, Калатушкин звонко шлепал по ним сапогами и возвращался домой в совершенно непотребном виде.

Был лишь один случай, когда участковый напился так сильно, что не мог идти сам, и его пришлось нести домой на руках. Как-то в середине июля из города приехала комиссия: искали самогонщиков. Калатушкин лично сопровождал приезжих — двух высоких, чахоточного вида мужчин и женщину, которую, судя по внешнему виду, в детстве кормили только редькой.

В тот день деревня напоминала курятник, в который забросили лису. Все бегали, как при пожаре, и прятали банки, бутылки и прочие емкости. Многие хоронили в огороде, предварительно сделав какую-либо понятную только им отметину, чтобы не забыть, где закопано. У Кольки Морданова огород был засажен так плотно, что негде было вилы воткнуть — обязательно на что-нибудь наткнешься. Он не один раз ругал жену за то, что та слишком усердствует при посадке, но, несмотря на это, упрямая женщина продолжала сажать овощи так часто, что Колька даже специально приводил друзей, и те на спор плевали в его огород, стараясь попасть на землю. Но все без толку: ни один плевок не коснулся земли на огороде Мордановых. Ботва от картошки, листья помидоров, огурцов и прочих овощей укрывали почву так плотно, что пробиться сквозь них мог только сильный ливень. Именно поэтому Колька решил прятать свои запасы и сам перегоночный аппарат в стоге сена. Морданов загнал своего сына Ваську на самый верх скирда и вилами подавал ему банки. Васька проворно закапывал их в недрах соломы, пахнувшей прошлогодним летом. Отец все время повторял снизу, чтобы он был осторожен и не побил стекла. Васька бережно, словно ребенка, прижимал к груди самогон, боясь выпустить из рук. Ему не терпелось хотя бы кончиком языка попробовать, что за сокровище они закапывают в соломе. Пряча последнюю бутылку, Васька не удержался, вынул пробку, сделал несколько глотков и с криком упал со скирда. Отец выругался, поднял сына и повел промывать желудок сывороткой.

Витька Комольй, прозванный так из-за того, что держал быка с обломанными рогами, закапывал банку самогона в уголь, но поскользнулся и разбил ее. Он так разозлился, что пинал уголь до тех пор, пока не сломал себе палец на ноге.

Те, кто жил на берегу реки, прятали все в мешки и топили их в камышах, надежно привязав к какому-нибудь деревцу или специально вбитому кольишке. Федот Захаров и его дядя Яков, которого все в деревне звали дядей Яхимом, прятали банки в мешки с мукой. Неожиданно для себя они нашли в муке две бутылки, спрятанные еще в прошлом году. Одна

из них была все еще цела, другая оказалась пустой. Видимо, мыши выгрызли бумажную пробку, и содержимое бутылки вылилось. Яхим лично обнюхал мешок и убедился в том, что часть муки провоняла самогоном. Ёся решил все опустить в погреб и зарыть в свекле. Он подготовил место и стал аккуратно складывать бутылки. Из каждой Ёся делал по глотку и только после этого клал под защиту свеклы. К концу, когда была спрятана последняя бутылка, Ёся так напился, что не смог вылезти из погреба и заснул прямо там, на свекле. Жена долго звала его, даже пыталась разбудить, поливая сверху водой, но все было без толку. В конце концов она повесила на погреб замок, закрыла дом и ушла в поле.

Во всей деревне только Ванька Шеин не стал ничего прятать. Найдя в доме всего одну бутылку, он не раздумывая сел ее выпивать, резонно решив, что прятать ему нечего.

Утром того дня старый Калтон вынес самогонный аппарат в кусты смородины за домом и успел нагнать ведро, когда до него дошли слухи о бродившей по деревне проверке. Слегка захмелевший, он отмахнулся от кричавшей над ухом жены, взял ведро и отнес к колодцу.

— Пусть так и стоит, на самом виду, — сказал он. — Скажем, что вода. Никто не догадается.

Жена закричала еще громче, обозвала его дураком и пьяницей. Но Калтон остался непреклонен. Он поставил ведро самогона на лавку у колодца и пошел тушить костер за кустами смородины. Жена на всякий случай прогнала всех детей на улицу, чтобы случайно не выпили из ведра.

Калатушкин и комиссия пришли к дому Калтона, когда тот уже начал дремать, пригревшись на солнце. Участковый был в хорошем подпитии: пока приезжие чиновники лазили по погребам и чуланам, он успевал пропустить стаканчик, заботливо приготовленный для него хозяином дома на случай, если комиссия все же что-нибудь найдет и потребует заступничество Калатушкина. Калтон как ни в чем не бывало наблюдал за тем, как двое мужчин лазали по его курятнику, пытаясь отыскать там следы самогонварения. Устав от безрезультатных поисков, комиссия приняла решение возвращаться.

— А это что у тебя? — спросил Калатушкин, тыча пальцем в ведро самогона. — Вода?

— Ага, — кивнул Калтон.

Участковый взял со скамейки пустую литровую банку, вытряхнул пыль, зачерпнул и стал пить. Сделав несколько жадных глотков, он остановился и стиснул зубы, чтобы не закричать. Калатушкину показалось, что через его глотку протащили куст шиповника с длинными, как цыганская игла, шипами. Даже в пьяном виде он сразу понял, что перед ним целое ведро неразбавленного первача. Жена Калтона ойкнула и убежала в дом, зажав рот подолом. Калтон угрюмо посмотрел ей вслед, а затем снова повернулся к Калатушкину. Участковый, хоть и был выпивши, сразу сообразил, чем дело пахнет, и действовал без промедлений.

— Что ж ты, нищеврод, ведро не помоешь? — закричал он, грозя Калтону кулаком. — Вода вся насквозь провоняла! Небось, куры пьют из ведра?

— Куры, — повинулся Калтон.

— Смотри у меня! — сказал Калатушкин, выливая недопитую банку назад в ведро. — Пойдемте ко мне, я вас компотом из вишен напою, — сказал он членам комиссии.

Участковый сделал несколько нетвердых шагов, зашатался и сел на землю. Мужчины из комиссии кинулись к нему. Калатушкин крикнул им что-то неразборчиво-веселое, пожал одному из них руку, закрыл глаза и упал на траву.

Калтон благодарно смотрел на раскинувшегося у него во дворе участкового, который ценой собственного здоровья сохранил его тайну. Вместе с мужчинами из комиссии Калтон занес Калатушкина к себе в дом, уложил на кровать и накрыл простыней, чтобы мухи не беспокоили. Позже Калатушкин объяснял всем, что это был солнечный удар.

Вечером того же дня, сразу после отъезда комиссии, вся деревня доставала спрятанное, пила и пела песни. Бабы сидели на лавках перед домом, румяные и наряженные, и громко лузгали семечки, а мужики стояли рядом и что есть силы скалили зубы безо всякого повода. Колька Морданов с гармонью наперевес ходил вдоль улицы, горланя что-то задорное. Когда бабы просили его сыграть плясовую, Колька весело гыкал, начинал дрыгать ногами и затем уже подыгрывать в такт собственным движениям. Бабы бросали семечки и тоже начинали плясать. Дети не спали, бегали по деревне и кидали в пьяных мужиков засохшим навозом. Получалось смешно и весело.

Ёся, очнувшись от будоражившего деревню веселья, долго стучал в запертую дверь погреба, звал жену, матерился и просил его выпустить. Измучившись от голода, он начал грызть свеклу, сплевывая жесткую шкурку и налипшие на нее комья земли под ноги. Проходившие мимо мужики слышали его крики и, не найдя ключа, выломали дверь вместе с петлями. Ёся долго обнимал каждого из них, а затем, схватив черенок от лопаты, хотел было идти искать жену и поквитаться с ней за то, что закрыла в погребе. Насилу его остановили.

ТИХИЙ ВЕЧЕР

В семье Калтона было девять детей. После рождения Витьки, самого младшего, Полина, жена Калтона, целый месяц спала в хлеву, боясь подпускать к себе мужа и снова забеременеть. Она так пропахла коровьими отходами, что, когда наконец вернулась ночевать в дом, дети заплакали от резкого запаха, а мухи стали дохнуть прямо в полете. Стулья, пол, кровати — все было усеяно дохлыми мухами, как семечками подсолнечника. Дети собирали их на счет, кто больше. Полина металась от одного к другому, отбирая сжатых в кулачках насекомых, все еще не понимая, что

она сама является причиной творящегося в их доме безобразия. Запах, исходивший от ее тела, был поистине устрашающим. Даже сам Калтон закашлялся, когда жена разделась и легла рядом с ним. Всю ночь ему мерещилось, что его душит Сашка Последов — деревенский пастух, известный тем, что моется только два раза в году: на Ильин день и под Рождество, в проруби. Измучившись, он растолкал жену и велел ей идти мыться. Полина целый час лежала в отваре ромашки и зверобоя, чтобы отмыть неприятный запах от своего тела. На следующий вечер, перед тем как лечь спать, Калтон обнюхал жену с головы до ног и убедился в том, что запах коровы все еще мерещится ему. Он выругался и натер себе ноздри цветками полыни, чтобы хоть как-то заснуть. Так он делал целый месяц, пока наконец запах хлева не исчез. Этот случай навсегда отбил у Калтона охоту касаться жены, чему она, собственно, была только рада.

Дом у Калтоновых был небольшой, в три комнаты. Но зато это была не саманная хата, а настоящий сруб. Когда родился Витька — последний, девятый ребенок в семье, Калтон собственноручно разломал их старый глиняный дом и стал строить новый, деревянный. Почти два месяца Полина и дети ночевали в сарае на мешках с зерном, пока возводились стены их нового жилища, засыпая под скрип сверчков и мышинный шорох. Сам Калтон спал прямо на земле, под открытым небом, в окружении привезенных днем бревен и досок. Всякий раз ему снилось, что дом уже достроен, и, просыпаясь утром, он всегда огорчался, что это был только сон. Озлобившись, он хватал топор и яростно рубил какой-нибудь подвернувшийся под руку чурбан. Вечером приходили мужики и помогали строить. Работали весело, бескорыстно, от всей души, как будто строили для себя. Ближе к ночи, когда уже вытянутой руки было не увидеть, работы прекращались и все расходилось по своим домам. Калтон не прекращал работу до тех пор, пока не уходил последний из помогавших мужиков. Несколько раз он даже случайно бил себе по руке обухом топора, когда кто-то задерживался дольше обычного и вся стройка окончательно тонула в крошечной тьме летней ночи. Когда же наконец все расходилось, Калтон бросал работу, ложился на землю и засыпал прямо посреди строительного мусора. И ему опять снилось, что дом уже построен.

Как-то в полдень Калтон присел отдохнуть. Полина принесла ему кружку холодного кваса и хлеб с горчицей. Сбежались дети и стали бегать вокруг отца. Они визжали, кидали друг в друга землей, дрались и кричали. Калтон не спеша жевал черствый хлеб, остро пахнувший горчицей, и угощал им детей. Старшие, Иван и Дарья, попробовав горчицы, только скривились в лице. А Сашка, Клавка и годовалая Райка заплакали и принялись жевать траву, чтобы перебить горечь. Полина стала кричать на мужа, а тот лишь смеялся.

У калитки остановилась горбатая старуха. Она подошла ближе и стала внимательно осматривать строящийся дом. Дети сразу притихли и спрятались за матерью. Старуха молча смотрела на дом и шевелила носом,

будто приносиваясь к чему-то. Ее поношенное грязное платье и платок были усеяны мухами, которые не улетали, даже когда она крутила головой. Это была старая Хрупалка, чья дурная слава была известна на все три деревни.

Калтон отставил квас и заматерился, прогоняя ведьму от дома.

— Болеть будут в этом доме, — сказала Хрупалка, будто и не слыша брани Калтона. — Положи в угол кольцо, чтобы болезни не подступали. Пока лежать будет — не заболеее.

Сказав это, старуха ушла. Калтон посмотрел ей вслед, а затем пошел разбирать фундамент в одном из углов. Дождавшись ночи, он тайком, чтобы никто из соседей не видел, спрятал в одной из угловых подпорок серебряное кольцо жены.

Как-то в полдень Калтон забивал щели в стенах. Он смешивал глину с соломой и тщательно затыкал пустоты между бревнами. К нему подошел Фёдор Беженцев. Поздоровались. Фёдор присел на чурбан и закурил, а Калтон продолжил работу. Он знал, что Фёдор, как только докурит, снова начнет вспоминать свое прошлое и тихо плакать.

На самом деле фамилия у Фёдора была совсем другая. И жил он в Запрудском только второй год, переехав откуда-то издалека. Себя и свою семью Фёдор называл беженцами, никому не объясняя смысла этого слова. Да никто и не интересовался. Так их в деревне и стали звать: Беженцевы. Семья у них была небольшая: сам Фёдор, его жена Фёкла, трое ребятишек и старая рябая бабка Таня — мать Фёклы. Дом их стоял как раз между домами Кулаковых и Последовых, рядом с яблоневым садом.

Фёдор был известен всем своей привычкой плакать. Здоровый мужик, с огромными сливового цвета усами и головой размером с ведро, плачущий как младенец — это было слишком непривычным для деревни, чтобы не заметить. Обычно он приходил к кому-то в гости и начинал вспоминать свою жизнь до приезда в Запрудское. Переезд он считал вынужденным злом, никому, однако, толком так и не объяснив его причины. Он вспоминал улицу, на которой рос, вспоминал соседей и знакомых, вспоминал собак, бегавших во дворе, вспоминал деревья, камни, дорогу и небо. И, сам того не замечая, плакал. Фёдор плакал тихо, про себя, никому, в сущности, не мешая. Но все, кто был рядом, чувствовали эту судорогу в его груди, эту беду, которую он все пытался выплакать и не мог.

Калтон заделал очередную щель и покосился на Фёдора. Тот дымил папиросой, украдкой смахивая слезы. Прибежали дети Калтона и начали прыгать вокруг отца. Он ругался, прогоняя их, но те лишь громче смеялись. Фёдор угрюмо смотрел на них, думая о чем-то своем.

— Полька! — сердито закричал Калтон жене. — Забери детей, пока я их не зашиб!

— А слышал, что говорят? — вдруг сказал Фёдор. — Скоро, говорят, детей в банках начнут выращивать.

— Как это? — не понял Калтон.

— Как-как... Обыкновенно. Как рассаду.

— Галиматъя какая-то!

— Никакой галиматьи. Наука!

— А бабы тогда на что?!

— Найдется и им дело, — пообещал Фёдор, затаптывая окурочек.

— Брехня! — уверенно сказал Калтон и снова принялся за работу.

— Васька Шеин в газете читал, — возразил Фёдор. — Там брехать не будут.

— Где ж это он газету достал?

Газеты в деревне были такой редкостью, что в них верили меньше, чем в то, что на конце радуги спрятано золото. Обычно газеты, точнее их отдельные страницы, в Запрудское случайно заносило ветром откуда-то издалека, из города. Тогда те немногие, кто умел разбирать буквы и складывать из них слова, читали вслух всем без разбору до тех пор, пока смысл прочитанного не становился им самим хоть немного ясен.

Помолчали.

— Я чего зашел-то, — опять заговорил Фёдор. — Мне бы лошадь да телегу.

— На что тебе?

— Нужник завтра собрался почистить. Вывезти бы на телеге.

— Неужто целую телегу набрали?

— Целую не целую, а ведрами не перетаскать, — уверенно сказал Фёдор.

Калтон стал вспоминать, нужна ли ему назавтра лошадь или нет. Могла понадобиться. А может, и нет. Он и сам толком еще не знал.

— Ладно, — решил Калтон. — Завтра с утра вывезем.

— Вот спасибо! — обрадовался Фёдор.

И чтобы Калтон не успел передумать, он быстро встал и ушел, оставив его наедине с работой.

Вечером Калтон сидел с семьей и ужинал. Полина наварила щей с крапивой и щавелем, достала банку сметаны, порезала хлеб, налила всем по кружке парного молока. Ели прямо на улице, под открытым небом. Калтон с Иваном вынесли из сарая стол и поставили его у калитки — остальной двор был занят стройкой. Прохожие желали им приятного аппетита, а Калтон лишь молча кивал в ответ. Младшие дети крошили хлеб и бросали его под стол, где уже и без этого было полным-полно уток и кур. Дарья тихо разговаривала с матерью о домашних заботах. Иван с отцом ели молча.

Тихий вечер, казалось, длился целую вечность. Все дневные звуки затихали, и деревня тонула в трелях проснувшихся сверчков. На нетемном еще небе робко появились первые звезды. Прекрасная пора. Природа еще не спит, но уже и не бодрствует. Грань между вымыслом и явью, между реальностью и небылицей в этот момент настолько тонка, что местами прорывается, открывая волшебству дорогу в наш мир. Именно в такие моменты случаются чудеса.

Калтон смотрел на дорогу. Уставший, сытый и довольный, он все же не торопился ложиться. В такие вечера хочется посидеть подольше. Из сарая слышалось тихое пение — там Полина укладывала младших детей. С отцом сидел лишь Иван.

— Смотри-ка, Анылка, — сказал Иван, показывая куда-то в сумрак.

Калтон посмотрел туда, где еле виднелась какая-то маленькая согнувшаяся тень.

— Анылка, — узнал он. — Все гуляет.

По улице во тьме, словно призрак, медленно шла старуха Анылка. Она была старой настолько, что волосы, падавшие с ее головы, рассыпались в прах, не успев долететь до земли. Сморщенное, изжеванное годами лицо, тоненькие, кривые, как ветки вишен, ручки, провалившиеся куда-то вглубь черепа глаза — все в ее облике говорило о том, что смерть излишне церемонится с ней. Само время было заперто внутри этого тщедушного тельца и все падало, падало куда-то в крошечную тьму ее старости. Даже птицы облетали старуху за версту, пугаясь ее бездонного возраста. Жила Анылка в полуразвалившемся доме у пруда. Жила абсолютно одна. Говорят, что воздух в ее доме был настолько пропитан старостью, что там даже мухи не водились. Дом, в котором жила Анылка, был точным отображением ее внутреннего состояния: слишком старый, чтобы стоять, и слишком крепкий, чтобы рухнуть. Впрочем, сказать, что она жила в доме, было бы не совсем правильно. Анылка ходила. Все время, с утра и до утра, она была где-то, но не в своем доме. Согнувшись в три погибели и медленно переставляя крошечные, высушенные старостью ножки, Анылка истаптывала деревенские дороги, казалось, не зная усталости. Куда она шла, к кому и зачем, было совершенно непонятно. Она ходила, ходила, ходила все по тем же улицам, мимо тех же домов, которых она толком даже не видела из-за того, что была безжалостно согнута к земле давящими на нее годами... Ни дождь, ни снег, ни лютая жара — ничто, казалось, не волнует ее. Важно только то, что дорога должна всегда продолжаться и ее ноги должны по ней идти. У Анылки не было ни огорода, ни хозяйства, ни родных. Питалась она лишь тем, что ей давали соседи. Деревенские бабы всегда звали старуху к своему столу. Это считалось чем-то вроде хорошей приметы. Несмотря на свои годы, старуха была прекрасным собеседником и мудрым советчиком. Ее память не притупилась от прожитых лет и была остра, как вилы. Она помнила по именам каждого человека в Запрудском, включая детей. С Анылкой говорили, Анылку слушали и прислушивались к ее советам. Порой ей доверяли самые сокровенные тайны, о которых не решались сказать даже жене или мужу.

Калтон встал и подошел поближе к забору, чтобы не шуметь и не будить детей.

— Анылка, — позвал он. — Заходи в гости. Посиди со мной, поужинай.

Тень у дороги стала приближаться. Старуха, не говоря ни слова, открыла калитку, прошла мимо Калтона к столу и села с краю, как будто только за этим сюда и шла. Калтон молча сел рядом.

— Иван, принеси-ка еще молока, — велел он сыну.

Анылка тем временем взяла лежавшую на столе краюшку хлеба и стала медленно, по-стариковски жевать ее.

— Давай я тебе шей-то налью, — предложил Калтон. — Чего всухомятку-то жевать?

Старуха отрицательно качнула головой.

— Сегодняшние, — сказал Калтон. — Полька с крапивой наварила.

— Я у Шеиных ужинала.

Голос у Анылки был смешной, тоненький. Когда она говорила, казалось, что во рту у нее жужжит залетевший туда комарик.

Иван принес молока и пошел в сарай спать. Ему было страшно смотреть в сжеванное временем лицо Анылки, как если бы он смотрел в бездонную пропасть, в которую ему предстояло прыгнуть в будущем.

Калтон остался посидеть со старухой, поговорить.

— Скоро, видать, закончишь, — сказала Анылка, кивая на строящийся дом.

— Как бог даст, — ответил Калтон.

— Скоро, скоро, — будто убеждая его, повторила старуха.

Помолчали. Воздух был теплый, пахнувший травой и еще чем-то непонятно-сладким. Калтон вдохнул полной грудью и, сам того не ожидая, улыбнулся. Запах, что был разлит повсюду, шел не от травы, не от земли и цветов, но откуда-то из глубин времени, из самого детства. Калтон поднял голову к небу. Оно, казалось, совсем близко — на вытянутую руку от макушки. Так бы и достал до ближайшей звезды!

— Как живешь-то? — спросил он, переводя взгляд на Анылку.

— Живу, бог милует.

— Может, помочь чего?

— Чего мне помочь?

— Ну, дело, может, какое...

— У меня теперь одно дело — пожить да помереть. Это у тебя вон дела.

Старуха говорила без злости, без жалости, вообще без эмоций. Казалось, что речь ее льется подобно тому, как Анылка ходит: естественно, без всякой на то причины, ни для чего.

— Хрупалка тут приходила... — начал Калтон и, не зная, что еще добавить, замолчал.

— Ты ее слухай. Она баба мудреная.

— Ведьма же, ясно люди говорят, — угрюмо сказал Калтон.

— С простинкой-то люди, вот и говорят. А она баба умная. Слухай ее.

Калтон пожал плечами. Умная ли Хрупалка или люди глупые — это его не касалось. Главное, чтобы его семья не болела.

— Слышала, говорят, детей теперь будут в банках выращивать? — повторил Калтон услышанную днем новость.

— А по мне — пусть хоть из яиц высидивают, лишь бы здоровыми были да работали, — невозмутимо сказала Анылка, запивая хлеб молоком.

— А бабы-то куда?

Но старуха, ничего не ответив, встала из-за стола.

— Пойду, — просто сказала она. — Спасибо за хлеб.

— Погоди, — попытался остановить ее Калтон. — Посиди еще.

Но та лишь махнула рукой:

— Поздно. Пойду.

И она ушла. Калтон постоял немного у калитки, посмотрел вслед удалявшейся скрюченной тени, а затем пошел спать. Всю ночь ему опять снилось, что дом уже построен.

ДОБРО ВЫКИДЫВАЮТ

Хорошо летом в яблонево́м саду. Тихо, прохладно. Так бы и сидел здесь вечно. Облокотись о теплый шершавый ствол яблони и смотришь, как солнце то выглянет из-за листвы, то снова в ней спрячется. Никого вокруг, ни души. Изредка пролетит какая-нибудь птица, задев крылом ветки. Проползет муравей, таща соломинку. Ветер тронет траву, будто поцелует. Бабочка встрепенется и взлетит с цветка. Хорошо! А трава-то, трава!.. Зеленая, сочная и мягкая, как волосы матери. Припадешь к ней, вдыхаешь ее запах, будто хочешь надышаться на всю предстоящую жизнь. И все никак не надышишься.

Федот Захаров лежал в траве, широко раскинув руки, и смотрел в спрятанное за ветками яблонь небо. Здесь, в саду, утопая в траве и цветах, он чувствовал, что жизнь проста и прекрасна и все в ней правильно и понятно. Так бы и лежал, так бы и лежал! Рядом с ним валялся топор и, казалось, тоже наслаждался выпавшим на его долю отдыхом.

Федот, его дядя Яхим и старший сын Федота Иван заготавливали дрова на зиму. Гроза, что была в мае, поломала много яблонь. И Федот до сегодняшнего дня ждал, когда сваленные деревья немного подсохнут и их можно будет порубить на дрова.

Послышались шаги, скрип телеги и голоса. Это из дома возвращались Иван и дядя Яхим. Федот нехотя встал, поднял топор и, поплевав на ладони, снова принялся рубить неподатливые ветки. Дядя Яхим привязал лошадь, а Иван нарвал ей свежей травы. Рубили по очереди. Пока один рубил, другой складывал все это в телегу, а третий подтаскивал новые деревья. Затем менялись. И снова работали. И снова менялись.

Перевозив несколько телег, решили пообедать. Прямо на траве разложили снесь: вареные яйца и картошка, лук, хлеб, сало, несколько веток молодой петрушки и бутылка молока.

Каждый, кто когда-нибудь ел под открытым небом, знает, что никакие лакомства в мире не сравнятся с простым куском хлеба, съеденным на природе, под сенью пахнущих летом деревьев. Как будто ветер и солнечные лучи снимают с пищи что-то невидимое для глаз, что-то, что прячет от нас ее истинный вкус.

Ели молча, изредка перебрасываясь короткими фразами о предстоящих делах. Иногда дядя Яхим или сам Федот вспоминали какой-нибудь случай и рассказывали. Ветра не было, но ветки яблонь все равно едва заметно вздрагивали. Казалось, что деревья устали стоять неподвижно и разминают затекшие конечности. По стежке, ведущей к Обросиновому пруду, медленно шла Анылка. Все трое молча посмотрели на нее и уже через секунду забыли. Прогулки этой старухи были настолько привычны, что на нее уже давно никто не обращал внимания. Где-то бляела коза, уставшая, по-видимому, от жажды. С другой стороны сада слышались звонкие металлические удары — кто-то перебивал корову. Временами сад пронизывала трель какой-то незнакомой птицы.

Поев, Федот и дядя Яхим легли на траву и уснули, а Иван пошел прогуляться. Спустившись к ручью, которым не так давно запрудские мужики соединили Обросинов пруд с Хворостянской, он снял калоши, засучил штаны до колен и опустил ноги в воду. Приятный холодок пробежал по всему телу. Лягушки, напуганные Иваном, тут же попрыгали в воду. На противоположном бугре какая-то баба поила корову. Сколько Иван ни щурился, он так и не смог рассмотреть ее лица. Зато он прекрасно видел, как она махала веткой, отгоняя от коровы оводов и слепней, мешавших той пить. Посидев немного у ручья, он вернулся назад. Отец и дядя спали. Лошадь, привязанная неподалеку, лениво жевала сорванную Иваном траву. Иван тоже лег, положив под голову пустой свернутый мешок. Очень скоро его сморил сон.

Захаровых знали все. Это была одна из самых зажиточных семей в деревне. Дед Федота, Захар Петухов, был знаменит тем, что мог завалить лошадь голыми руками. Он не раз проделывал это на спор и всегда выигрывал. Это был человек редкого здоровья и огромной силы. Однажды Захар убил мешком муки двухгодовалого жеребца. Забирая муку с мельницы, он, как всегда это делал, не носил мешки, а бросал их в телегу, стоя у порога. И то ли жеребец дернулся, то ли Захар как-то не так швырнул мешок, но только тот, пролетев несколько метров, ударил жеребца в шею и свернул ее. Эту историю знало и помнило все Запрудское. Надо ли говорить, что с Захаром никто не связывался. Да и с чего бы кому-то пришлось в голову с ним связываться? Несмотря на свой рост и силу, а может, благодаря им, это был человек добрый, незлопамятный и прямой в общении. Он жил так, как хотел, никого ничему не уча, ни с кого ничего не спрашивая. Таким людям, как Захар, жизнь кажется чем-то вроде неотесанного бревна, которое нужно обработать, превратить в хорошую доску и положить в общую кучу к уже готовым доскам. А что с этими досками будет дальше — уже не его забота. И он работал. Работал чест-

но, на совесть и с удовольствием. Редкий дар приниматься за любое дело с радостью был неотъемлемой частью Захара Петухова. Впрочем, это было неотъемлемой частью почти всех жителей Запрудского. Работа не была здесь чем-то отличным от самой жизни. Работа была чем-то вроде дыхания или моргания глаз. Этому не нужно было учиться. К этому не нужно было принуждать. Тело само этого требовало.

У Захара было много детей. Большая часть из них умерла еще в младенчестве. Другие уехали из Запрудского и потерялись из виду. В самом Запрудском остались лишь двое младших сыновей — отец Федота Степан и его брат Яков. Вместе с ними Захар построил недалеко от Навозного пруда собственную мельницу, о которой давно мечтал. Когда ему было уже за шестьдесят, он сам носил домой мешки с мукой. Несколько километров под солнцем с двумя полными мешками на плечах не были для него чем-то необыкновенным. Здоровый организм его, казалось, лишь креп с годами, и все обещало ему долгую жизнь. Но случилось иначе. Когда жена Захара Аглая, промучившись трое суток с животом, умерла, с ним что-то случилось. Он как будто надломился где-то внутри, ввалился сам в себя. На похоронах он не уронил ни слезинки, но всем было видно, что горе его настолько велико, что его не выплакать никакими слезами. Слезы впитывались его глазами, не давая горю выйти наружу, копя его где-то внутри Захара. Он быстро угас. Перестал есть, стал плохо спать и еще начал говорить сам с собой. Через три месяца после похорон жены Захар умер. Вышел из дома на заре, сел на порожках — да так и застыл, глядя на восход. Его нашел пастух, гнавший коров в поле. Злые бабы говорили, что это его Аглая с собой забрала. Но пастух всем говорил, что, когда он нашел Захара, на лице у него была улыбка.

Степан, сын Захара, унаследовал от отца нерушимое здоровье и большую силу. Он тоже любил покидать тяжелые мешки, но все же делал это реже своего отца, считая чем-то вроде баловства. После смерти обоих родителей он стал жить вдвоем с братом Яковым. Чтобы заглушить засевшую в сердце тоску по отцу и матери, они с головой окунулись в работу. Напряженным, почти отчаянным трудом братья пытались заполнить каждую свободную минуту в дне. Заметив, что свободное время все же остается, они ко всему прочему завели еще пчел. И вскоре боль одиночества потонула где-то глубоко на дне их больших сердец, окруженных броней труда и любви к жизни.

Первым женился Яков. Невестой его была дочь Сашки Степанова Груша. Это была молодая еще девка, не слишком красивая, но зато работающая и добрая. Они были женаты ровно пять дней. Наутро шестого Яков уже был вдовцом. Его жена Груша утонула в Навозном пруду. Никто так и не узнал, как она там оказалась и зачем. Яков был настолько огушен горем, что после похорон залез в подпол и пил там не переставая целый месяц. Напрасно Степан пытался его вытащить оттуда, Яков только ругался в ответ, спяну путая слова, так что ничего нельзя было разобрать. По ночам он громко плакал, звал Грушу и ползал туда-сюда,



разбивая банки с вареньями и не давая брату спать. Через месяц, вымыв из себя самогоном тоску по жене, Яков вылез из подпола. От количества выпитого и долгого пребывания в темноте он весь покрылся морщинами и ослеп на один глаз. Степан закричал от страха и упал с кровати, когда увидел однажды утром стоящего перед ним брата. Яков, невообразимо худой, с кожей цвета плесени, молча смотрел на него и улыбался. Он был весь измазан грязью, мышинным пометом и паутиной, и его правый глаз стал весь черным. С тех пор Степан стал бояться двух вещей: пьянства и женитьбы, которая в случае неудачи могла, как он теперь видел, привести к этому самому пьянству. Спустя два года он поборол один из этих страхов.

Когда Иван проснулся, отца и дяди Яхима уже не было рядом. День перевалил за середину, и солнце, войдя в полную силу, палило нещадно. Но здесь, в саду, жары все равно не чувствовалось. Оглядевшись, он увидел отца неподалеку. Федот осматривал очередное поваленное дерево, примеряясь, как его лучше и быстрее превратить в дрова. Привязанная к яблоне лошадь все так же лениво жевала уже порядком повядшую траву. Посидев немного, придя в себя после сна, Иван поднялся на ноги и пошел помогать отцу.

Вернулся дядя Яхим. Он ходил умываться к Обросинову пруду.

Снова началась работа. Отдохнувшие и посвежевшие после сна, все трое с новыми силами принялись за дело.

Когда телега была загружена, Иван сказал:

— Смотрите, Калтон что-то везет.

Федот и Яхим посмотрели туда, куда показывал он. По дороге, огибавшей сад, медленно ехала загруженная чем-то телега.

— Калтон, — подтвердил Федот. — А это кто там с ним рядом? Беженцев, что ли?

— Он, — сказал Иван. — И еще, кажется, Сашка Последов.

Дядя Яхим махнул рукой, как бы давая понять, что Калтон, Фёдор Беженцев и уж тем более Сашка Последов не стоят такого внимания, и стал собирать мелкие ветки и складывать их в телегу.

— Сходи посмотри, — сказал Федот сыну. — Может, помочь надо.

Иван кивнул и пошел. Чем ближе он подходил к ехавшим, тем громче слышал нарастающий шум, похожий на жужжание пчел. Над самой телегой висело какое-то серое облако не то дыма, не то тумана. Когда Иван подошел настолько близко, что мог разглядеть грязь, торчавшую из ушей Сашки Последова, в нос ему ударил запах настолько резкий и противный, что ноздри его задрожали и на глазах навернулись слезы. Телега была полна нечистот. То, что Ивану показалось туманом, был огромный рой мух, без остановки круживший над телегой. Жужжание, производимое ими, было настолько громким, что идущие рядом с телегой Калтон и Фёдор Беженцев громко кричали друг другу, чтобы хоть что-то услышать. Оба, кажется, были выпивши. Сашка Последов, сидевший на краю телеги и управлявший лошадей, был угрюм и молчалив и не принимал

никакого участия в разговоре своих попутчиков. Поздоровавшись, Иван узнал, что Фёдор сегодня утром почистил свою уборную и теперь они с Калтоном и Последовым везли все это куда-нибудь к Навозному пруду или же еще дальше, в Дурной лог, чтобы выбросить.

Вернувшись, он рассказал об этом отцу и дяде.

— Добро выкидывают, — покачал головой дядя Яхим.

— На что оно, добро такое? — не понял Федот. — Это тебе не навоз.

— Мы с отцом такими вот телегами наш огород не один год удобряли. Потому и урожай всегда был. У кого еще в Запрудском вырастали такие тыквы, чтобы на одной могли сразу трое взрослых мужиков сидеть и спинами не касаться? У кого еще с одного куста картошки можно ведро набрать?

— Так земля хорошая, — попытался объяснить Федот творящиеся у них на огороде чудеса.

— А с чего она, земля-то, хорошая?

— Что ж, с говна, что ли? — не утерпел Федот.

— Ты поменьше болтай, побольше делай, — строго сказал дядя Яхим.

— Да что делать-то?!

Иван внимательно следил за их спором, изредка поглядывая в сторону, казалось, застывшей на одном месте телеги. Наконец решили: догнать телегу и упросить Беженцева отдать им все то, что он собирался выбросить. Дядя Яхим повез дрова домой, а Федот с сыном пошли догонять телегу.

Калтон, заполучив повод для того, чтобы хотя бы на полдня оставить стройку дома, был весел уже сам по себе. Сперва, когда Фёдор предложил ему выпить по полстаканчика настойки, для того чтобы, как он сам объяснил, отбить запах отходов, Калтон засомневался в правильности такого поступка. Ему было известно, что полстаканчика настойки могут превратиться в полнедели бессмысленного пьянства и праздности. Нет, он не был из тех мужиков, кто теряет над собой власть, посмотрев в глаза зеленому змию. Но тем не менее Калтон был достаточно умен, чтобы уяснить простую истину: шутя со спиртным, никогда нельзя быть уверенным в том, что тебе удастся его одурачить. Поэтому, услышав предложение Беженцева, он задумался, стоит ли его принимать. Строительство дома и работы по хозяйству делили между собой его день буквально по минутам, и Калтон порой с трудом находил время на то, чтобы поесть или даже сходить по нужде. Но, придя к Беженцевым и увидев выгребную яму, он все-таки согласился и выпил. Пока заедали выпитое сорванным с грядки щавелем, Калтону пришла мысль позвать на помощь Сашку Последова. Фёдор было заупрямился, справедливо подозревая, что и Сашке придется наливать настойки, которой и так оставалось меньше половины бутылки. Но Калтон, указав на выгребную яму, возвратил его к реальности, и они пошли к Последовым. На их счастье, сегодня была очередь Комолого

пасти коров и Сашка был дома. Узнав о том, что от него требовалось, он сразу согласился.

Про Сашку Последова говорили, что в детстве, когда он еще был в пеленках, мать оставила его лежать на огороде в борозде. Пока она пропалывала картошку, Сашке в ухо заполз клещ и выел ему, как любили повторять запрудские старухи, все мозги. Нельзя сказать, что Сашка был дураком. Но что-то в его поведении, в том, как он порой коверкал до неузнаваемости слова, так что никто его не понимал, в том, что мылся только два раза в год — во всем этом было что-то, из чего казалось, что его голова наполовину пуста.

Впрочем, была и другая история, по-своему объясняющая его слабоумие. Покойный отец Сашки, Егор Последов, был известным на всю деревню пьяницей. Однажды он со своим двоюродным братом Петьюкой, помогая одной старухе латать крышу, нашел бутылку. В ней была настойка, которой старуха растирала больные суставы. Тут же выпили. Что это была за настойка, никто из них так и не узнал. Обоим так скрутило животы, что они, ничего не говоря старухе, убежали домой и целую неделю ночевали на улице, сидя на ведрах с отбитыми днищами. Их кишки ничего не хотели в себе держать и с невообразимой мощью то и дело исторгали из себя все съеденное. Хрупалка, тогда еще молодая баба, посоветовала им лечить расстроенные кишки ядом из отжатых через марлю муравьев. Жена Егора, Клавка, и сын Сашка обегали всю деревню, разоряя муравейники и по капле собирая нужный для лечения яд. Средство Хрупалки помогло. Понос прекратился, сменившись жуткими запорами. Примерно через месяц Петька окончательно излечился и забыл о своей болезни. С Егором же болезнь не рассталась до конца его дней. Зимой, когда из-за морозов ходить в нужник на улице было невозможно и в сенях каждого дома стояло поганое ведро, Егор по полдня просиживал на нем, мучаясь от боли и стыда.

Однажды Клавка, случайно увидевшая, что осталось в ведре после Егора, в сердцах сказала:

— И чего ты на нем по полдня сидишь? Вон даже у Сашки больше получается!

Егор ничего не ответил. Но с тех пор он стал следить за тем, как его сын ходит по нужде, и всякий раз убеждался в правдивости сказанных женой слов. Как он ни старался, ему не удавалось обогнать сына. В конце концов Егор, расстроенный тем, что сын делает гораздо больше его, стал бить Сашку, сам не понимая за что. Сашка, опасаясь навлечь на себя еще больший гнев отца, стал убегать в поле или в сад, когда чувствовал знакомый позыв. Но Егора это злило еще больше. Ему казалось, что вся деревня смеется над ним. Он снова стал пить и однажды, будучи вусмерть пьяным, уснул в нужнике, проспал там всю ночь, да так и не проснулся. Одни говорили, что он задохнулся. Другие утверждали, что сердце не выдержало выпитого. Третьи говорили просто: допился, дурак. Что было на самом деле, неизвестно. Однако

побои отца не прошли даром для Сашки. После одной из тех многочисленных трепок, что Егор задавал сыну, тот неделю пролежал, не вставая с постели, из-за сильных ушибов головы. Многие считали, что именно рукоприкладство пьяницы отца было причиной ям и колдобин на дороге Сашкиных мыслей.

Федот и Иван подошли к телеге как раз в тот момент, когда Калтон и Фёдор Беженцев начали спорить о том, куда же все-таки везти. Калтон говорил, что нужно ехать к Навозному пруду, так как он ближе. Фёдор Беженцев не соглашался и призывал ехать до Дурного лога. Ему казалось, что сваливать отходы у Навозного пруда будет неправильно. Этот пруд славился своей рыбалкой на все три деревни. Даже из Юдановки и Михалевки, небольших поселений за Дурным логом, приходили к Навозному, чтобы закинуть удочку в его мутные воды. А уж запрудские мужики и подавно знали там каждый камыш. Поэтому Фёдор резонно решил, что куча отходов где-то неподалеку от пруда вряд ли кому-то понравится и всю его семью и его самого застремяют. А может, еще и побьют. Калтон же продолжал стоять на своем, утверждая, что его лошадь и так устала от работы дома, чтобы еще возить полную телегу в Дурной лог. Они громко кричали друг другу, стараясь перекричать жужжание мух, но все равно не слышали и половины, и поэтому их спор топтался на месте, не двигаясь ни в ту, ни в другую сторону.

Когда Федот сказал им о желании забрать телегу, Беженцев сразу согласился отдать все Захаровым. Но Калтон, почувствовав, что дело пахнет магарычом, напомнил, что лошадь его и просто так гонять ее туда-сюда он не позволит. Начался спор между Калтоном и Федотом Захаровым, в который через некоторое время включились и Иван с Фёдором. Каждый из них орал до хрипоты, перекрикивая мух и другого. Калтон просил за работу бутылку. Федот утверждал, что за такую работу и полстакана много. Фёдор напоминал о том, что отходы его, и раз уж Калтон просит магарыч, то и ему не мешало бы налить. Иван тоже что-то кричал, но его никто не слушал. Один Сашка сидел молча, не обращая внимания на кричавших мужиков. Он смотрел куда-то под копыта лошади, отгоняя надоедливых мух, и думал о чем-то своем, только ему одному понятном.

Спор был в самом разгаре, когда с порожней телегой вернулся дядя Яхим. Узнав, в чем загвоздка, он сказал, что они сами на своей телеге все перевезут. Ивана послали домой за лопатами. Пока он бежал, мужики стояли молча, будто устав перекрикивать не унимавшихся мух. Когда Иван вернулся, Федот и дядя Яхим взяли лопаты и стали перекалывать отходы из одной телеги в другую. Калтон лег недалеко на пригорке и задремал. А Фёдор и Сашка Последов следили за тем, чтобы лошади стояли ровно.

Работали быстро, изредка останавливаясь, чтобы отдышаться. Иван подменял то отца, то дядю, с трудом удерживая лопату трясушимися от ужасного запаха руками.

Откуда-то со стороны полей ехал Калатушкин. Он что-то напевал себе под нос, ловко объезжая колдобины и ямы. Увидев мужиков, участковый повернул свой велосипед в их сторону. Подъехав на расстояние достаточное, чтобы уловить исходивший от телег запах, он заматерился так, что лошадь Калтона дернулась в сторону, едва не скинув на землю стоявшего в телеге Федота. Переборов себя, участковый все же подошел к мужикам, но руки жать не стал, ограничившись устным приветствием. Узнав, в чем дело, он одобрил желание Захаровых все использовать впрок, с пользой. Во время его речи Федот поднял очередную лопату и уже благополучно переносил ее от телеги Калтона к своей, как вдруг рукоятка надломилась и все содержимое упало к ногам участкового. Брюки Калатушкина забрызгало. На секунду все замерли. Даже мухи застыли в воздухе, ожидая, что будет дальше. Калтон засмеялся. К нему присоединился Сашка Последов. Калатушкин, побагровев, как вареная свекла, разразился такой бранью, что лошади, испугавшись, бросились вниз по склону. Больше часа мужики за ними бегали, пока не поймали.

Калатушкин потом долго еще обижался на Федота за испачканные брюки. Но в конце концов все забылось.

ПРАЗДНИК ПО УТОПЛЕННИЦЕ

Нюрка Агапова была дальней родственницей Витьки Комолого. Настолько дальней, что Витька даже толком не знал, где стоит ее дом. И хотя раз в год он честно распахивал огород Агаповой, запомнить дорогу к ее дому у Комолого не получалось. Может быть, из-за его плохой памяти. Может быть, из-за того, что дом ее стоял на другом краю села, где Комольи редко бывал. А может, просто потому, что Витька ни разу не распахивал Нюркин огород трезвым. Как только Агапова по весне приходила к нему с просьбой помочь, Комольи с огромной неохотой соглашался и устраивал себе что-то вроде праздника: выпивал, кое-как спьяну распахивал огород, выпивал еще то, что подносила ему сама Нюрка за работу, и, добравшись до дома, пьяный падал с лошади, успевая уснуть еще по дороге. Он давно бы перестал заниматься этой бесполезной, с его точки зрения, тратой времени, но боялся, что по деревне начнут говорить: вот, мол, Комольи даже родственнице помочь не хочет. И опасения его были небезосновательны: в деревне, как известно, только дай повод посплетничать — потом не остановишь. Хотя у кого в Запрудском ни спроси, никто не знал, по какой линии Агапова была родственницей Комолому.

Нюрка Агапова была одинокой вдовой. Детей у нее не было. Поговаривали, что ее покойный муж, Сашка Агапов, по молодости отказал в ласке Хрупалке, и та в отместку наложила на него порчу, отобрав мужскую силу. Правда это или только слухи — неизвестно. Но факт остается фактом: Агаповы так и не сумели завести детей. И жили в грусти и полном отчуждении.

Нюрка была сиротой от рождения, а Сашкины родители умерли, когда тому не было еще и двадцати. Поэтому, когда однажды Сашку лягнул жеребец и он вечером того же дня скончался, плакала по нему только жена его Нюрка. Больше плакать было некому. А когда спустя два года после Сашкиной смерти Нюрка утонула в пруду, в деревне не нашлось ни одного человека, который уронил бы о ней слезу.

Как утонула Нюрка — так и осталось загадкой. Утонула — и все. Калтоновские дети, часто игравшие на берегу Хворостянки, прибежали к родителям и, перебивая друг друга, стали рассказывать о том, как Нюрка пошла купаться да так и не вернулась. Вещи ее на берегу лежат, а самой Нюрки нигде не видно. Сашка, второй сын Калтоновых, говорил, что видел, как Нюрка нырнула на середине реки и не вынырнула. Калтон отнесся к рассказам детей как к очередной выдумке. Полина тоже сначала не поверила. Но все же решила сходить с детьми к пруду посмотреть. На берегу она нашла халат, косынку и калоши, которые принадлежали Агаповой. Обо всем этом она рассказала мужу, когда вернулась домой. Калтон, занятый стройкой, слушал жену вполуха и в ответ на ее опасения сказал что-то неопределенное, лишь бы отстала. Полина, не зная, что делать, велела детям бежать к Комолому и рассказать все ему. Агапова ему какая-никакая, а родственница. Может, он что-нибудь придумает. Дети быстрее ветра побежали к дому Комолого, сшибая по дороге ленивых уток и недостаточно расторопных кур. Каждому хотелось первым рассказать жуткую и в то же время важную новость.

Комольи просеивал гречку, когда калтоновские дети словно ураган ворвались к нему во двор и стали, перебивая друг друга, рассказывать об утопленнице.

На шум вышла жена Комолого Райка.

— Чего они? — спросила Райка, кивая на детей.

— Да вот, Нюрка Агапова, говорят, утонула, — сказал Витька.

Райка, баба добрая и богобоязненная, перекрестилась, прошептала молитву и решительно заявила, что надо достать и похоронить утонувшую. Витька угрюмо кивнул и сплюнул в просеянную гречку. Он понял, что дел с утопленницей будет много и все они лягут на его плечи. Когда покойник лежит на виду, с ним все ясно: помыл, одел, похоронил, помянул. А здесь все было непонятно: может, Агапова и не тонула вовсе. Может, это дети все выдумали. А что одежда ее на берегу валялась, так это еще ничего не значит... Так Комольи отгонял от себя мысли о возможных предстоящих хлопотах по поиску и похоронам родственницы.

Однако спустя несколько дней после того, как по деревне прошел слух, что Агапова утонула, с Хворостянкой стало происходить что-то нехорошее. Ни с того ни с сего стали пропадать утки и гуси. Потом их находили утонувшими. Рыбаки жаловались на то, что рыба, попадавшаяся им на крючки, вся сплошь дохлая. Камыш даже в самое полное безветрие ложился на воду, будто не в силах был стоять. А еще в реке днем стали отражаться звезды. Все говорило о том, что под водой, где-то

среди бьющих сквозь ил родников, находится неуспокоенное тело, отравляющее реку.

Стали искать утопленницу. Искали там, где были найдены ее вещи — на берегу, недалеко от моста. Поисками руководил сам Калатушкин. Он ходил вдоль берега и смотрел на старания мужиков, всячески помогая им советами. Сам участковый не очень-то верил всем этим приметам об утопленниках и полагал, что Агапова просто сбежала к какому-то неизвестному мужику. Но тем не менее он ежедневно приходил к Хворостянке справиться о том, как идут поиски. А поиски шли. К рыбацким сетям привязывали тяжелые крючья и плавали от берега к берегу, надеясь зацепить тело. Мужики, кто посмелее, раздевались и ныряли, шаря в полной темноте по илистому дну руками. Поиски продолжались больше недели, но тело Агаповой так и не нашли. За это время камыш по берегам стал сохнуть, покрываясь какой-то желтой плесенью. От воды все сильнее шел запах тухлятины, настолько резкий и противный, что даже старая Анылка во время своих прогулок обходила реку за три версты.

Комолому и его жене все чаще напоминали о том, что пора бы уже найти тело Агаповой. Погода была жаркой, и невозможность подойти к реке всех огорчала. А так как других известных родных, кроме Комолого, у покойной не было, все, естественно, ждали, когда он что-нибудь предпримет. Райка, видя, что поиски утопленницы ни к чему не ведут, положила в корзину два десятка яиц и пошла к Хрупалке просить совета.

В восточной части деревни в небольшой, крепко сбитой хате жила Хрупалка. В молодости это была красивая женщина, у которой было много поклонников среди мужчин и много завистниц среди женщин. И хотя молодая Хрупалка никогда всерьез не относилась к мужским ухаживаниям, она умело пользовалась своей привлекательностью, толкая деревенских мужиков на самые дикие и смешные поступки. Один, который в рот капли спиртного не брал, вдруг напивался, выходил на середину улицы и начинал петь матерные песни, смеша деревню и позоря родных. Другой, которого все знали как серьезного и разумного мужика, ни с того ни с сего начинал вытворять что-то сумасбродное: раздевался догола, вымазывался куриным пометом и начинал бегать по деревне, пугая баб и детей. Третий, тихий да смирный, затевал драку. Четвертый принимался строить сарай прямо посреди дороги. Ехавшие мимо мужики чуть с телеги не упали от смеха, когда увидели, как он забивает колышки и размечает землю, пиная кур и выдергивая росший то тут, то там лопух. В общем, смешного и нелепого было много. Но со временем стали замечать, что присутствие Хрупалки почти всегда сулит какие-то неприятности окружающим ее людям: кто-то заболевает, у кого-то что-то пропадет, кто-то поссорится с семьей или друзьями и прочее в том же духе. А особенно доставалось тем, кто как-либо ее обидит. Так постепенно за ней закрепилась дурная слава ведьмы, которая, надо сказать, с годами лишь укрепилась и из простых сплетен и подозрений превратилась в твердую уверенность. Любой житель Запрудского мог рассказать с десятков странных и непо-

нятных историй, связанных с Хрупалкой, прибрежав еще пяток от себя. Истории эти передавались из уст в уста, от стариков детям, и сам воздух был пропитан ими, как паутинками по осени.

Однажды, например, молодой Петька, сын Алевахина, сказал что-то грубое Хрупалке, посмеялся над ней да и пошел домой как ни в чем не бывало. Видевшие это люди говорили, что старуха ничего не ответила, а только молча подняла горсть земли с дороги и бросила ему вслед. На следующее утро молодой Алевахин проснулся от жутких болей в животе. Он метался по кровати, кричал и плакал. Соседи Алевахиных были вынуждены залепить теплым воском уши своим детям, чтобы те не пугались его страшных воплей. Мать дала Петьке выпить стакан подсолнечного масла, чтобы он опорожнился. Масло подействовало, и мать увидела, что Петька сходил землей. Так продолжалось больше месяца. Чего только Алевахины ни делали, чтобы вылечить сына, все было без толку: Петька испражнялся землей и жутко при этом страдал. В конце концов Алевахину кто-то подсказал, чтобы они с женой сходили к Хрупалке. Сказали, что сын их чем-то обидел старуху, она в наказание его и сглазила. Алевахины послушались совета и пошли. О чем они говорили с Хрупалкой, неизвестно. Видевшие их люди говорят, что домой они вернулись с горсткой земли, которую дали сыну и заставили съесть. Петька излечился и с тех пор обходил колдунью за семь дворов.

Или вот другая история, которую тоже часто повторяли в Запрудском. Приехал как-то в гости к Бражниковым какой-то родственник из Можайского. Сидели во дворе, выпивали, разговаривали, пели. В это время мимо шла Хрупалка. Услышала песни и зашла. Дайте, говорит, с вами посижу, послушаю, как вы поете. Бражниковы ей сразу стул — садись, мол, посиди. Стакан вина налили, закуски подвинули. Хрупалка выпила и еще просит. Бражниковы еще налили. А мужик из Можайского возьми да и скажи: тебе, говорит, бабка, уж на кладбище пора, а ты все к вину тянешься. И громко так, по-пьяному да с присвистом, засмеялся. Хозяин дома его толкает локтем в бок, а тот знай себе смеется. Хрупалка ничего не ответила. Молча допила вино и как будто случайно вылила недопитый глоток под ноги мужику, слегка обрызгав ему штаны. Тот и бровью не повел, даже и не заметил. Да и Бражниковы тоже этому значения не придали. Хрупалка поблагодарила хозяев и пошла себе дальше. Ну а мужик этот на следующий день домой уехал. Через неделю его привезли назад родные. Он лежал на телеге вдрызг пьяный, привязанный к бортам, чтобы не выпасть по дороге. Из рассказа родных выяснилось, что мужик этот, с тех пор как вернулся из Запрудского, пьянеет ото всего, что пьет: от воды, от кваса, от чая, даже от молока. Из колодца поднял ведро, кружку выпил — и все, целый день пьяный. Вечером очухался, стакан парного молока выпил, чтобы в себя прийти, — еще хуже стало: совсем окосел. И так пять дней подряд. Ну, в Можайском сразу решили: что-то там, в Запрудском, нечисто было. Стали расспрашивать мужика. А тот лыка не вяжет, объяснить ничего не может. Вот так и решили ехать с ним

вместе. Бражниковы сразу про Хрупалку вспомнили. Пошли на поклон к ней. И мужика на телеге повезли. Застали старуху дома: сидит себе на лавке, кур хлебными крошками кормит. Посмотрела на Бражниковых, потом на телегу с мужиком — и головой покачала, как будто только их и ждала. Долго ее упрашивали да уговаривали, прежде чем она сняла порчу с того мужика.

Райка пришла к Хрупалке, когда той дома не было. Не зная, что делать, присела на лавку у ее дома. Присела, пригелась на солнышке да и уснула под квохтанье кур. Проснулась, а солнце уже к закату клонится. Видит, Хрупалка уже пришла: сидит на пне под ивой и вяжет.

— Что ж ты меня не разбудила? — спросила Райка, подходя к ней.

— А чего будить-то? — не глядя на нее, ответила старуха. — Зачем ты пришла, я и так знаю. Выспалась хоть?

— Выспалась.

— А что снилось, помнишь?

Райка стала вспоминать, что ей сейчас снилось. Ничего толком вспомнить не удавалось. Только какие-то смутные картинки, где она бросала хлеб в реку.

— Снилось, что хлеб в реку бросаю, — сказала она Хрупалке. — А больше что-то и не помню.

— Ну так и делай, как приснилось.

— Да как делать-то? — не поняла Райка. — Подскажи.

— Возьми хлеб, какой посуше, — стала учить Хрупалка, не отрывая взгляда от вязальных спиц, — и пусти его по Хворостянке плыть. А сама по берегу иди да смотри за ним. Где он через себя перевернется — в том месте и лежит утопленница.

Сказав это, она встала, положила пряжу на пень и пошла вглубь двора.

— Сижу, а куры не кормлены, — сказала она.

Райка аккуратно подвинула пряжу, положила принесенные яйца на пень и пошла домой.

Дома она пересказала мужу разговор с Хрупалкой. Комольй в ответ только плечами пожал: мол, кто его знает, попробуй, как старуха говорит. Глядишь, что-нибудь и получится.

Перед тем как лечь спать, Райка взяла каравай хлеба и для пущей верности, чтобы он еще больше подсушился, отнесла в курятник, где всегда было очень жарко. Чтобы куры за ночь не склевали хлеб, она завернула его в платок и подвесила к потолку.

На реке теперь часто бывали люди — искали тело утопшей. Неприятный запах, шедший от воды, уже никого не пугал. Обычно собирались после обеда. Мужики плавали от берега к берегу с крючьями, привязанными к сетям и веревкам. Некоторые, особенно разухабистые, ныряли, не вооружаясь орудиями, и пытались голыми руками ухватить мертвое тело. Дети, не пугаясь слухов об утопленнице, целыми днями плескались у

берега под присмотром приходивших вместе с мужчинами женщин. Вообще, поиски стали чем-то вроде развлечения после работы. На берег стали приходиться с выпивкой. Некоторые брали с собой еду и ужинали, глядя на ныряющих то и дело мужиков. Молодежь лузгала семечки и громко смеялась, когда кто-то из мужиков выплывал, держа в руках какую-нибудь корягу, принятую им за покойницу.

Калтон, хоть и не принимал участия в поисках, все же приходил к реке, чтобы хоть немного отдохнуть после стройки дома. И пока Полина обсуждала с другими бабами жизнь Агаповой и последние деревенские сплетни, пока дети плескались в воде или как угорелые носились по берегу, он спал, растянувшись прямо на траве. Приходил Фёдор Беженцев, помогал, чем мог. Нырять он боялся, в лодках места для него не было, и поэтому он занимался тем, что уносил подальше от реки выловленный другими мужиками мусор. Иногда, сидя на берегу и глядя на Хворостянку, он забывался и снова погружался в глубокий омут своих воспоминаний. И пускал слезу.

Витька Кондусов и Колька Морданов плавали в одной лодке. Они честно искали Агапову, но при этом не отказывали себе в некоторых удовольствиях. С ними в лодке всегда была бутылка настойки и нехитрая закуска вроде яблок, хлеба или просто нескольких горстей жареных тыквенных семечек. Обычно перед тем, как начать искать, они отплывали подальше от берега, выпивали и несколько минут сидели, позволяя блаженству разлиться по всему телу. Небо синело, ветра не было, и от воды исходила приятная прохлада. Суетившиеся на берегу люди создавали в воображении Морданова и Кондусова атмосферу нежданного праздника. Они поудобнее садились вглубь лодки, опускали натруженные ладони в реку и на несколько минут забывали обо всех заботах. Никто не догадывался об этой их небольшой тайне, пока однажды они не выпили лишнего и не расслабились до того, что затянули песню. Досталось им потом от жен!

Ну а вообще поиски тела шли мирно и даже весело. Река, дурно пахнущая из-за утопленницы, необъяснимым образом собирала в эти дни у своих берегов добрую половину деревни. Кончилось тем, что многие простудились и слегли. Поэтому, когда Райка пришла к реке с засохшим куском хлеба и рассказала обо всем, чему ее научила Хрупалка, народ вздохнул с облегчением. Все собрались и с интересом смотрели, как Комолье станут запускать хлеб. Долго решали, откуда пускать. Где именно Хворостянка брала свое начало, толком никто и не знал. Поспорив некоторое время, решили пускать хлеб вниз по течению от дома Роговых, стоявшего на самом краю Запрудского.

Райка долго не могла решиться опустить засохшую краюху в реку — все боялась, что сразу потонет. Витька, стоявший рядом с женой, торопил ее, толкая в бока. Собравшаяся толпа начинала недовольно гудеть, требуя не затягивать. Наконец хлеб был спущен на воду. Он медленно, будто не решаясь оторваться от берега, поплыл вниз по течению. Народ затаив дыхание следил за каждым его движением, боясь моргнуть. Все

чуть было не испортили утки, внезапно появившиеся из камышей. Одна из них, заметив плывущий хлеб, принялась клевать его. Собравшееся на берегу население стало шуметь и хлопать в ладоши, прогоняя птицу. Неопишуемый шум прокатился по реке. Утки бросились в разные стороны, чуть не прыгая по воде. Старая Бащева, признав наконец в улетающих утках своих собственных, стала кричать на расшумевшийся народ, чтобы не пугали птиц. Началась перебранка. Бащева, известная охотница поскандалить, одна перекрикивала всю толпу, успевая отвечать сразу десятаятерым. Пока шумели из-за распуганных уток, хлеб прибило к камышам. Хотели подтолкнуть его палкой, но не нашли подходящей длины. Все лодки остались у моста, там, где искали тело. Стали спорить, кому лезть в воду. Конечно, все сразу указали на Комолого. Даже сама Райка сказала:

— Ну чего же? Ясное дело — лезь. Кому ж еще-то?

Комольий угрюмо посмотрел на жену и стал раздеваться. Он так яростно снимал рубаху, что оторвал рукав. Оплыл камыш, взял хлеб и, гребя одной рукой, направился на середину. Там он пустил хлеб и стал следить за тем, как тот уплывает. Течение на середине было сильным, и хлеб понесло вперед. Убедившись, что каравай движется в нужном направлении, Комольий поплыл к берегу.

Толпа людей шла вдоль реки, замороженно наблюдая за плывущим хлебом. Какой-то мужик вслух засомневался в действительности всей этой затеи, но никто ему не ответил. Шли медленно, толкая друг друга и наступая на пятки — никто не сводил глаз с плывущего по Хворостянке хлеба. Колька Морданов несколько раз спотыкался и падал, оттого что не успевал смотреть под ноги. Матерясь, он вставал и упорно шел вперед, но через несколько шагов снова падал. Как будто специально его ноги путались в траве и собирали все колдобины, попадавшие на пути. За то недолгое время, что запрудский народ шел, ведомый плывущим по реке караваем, Колька успел набить себе несколько шишек и дважды обжечься крапивой. Особенно обидным было то, что, кроме Морданова, никто себе шишек не набил, хотя спотыкались многие. Так продолжалось до тех пор, пока не вышли на протоптанную дорогу. Здесь идти стало проще.

Дошли до того места, где были найдены вещи Агаповой. Многие ждали, что именно здесь что-то произойдет. Но хлеб миновал место поисков утопленницы и поплыл дальше. Люди двинулись вслед за ним. Многие уже начали уставать от этой нескончаемой прогулки, как вдруг что-то начало происходить. Проплыв под мостом, каравай остановился и несколько раз перевернулся. Казалось, что чья-то невидимая рука вертит хлеб, осматривая его со всех сторон.

— Гляди! Гляди, чего делается!

— Крутится-то как!

— Бесовщина!

Такие возгласы прокатились в толпе при виде закрутившейся на воде ковриги. Многие стали креститься, твердя молитвы и матерясь одновре-

менно. Хлеб несколько раз крутанулся, проплыл еще немного вперед и затонул.

Витька Комольи́й смотрел на хлеб, выпучив глаза. Только сейчас он понял, что на самом деле сомневался во всей этой затее и не верил в ее успех. И хотя тело Агаповой еще никто не достал, Витька был твердо уверен в том, что оно будет именно там, где указал каравай.

Нырнуть и проверить, что там, на дне, вызвался Сашка Демон, прозванный так за свирепое выражение лица и крутой нрав. Это был отчаянный мужик, дважды вешавшийся спьяну по молодости. В первый раз, когда Сашка вешался в саду, под тяжестью его тела надломился сук. Демон упал, сломал руку, но сохранил жизнь. Во второй раз, когда он вешался в конюшне, развязалась веревка. В этот раз Демон ничего не сломал, а просто вымазался в лошадином дерьме. По какой причине Сашка дважды хотел свести счеты с жизнью, он не мог объяснить ни себе, ни другим.

Перед тем как нырнуть, Демон попросил стакан самогона.

— Утонешь, дурень, — сказала Бащева.

— Наоборот, — возразил Сашка. — Там родники на дне. Надо самогоном кровь разогнать, а то судорога сведет.

Комольи́й пообещал поднести ему после, но Демон упрямо стоял на своем: сначала самогон, потом он ныряет. Так как больше нырять никто не хотел, пришлось уступить Демону. Пока Витька бегал за бутылкой, народ грелся на солнце и обсуждал Хрупалку, подказавшую способ с хлебом.

Выпив на одном дыхании стакан самогона, Сашка Демон разделся и полез в воду. Несколько раз он нырял и выныривал ни с чем. И всякий раз, когда он скрывался под водой, толпа замирала и не дышала до тех пор, пока Сашкина голова снова не появлялась на поверхности.

На четвертый раз Сашка вынырнул быстро.

— Бросайте веревку! — крикнул он. — Нашел!

Ему бросили конец веревки. Демон снова скрылся под водой. Вынырнув, он уверенно поплыл к берегу.

— Вокруг живота обвязал, — сказал он, выходя из воды. — Тяните.

Стали тянуть. Пока тянули, Демон выпил еще стакан самогона. Тянули медленно, чтобы веревка не лопнула или узел не развязался. От нетерпения многие стали скрипеть зубами так громко, что захмелевший Демон заругался.

— Да что вы, в самом деле! — крикнул он. — Там она! Обождите!

Люди послушно стали терпеть, сжав зубы.

Наконец тело Агаповой было вытащено на берег. Все дружно ахнули. Вид она имела самый скверный. От долгого лежания в воде Агапова раздулась и цветом стала похожа на побитую морозом картошку. Все тело было покусано рыбами и покрыто чем-то склизким, похожим на блевоту. Из подмышек торчали водоросли вперемешку с кусками ила, груди казались гнилыми коричневыми кабачками. Но самой страшной была ее голова — вся синяя, с откушенными губами, сочащейся из ушей грязью и

пустыми глазницами, в которых шевелились жирные, толщиной с палец, пиявки.

Многие пожалели, что вообще пошли смотреть на нее. Зрелище было до того страшным, что разум был не в силах его забыть. Долго еще потом мужики и бабы просыпались ночью с криком, когда им мерещилась утопленница Агапова.

ХВОРЬ

Много народу простудилось во время поисков утонувшей Агаповой. Мужики и дети, с утра до вечера плескавшиеся в реке, слегли через несколько дней после того, как нашли тело. Все были горячими и кашляли так громко, что петухи в ужасе забивались под насест и сидели там целыми днями. Приходилось выгонять их палками, чтобы они хоть немного поклевали зерна и не издохли от голода.

В семье Захаровых простудились все сразу, кроме Федосьи, жены Федота. Она, как и другие бабы в дни поисков, не ныряла и не купалась.

Захаровы лежали вповалку, изнемогая от кашля и жара. Даже дядя Яхим простудился. Хотя он и не купался, болезнь свалила и его. Должно быть, оттого, что он несколько раз засыпал, сидя на берегу с опущенными в воду ногами.

Федосья была сама не своя. Когда в доме болезнь — и без того невесело. Но когда еще и дел невпроворот, а работать некому — вдвойне худо. А хлопот по хозяйству было столько, что одной ей за добрую половину из них лучше было и не браться — все равно бы не успела.

Федот пытался переселить хворь, встать и взяться за работу. Но непрестанно бивший его кашель не давал и шагу ступить. Уронив пару раз косу себе на ноги, Федот оставил попытки заниматься каким-либо делом и принялся болеть. Он, дядя Яхим и дети лежали на полу, глядя кто в потолок, кто в окна, и попеременно сотрясали стены дома кашлем. Даже самая маленькая, Клавка, заходила так, что с потолка над ней начинала сыпаться побелка. Когда же кашлял Федот или дядя Яхим, Федосья выбегала из дома, чтобы не оглохнуть.

Шел третий день, как семья Захаровых лежала, скошенная болезнью. И взрослые и дети были настолько обессилены, что сил и у тех и у других хватало только на то, чтобы сходить по нужде. Все остальное время проводили лежа на полу. Потели так сильно, что Федосья несколько раз поскальзывалась и больно падала.

От безделья и скуки дети считали мух. Иногда к ним присоединялись и Федот с дядей Яхимом. Обоих мучили дела, ожидавшие их рук. Нежданная болезнь спутала все планы, заставив мужчин бездельничать против воли.

— Лежим, как бухарки, пухнем, — сказал дядя Яхим и вздохнул.

Федот, вот уже несколько минут следивший за одной и той же мухой, сбился и потерял ее из виду. Недовольно покосившись на дядю, он по-

пытался отыскать потерявшуюся, но мух было так много, что он оставил это занятие.

— Ничего, — бодрясь, ответил он. — Вот встанем — все сделаем.

— Встанешь тут, как же, — проворчал дядя Яхим. — Кашель этот окаянный до того надоед, что от него уже все тело болит.

— А вот интересно: мухи болеют? — спросил Федот, чтобы переменить тему.

Дядя Яхим, не ожидав такого вопроса, растерянно пожал плечами и зашелся в кашле.

— Ведь если они болеют, — продолжил Федот свою мысль, — то, значит, и лечиться как-то должны. Так, что ли?

Видя, что Яхим не интересуется мухами, Федот подвел итог:

— Нет, наверное, не болеют — ни днем ни ночью от них покоя нет.

— Не болеют, — зевнул Яхим и добавил: — Так они и не работают.

Поворочавшись, он лег на правый бок и забылся сном. Вскоре уснул и Федот.

Так проходило время: медленно, скучно, в безделье. Кроме подсчета мух забавлялись еще тем, что плевали в потолок. Напрасно Федосья стыдила мужа и детей. Даже дядя Яхим пару раз участвовал в этих играх. Но из-за устаревшего устройства собственного организма его плевики не долетали до потолка и падали назад ему на лицо. Яхим злился, плевал еще сильнее — и еще больше слюны падало ему на лоб. Дети смеялись, а Федот жизнерадостно кашлял, видя заплеванного собственным немошным ртом Яхима. Если и говорили о чем-то, то о чем угодно, только не о работе. Любое напоминание о ней приводило Федота и дядю Яхима в уныние.

Пару раз в гости заходил Фёдор Беженцев. Он был одним из немногих мужчин, кто не подхватил простуду.

— Ну что, — говорил он, входя и садясь на табурет, — все валяе-тесь?

— А ты — все шляешься? — ворчал дядя Яхим, поворачиваясь лицом к гостю.

— Косить-то начал? — спрашивал Федот.

— С новой недели начну. Ригу надо починить.

— А Нюрку-то похоронили?

— Похоронили, царство ей небесное.

— Отпевал-то Комаренок?

— Отказался.

— Чего это? — удивлялся Яхим.

— Говорит, что если она сама утопилась, то отпевать нельзя.

— Вот те раз! Кто же теперь узнает, сама или не сама... А если не сама?

Фёдор пожимал плечами. Мол, не моего ума это дело. Просидев с часик, он уходил, и Захаровы снова устремляли свое внимание к мухам.

Федосья, вспомнив старое средство от простуды, наварила с утра чугуна щей и на весь день ушла к ручью за яблоневым садом. Там она

стала собирать огромных, пузырящихся от жары столетних жаб. Федосья вспомнила, что, когда в детстве она провалилась в прорубь, ее бабка Прасковья привязывала ей таких же жаб к шее и заставляла носить сутками напролет. Прасковья говорила, что они перетянут всю простуду на себя. Федосья помнила, насколько действенным оказалось такое лечение: жар и кашель как рукой сняло, и она быстро пошла на поправку.

Ловить лягушек оказалось не так-то просто. Чуть заслышав шаги женщины, они прыгали в воду и скрывались под слоем ряски. Федосья шарила по илистому дну руками, пытаясь на ощупь поймать строптивых жаб. Но, как она ни старалась, гады оказывались проворнее. Федосья долго ходила вдоль ручья, топчась хвощ и мать-и-мачеху, но ведро ее было по-прежнему пустым. Отчаявшись поймать жаб с берега, она, приподняв подол, вошла в ручей. Воды было немного — по колено, хотя мужики, ловившие в нем рыбу, говорили, что ближе к середине ручей становится глубже, примерно локтей на десять. Но Федосью не волновала глубина ручья. Она ходила вдоль берега, одной рукой держа ведро и подол, а другой раздвигая камыш. Вода была теплой. Ноги женщины по щиколотку проваливались в мягкий ил, издавая при этом смешные непроизносимые звуки. За три часа Федосье удалось поймать только четырех лягушек, две из которых были до того маленькими, что их пришлось выбросить. Двум оставшимся она веревкой связала задние лапы, чтобы не убежали, и положила в ведро.

Колька Морданов вез домой просо. Увидев Федосью, он остановил коня и долго всматривался, пытаясь угадать, что именно она ловит. Так ничего и не сообразив, он подъехал ближе.

— Здорово! — крикнул он, не слезая с коня.

Федосья подняла голову, утерла рукавом лицо.

— Здорово!

— Ты никак пиявок в суп ловишь? — спросил Колька, пытаясь заглянуть в ведро Федосьи.

— Как же! В суп! Вот наварю — заходи, угощу.

— Так чего делаешь-то?

— Да вот, жаб собираю. Буду своих лечить.

— О как! Научил кто? Или сама придумала?

— Бабка, царство ей небесное, так меня лечила.

— А я вроде ничего, тьфу-тьфу, — сплюнул Колька. — Правда, два дня тоже покашливал. Машка самогоном растерла — и как рукой сняло.

Федосья лишь махнула рукой:

— Я уж своих чем только не растирала. Все без толку. Кашляют так, что вот-вот кишки выплунут.

Колька поправил съезжающий с лошади мешок:

— Ладно, поеду я.

Он уже тронулся, как вдруг вспомнил:

— А ты слыхала, что Калтона-то пришибло?

— Как пришибло? — не поняла Федосья.

— Натурально. Бревно упало, и прямо на ногу. Я сейчас просо у Куюковых забирал — от них услышал.

— И что, сильно пришибло?

— Говорят, лежит.

— О господи! — перекрестилась Федосья.

— Ну да нет худа без добра: мы сегодня с мужиками собирались ему помогать крышу налаживать. Так, стало быть, если он лежит, то и нам приходить не нужно. Пойду порыбалаю вечером.

— Нехристь!

— Выздоровеет! — махнул рукой Колька, прищпоривая коня. — Он семижильный.

Сказав это, Морданов уехал. А Федосья вернулась к своим жабам.

К полудню солнце уже пекло всюю. Но у ручья было прохладно. Федосья присела на краю берега, развязала узелок с хлебом и вареными яйцами и пообедала. Ее мысли были настолько заняты поимкой жаб, что она даже забыла вытереть руки и теперь постоянно сплевывала клочки тины, прилипавшие к зубам.

Ветра не было, и небо нависало огромным безоблачным васильком. В воздухе щебетали птицы. Где-то за садом мычали коровы. Весь мир казался каким-то медленным, почти застывшим в летнем зное. Хотелось лечь в траву и просто смотреть в небо.

На плотине Федосья заметила каких-то людей. Присмотревшись, она узнала Анылку и Витьку Комолого. Они немного постояли, а затем разошлись в разные стороны: Анылка в деревню, а Комольий — куда-то в поля. Федосья не спешила вставать. Натруженное тело с жадностью впитывало в себя каждую минуту отдыха. С час она просидела, просто глядя по сторонам. Затем встала и снова принялась за охоту. Теперь она ловила проворнее, но попадались маленькие молодые лягушки, не годившиеся для лечения. К концу дня с горем пополам Федосья набрала нужное количество огромных, серых от старости, вековых жаб и пошла домой.

Когда Федот услышал от жены, как она собирается его лечить, он так заматерился, что дети заплакали, а у дяди Яхима проступил пот по всему телу. В конце концов жестокий кашель прервал Федота, и тот замолчал. Федосья махнула рукой на мужа, взяла веревку и стала повязывать жаб детям. Никто из них не протестовал. Наоборот, дети сразу же принялись теревить тварей, дергать за лапы, гладить по спине и всячески дразнить их. Федосья даже забеспокоилась, как бы они не замучили жаб, прежде чем те вытянут на себя всю болезнь. Засомневавшийся сперва дядя Яхим тоже согласился на предложение Федосьи и, брезгливо морщась, собственноручно привязал к груди жабу. Федот долго хранил суровое молчание, исподлобья глядя на жену. В итоге и он протянул руку, достал из ведра последнюю гадину и долго смотрел на нее, пытаясь привыкнуть к мерзкому виду. Федосья молча отрезала кусок веревки, взяла жабу из рук мужа и закрепила у него на шее.

В первый же вечер Федот был вынужден признать, что средство Федосьи помогает: кашель почти не приставал ни к кому из Захаровых. Жар еще был, но с ним по крайней мере можно было смело держать в руках тяпку или косу, не опасаясь ее уронить.

Ужинали весело. Жабы безостановочно прыгали по столу, падая в тарелки с супом, создавая тем самым суматоху и возбуждение. Старшие дети кормили лягушек, силой запихивая в них хлебные корки. Младшие просто били их ложками. Яхим хохотал, Федот сердился и покрикивал на расшалившихся детей, а Федосья пыталась успокоить всех, успевая убраться грязные тарелки и подливать молоко в кружки. Ужин благополучно закончился, и ни одна из жаб не издохла.

В полночь Федот проснулся от странных звуков. Вслед за ним проснулась и Федосья. Во сне беспокойно заворочались дети. В сенях хлопнула дверь, в дом вошел неспавший Яхим.

— Жабы-то как курлычут, — сказал он, увидев, что Федот и Федосья не спят. — Прямо как на май месяц. Какой тут сон!

В самом деле, жабы громко квакали, то ли подпевая, то ли перекивая друг друга. Только у Пашки, младшего сына Захаровых, жаба молчала. Как выяснилось утром, Пашка лег на нее во сне и придушил. Остальные же до самого рассвета разгоняли сон своими причудливыми песнями.

Спали плохо. Федот несколько раз просыпался оттого, что начинал громко материться во сне. Он выходил на крыльцо, сердито сплевывал и грозил висевшей у него на груди жабе, что придушит ее, будто это она была зачинщицей творившегося в его доме беспорядка. Дети хныкали в полудреме или тихонько взвизгивали, просыпаясь от какого-нибудь особенно громкого кваканья. Успокоиться сном смогли лишь Федосья и дядя Яхим: первая была убаюкана усталостью, а Яхима увлекло в сон старческое слабосилие.

Наутро Федот, измученный беспокойной ночью, первым делом вышел во двор, сорвал с шеи лягушку и бросил ее гусям. Так же он поступил и со всеми остальными жабами. Федосья не стала спорить с мужем: память о прошедшей ночи была еще слишком свежа. К тому же, несмотря на недосып, все Захаровы чувствовали себя заметно лучше: почти никто не кашлял и жар отступил.

ДУРНОЙ ЛОГ

Говорят, однажды Комаренок, поп, живший в Можайском, ехал через плотину на Обросиновом пруду пьяный. Он катался по телеге, подпрыгивая на каждой колдобине и бормоча что-то невразумительное. Лошадь храпела от возмущения, чувствуя дыхание Комаренка, и словно специально провозила телегу по всем ямам и ухабам. В конце концов поп свалился и едва не утонул в пруду. Все, слава богу, обошлось, только рясу в тине испачкал. Да еще золотой крест, висевший у него на груди, пропал.

Комаренок клялся, что крест где-то на дне пруда. Будто бы он видел, как тот упал в прибрежную тину и пошел ко дну. Некоторые поверили и даже пытались искать, правда, безуспешно.

Витька Комольй тоже знал эту историю. И потому, проходя по плотине, как бы невзначай замедлил шаг и стал всматриваться в прибитые к берегу водоросли.

Со стороны полей тем временем шла Анылка. Казалось, что старуха гнется к земле даже от тяжести солнечных лучей. И тем не менее она довольно шустро семенила по дороге своими маленькими ножками.

— Здорово, Анылка, — по приветствовал ее Комольй.

— Здравствуй.

Старуха остановилась и устало вздохнула. Видно было, что все же и она, вечная странница, устает от ходьбы.

— Гуляешь? — то ли спросил, то ли отметил для себя Витька.

Анылка молча кивнула, утирая краем платка лоб и щеки.

— А я вот в Михалевку собрался.

— Чегой-то?

— Да Райка пристала. Отчитать, говорит, надо Нюрку-то Агапову. Нехристи мы, что ли? Ну и вот, иду. Там, в Михалевке, монашка живет — попрошу ее.

— Ай Комаренок отказался?

— Да ну-у-у... — протянул Витька и скривил лицо, будто редьку разжевал. — Отказался. Утопленница не утопленница — какая разница, не пойму... Он же сам чуть не утонул вот в этом же пруду, когда с телеги упал. Вот. — Витька замолчал и махнул рукой. — Ну да ладно. Схожу в Михалевку. А то моя все не успокоится. Тамошняя монашка, я слышал, всех отчитывает. Вот пойду просить.

— Что ж пешком-то? Туда верст двадцать.

— Да-а... — снова скривил лицо Комольй. — Лошадь, паскуда, где-то подкову потеряла. Да это ничего — так дойду. Ты-то вон ходишь!

— Ну, дай бог, — сказала Анылка и пошла дальше.

Витька кивнул и тоже пошел.

Комольй удивился и расстроился, когда Комаренок отказался отчитывать утонувшую Агапову. Витька никак не мог взять в толк, в чем разница между утопленницей Нюркой и, например, упавшей в погреб и сломавшей себе шею Полькой Симовой, которую Комаренок отчитывал в прошлом году. В то, что Агапова собственноручно лишила себя жизни, он не верил с самого начала. Нюрка была русской бабой до самых своих костей. Ей бы никогда даже в голову не пришло размышлять о том, стоит жизнь того, чтобы ее прожить, или же проще забыться, утонув в реке. Конечно, Комольй не верил. Правда, так и непонятно было, как же она все-таки утонула. Вроде плавала хорошо. Может, выпимши была... Но самым непонятным оставалось то, как Комаренок умудряется пить самогон даже в пост и при этом отказываться отчитывать утопшую, ссылаясь на Библию и церковь. Непонятно.



И вот он шагал в Михалевку. Там, по слухам, жила монашка, то ли сбежавшая, то ли просто ушедшая из монастыря. Говорили, что она отчитывает всех. Правда, никто толком не помнил ни ее имени, ни того, как она выглядит. И все же Комольй шел. Шел из-за жены, которая так сильно волновалась из-за неуспокоенной Агаповой, что стала путать сахар с солью, и Витька вот уже третий день ел сладкие щи.

Михалевка была небольшим поселением, всего два десятка дворов, прямо за Дурным логом. Теперь запрудские редко туда ходили — незачем было. Раньше навевывались чаще: кто в гости, кто по делам, кто, наоборот, от безделья. Но со временем расстояние между деревнями будто выросло, дороги удлинились, и все реже можно было теперь увидеть кого-то шагавшего из Запрудского в Михалевку. Да и сами михалевцы были небольшими любителями покидать свои дома. Это были люди тихие и миролюбивые, тела и души которых были обращены природой и трудом. Наверняка уже никто и не вспомнил бы, кто первый поселился в тех местах. Помнили лишь, что само название Михалевка пошло от семьи Михалевых, занимавших в ту пору добрую половину всех домов. Сам Витька бывал в Михалевке всего несколько раз, да и то в ранней молодости. Домики, похожие на грибы в траве, дорога, щедро унавоженная лошадьми и коровами, и бескрайние поля со всех четырех сторон — вот и вся Михалевка. Помнится, Комолого, — а когда он рассказал дома, то и все Запрудское, — очень удивило то, как в Михалевке воспитывали детей. Точнее было бы сказать, что до определенного возраста их вообще никто не воспитывает, кроме травы на улицах, деревьев в садах и домашней скотины. Взрослые уходили работать, возвращались и снова уходили, фактически бросая детей одних. Немногочисленные старики и старухи, обветшавшие настолько, что работа в поле была им непосильна, были, конечно, не в счет. Витька сам видел, как одна такая старуха чуть ли не полдня переходила дорогу от одного дома к другому, пытаясь догнать внука, который за это время успел искупаться, слазить в соседские сады, подраться с мальчишками и даже немного подремать в тени смородины. Понятно было, что старики в Михалевке детей не воспитывали, хоть и были с ними дома круглые сутки. Витька помнил, что его странно удивили кучи мусора, лежащие вдоль дороги. Подойдя ближе к одной из таких куч, Комольй увидел, что это сваленные вместе объедки, овощи, фрукты и другая снедь разной степени свежести. Оказалось, что в Михалевке специально делали такие кучи. И когда взрослые уходили, дети оставались на этих кучах играть и есть одновременно. Забавно было наблюдать, как они, веселые и чумазые, ползали вверх-вниз по этим странно пахнущим горкам, бросая друг в друга то помидором, то краюхой хлеба. Несмотря на такое детство, михалевцы вырастали самыми обычными людьми, с умными головами и отменным здоровьем.

Витька шел, прижимаемый к дороге с одной стороны лугами, а с другой — Обросиновым прудом. Он весело смотрел в горизонт, наслаждаясь

ветром и свежестью, царящей в пустоте его головы. Думать не хотелось ни о чем. Да и как можно было о чем-то думать, когда светило солнце и бабочки, пролетая рядом, касались его лица.

Вспомнился еще один случай, связанный с Михалевкой, долго будораживший умы жителей Запрудского. Давно, когда еще Витьке приходилось вставать на дыпочки, чтобы сорвать ягоды с куста крыжовника, в деревню приехал старик, назвавшийся Махорычем. Витька очень хорошо помнил этого странного деда: высокого, с длинными седыми волосами, с глазами, похожими на перезрелые вишни, и руками длинными, худыми, как оглобли. У Махорыча была только одна нога. Вторая, левая, заканчивалась у колена. Для ходьбы он привязывал к ней небольшую табуретку и довольно проворно передвигался. Где и при каких обстоятельствах Махорыч потерял ногу, не знал никто. Как, впрочем, и всего другого о нем. Дед был крайне неразговорчив. Он мыкался в Запрудском пару месяцев, живя то в землянке, то в шалаше за Дырванкой. Благо, что было лето. Питался Махорыч рыбой, яблоками и тем, что давали ему сердобольные жители. В это же время в Запрудском произошел такой случай. Молодая Хрупалка подшутила над одним мужиком, приходившимся дальним родственником Мордановым. Ведьма так его зачаровала, так задурманила, что тот, совсем ошалев, ни с того ни с сего стал мастерить гробы. Работал он усердно, не щадя сил и времени. В конце концов гробов скопилось столько, что в сарае им стало не хватать места. Пришлось их складывать сначала во дворе, а потом, когда и двор заполнился, выносить прямо на улицу. Напрасно родня стыдила и упрашивала его, напрасно вся деревня смеялась. Все было без толку. Гробов было так много, что, когда по улице гнали коров, те спотыкались о них. Мужики, проезжавшие на телегах, густо матерились, стараясь проехать, не задев какой-нибудь гробик. Маленькие дети, еще не грустящие о смерти, беззаботно играли в окружении свежеструганых гробов, весело прыгая по их крышкам. Так продолжалось до тех пор, пока мать обезумевшего мужика не пошла к молодой колдунье и не упросила ее оставить бедолагу в покое. Хрупалка, которая к тому моменту уже успела забыть о своей шутке, легко согласилась помочь и даже, как говорят, извинилась перед пришедшей старухой матерью. Когда же в одно прекрасное утро этот мужик проснулся в ясном сознании, он пришел в ужас оттого, что все пространство вокруг его дома было завалено гробами. Мужик так близко принял все это к сердцу, что две недели беспробудно пил, а в конце влез на крышу и упал, сломав себе шею об один из гробов. Схоронив мужика в этом самом гробу, его родные хотели было все остальные сжечь. Вот тут-то и оказался рядом Махорыч. Он упросил их отдать гробы ему как материал на постройку будущего жилища. Немного подумав, они отдали все старику.

Люди в Запрудском были суеверны и побоялись того, что в их деревне будет стоять дом из такого странного материала. Кто-то, конечно, и посмеялся над всей этой историей, но таких было мало. Большинство

же не соглашалось соседствовать с домом из гробовых досок. Надо было строиться где-то в другом месте. Так Махорыч оказался в Михалевке. Там никто возражать не стал. Ну, конечно, помогли старику переехать: мужики два дня перевозили гробы на телегах из Запрудского в Михалевку. И уже к октябрю дом стоял.

Странный дом получился. Многие специально ездили, чтобы просто на него посмотреть. Издалека он казался огромной кобылой, увязшей по самую гриву в земле. При ближайшем рассмотрении дом оказывался еще более странным. Весь он был каким-то ненастоящим, будто выдуманым каким-то забуддыгой. Крыша, стены, окна и двери — все было перекошено пугающей фантазией Махорыча и его неумением строить дома. В каждой части дома угадывался гроб. Двери — те просто были готовыми крышками от гробов, кое-как повешенными на петли. Стол — тоже гроб, только перевернутый. Лавки — тоже. Даже кровать, на которой спал старик, была сколочена из двух гробов, набитых для сохранения тепла мхом и соломой. Махорыч строил быстро, не советуясь ни с соседями, ни с погодой. И вот меньше чем за два месяца он построил дом, в котором прожил до самой смерти. И прожил, несмотря на пророчества соседей, в общем-то, хорошо: не болел, не грустил и никогда не вспоминал, что живет в доме, построенном из гробов.

Комольй шел уже больше часа. Вскоре пруд закончился. Потянулась скучная полоса камышей, растущих от тоски по воде медленно, словно нехотя. За камышами был еще один небольшой пруд, прозванный Навозным. Видимо, это было продолжение Обросинова пруда, отделенное от основного водоема глиняной насыпью и камышами. Но никого это, в общем, не интересовало. Все знали только, что есть Обросинов пруд и есть Навозный и что во втором рыба ловится так, как никогда не ловилась в первом.

К полудню Комольй дошел до Дурного лога. Он нашел родник, попил и прилег отдохнуть в тени лопуха. До Михалевки оставалось уже чуть-чуть. Можно было позволить себе немного отдышаться и насладиться пропитанными красотой природы просторами.

Дурной лог был прозван так еще во времена прадеда Комолого. Говорили, что где-то здесь волк загрыз двух странствующих монахов, остановившихся заночевать в логу. Тел монахов, правда, так и не нашли, но зато нашли их вещи и разорванные, перепачканные кровью одежды. Тогда впервые и начали твориться всякие странности в этих местах. По ночам проезжавшие мужики слышали, как кто-то громко плачет и зовет их откуда-то из самой черной глубины лога. Обычно, услышав этот плач, мужики крестились и спешили уехать подальше от странного места. Был лишь один случай, когда на этот зов пошел смельчак из Можайского да так и пропал бесследно. Ехавший вместе с ним пастух вспоминал, что, как только мужик скрылся во тьме, послышался его громкий вопль, а потом все стихло. Пастух поседел на полголовы за ту

ночь, и только скорая заря не дала ему окончательно свихнуться. Больше никто в темноту по логу не ходил. Никто, кроме Хрупалки. Она одна могла уйти в это темное место на всю ночь и вернуться утром как ни в чем не бывало, веселой и помолодевшей. Пастухи, задремывавшие в логу во время выгона, жаловались на страшные кошмары, от которых потом отходили больше недели. А уж о том, что скотина пропадает в Дурном, лучше и не рассказывать. Это знали и в Запрудском, и в Михалевке, и в Юдановке, и даже в Красном Логу. Грешили на волков. Хотя волки в этих местах давно уже были редкими гостями.

По самому сердцу Дурного лога протекал тоненький ручеек. Полежав с полчаса, Комольй встал, спустился вниз, умылся в ручье и пошел дальше. Через четверть часа он увидел дома Михалевки.

Михалевка ничуть не изменилась с тех пор, когда он бывал тут последний раз. Только дома пообветшали да крыши наклонились. Улицы все так же были украшены огромными лопухами и пестрыми кучами съестных отбросов. Дети как чертенята бегали по дороге, бросаясь друг в друга объедками и комьями земли. Пару раз досталось и Витьке: сначала кто-то бросил ему в спину гнилым яблоком, а потом чья-то меткая рука запустила ему в голову помидором. Витька страшно ругался и бегал за шустрой ребятней. Но, как он ни старался, поймать никого не удалось. Утершись рукавом, он пошел дальше.

На самом деле Комольй не знал, где искать монашку. Поэтому подошел к первому же дому и громко постучал. К нему вышла какая-то старуха, от которой сильно пахло скотиной. Витька спросил про монашку.

— Ты не из Юдановки ли? — спросила старуха, рассматривая Витьку.

— Из Запрудского.

— Дожди-то у вас были на этой неделе?

— Давеча ливень был. Чуть было дорогу не смыло.

— А у нас так, только пыль прибил, — пожаловалась бабка. — Капуста посохла. Перец пожелтел. Вон, даже гусятник во дворе пожух.

Комольй терпеливо слушал ее жалобы. Когда же старуха попросила рассказать ей, какие там, в Запрудском, новости, он сказал, что спешит. Бабка грустно вздохнула и объяснила, где находится дом монашки.

— А что, умер, что ль, кто? — спросила она, когда Витька уже повернулся, чтобы уйти.

— Поп утопился, — весело сказал Комольй.

— Господи! — Старуха перекрестилась. — Да как же?

— А вот так: спяну пошел на реку за девками подсматривать да в камышах и захлебнулся.

Сказав это, Комольй быстро зашагал прочь. Старуха же долго еще стояла и разжевывала своим беззубым ртом ком так и не заданных гостю вопросов.

Проходя по улице, Витька заметил дом Махорыча. Он все так же стоял, только стал еще страшнее. Стены и крыша покрылись плесенью и

мхом, отчего казалось, что дом болен какой-то отвратительной болезнью. Стекла во всех окнах были вычурно расписаны паутиной и трещинами. Входная дверь страдальчески болталась на одной-единственной, проржавевшей до корня петле.

Витька подошел ближе.

— Эй! — окликнул он снующую вокруг него детвору. — А что, дед из этого дома жив еще?

— Помер! — весело крикнул кто-то из ребят. — Давно уж.

Постояв, Комольй пошел дальше.

Заблудиться в Михалевке было просто невозможно. Все двадцать с небольшим дворов располагались близ друг друга, образуя единственную улочку. Поэтому Витька быстро нашел нужный дом. Это был самый обычный домишко, высотой в четыре локтя и шириной в два прыжка. Свежепобеленные стены и занавески на окнах говорили о том, что этот дом жив.

Он ожидал найти угрюмую пожилую женщину, с ног до головы одетую в черное, которая будет креститься при каждом вздохе. Но, зайдя во двор, увидел в огуречнике какую-то бабу, которая сильными руками прореживала грядки с луком. Витька даже засомневался и хотел было уйти, но женщина сама его заметила.

— Эй, чего приперся?! — страшным мужским голосом крикнула она ему.

Витька подошел и, стараясь не смотреть на торчавшую у нее из-под рубахи совсем не монашескую грудь, рассказал, зачем пришел. Оказалось, что эта огромная баба и есть та самая монашка. Выслушав Витьку, она только поморщилась.

— Жарко, — объяснила она. — А идти далеко.

— Так не сейчас ведь, — сказал Комольй. — Я ж на лошади приеду. На неделе.

— А, ну так ладно.

Помолчали.

— Ты, уж раз все равно здесь, помог бы чердак почистить, — вдруг сказала монашка-баба.

У Комолого не было никакого желания лезть на чужую крышу и что-то там чистить. Но, с другой стороны, как отказать теперь, когда она уже согласилась ему помочь, он не знал.

— Чего там? — угрюмо спросил он.

— Да кошки со всей Михалевки, паразиты, повадились гадить. Воняет так, что спать без слез нельзя. Ты б залез, почистил. А то меня крыша-то, боюсь, не выдержит.

Это была правда. Монашка была объемом с трех Комольх, да и ростом на голову выше.

Витька махнул рукой.

— Давай, только быстро, — сказал он. — А то мне еще назад воячаться.

Когда Комольй влез на чердак, у него от вони перехватило дыхание и даже в ухе свербеть стало. Все здесь, на что только мог упасть взгляд, было перепачкано кошачьим дерьмом.

Он долго и упорно вычищал кошачий помет с чердака, то и дело прерываясь и выходя на свежий воздух подышать и унять головокружение. День давно уже перевалил за середину, и солнце палило нещадно. Витька тоскливо матерился и так часто поминал покойную Нюрку Агапову, из-за которой очутился здесь, что та, наверное, всю голову себе расшибла, переворачиваясь в гробу. В конце концов он покончил с крышей. Монашка поднесла ему за работу граненый стакан мутного, как квас, самогона и огурец на закуску. Комольй так устал, что даже не нашел в себе сил хотя бы попробовать отказаться. Он послушно выпил, кое-как закусил и плелся назад в Запрудское.

— Дойдешь? — спросила его монашка.

Витька лишь махнул рукой, мол, не то что дойду — добегу!

Увидев играющих ребят, Комольй почувствовал непреодолимое желание побегать с ними. Он начал махать им руками, кричать и весело плевать себе под ноги. Дети стали играть с ним, сообразив, что Витька просто пьяный. Возвращавшиеся с сенокоса михалевцы остановились и долго хохотали, наблюдая за тем, как Витька кидал и никак не мог попасть коровьим дерьмом в их детей. Дети же, не отягощенные алкоголем, кидали не в пример Комолому очень метко. При каждом их попадании Витька весело вскрикивал и тряс головой, как перекормленный мерин. Потом какая-то сердобольная женщина отвела его в сторону, утерла заляпанное грязью, но все равно улыбающееся лицо и предложила остаться переночевать у них. Витька вежливо, насколько позволял выпитый самогон, отказался от ночлега и пошел домой.

Шел он быстро, раскачиваясь, как ковыль в бурю. Дорога почему-то безостановочно петляла, бросалась из стороны в сторону, увлекая за собой доверчивого Витьку. Колдобины, будто живые, вырастали у него на пути то и дело, заставляя спотыкаться на ровном месте. Мысли в голове плавали, словно капуста в щах, образуя какую-то приятную на вкус массу, в которой ничего нельзя было разобрать. Сквозь пьяную дремоту пробивалось: «Надо спешить, пока не стемнело». Он спешил. Но спешить, выпив перед этим стакан самогона натошак, было непросто: ноги заплетались, глаза смотрели каждый в свою сторону.

Дойдя до Дурного лога, Витька решил немного перевести дух. Увидев стог сена, он направился напрямик к нему, сел и тут же заснул.

Проснулся Комольй оттого, что какая-то настырная соломинка щекотала ему шею. Когда он открыл глаза, то не сразу понял, где находится. Было темно, дул ветер, вокруг не было ни огонька. Откуда-то со дна Витькиной головы медленно всплыла мысль, что он в Дурном. Да, точно в Дурном. С трудом Комольй вспомнил, как присел отдохнуть у стога сена да так, видимо, и уснул. Чертыхаясь, он встал на ноги. На небе не было ни звездочки. Непонятно было, куда идти. Кое-как вспомнив, отку-

да шел, Комольй сообразил, в каком направлении Запрудское. Пройдя немного, он вдруг услышал вдалеке чей-то плач. Витька почувствовал, как у него волосы начинают шевелиться от страха. Только теперь всей головой он понял, что идет один, ночью, по Дурному логу. В голову полезли всякие мысли, откуда-то из памяти стали всплывать истории, связанные с этим местом, одна хуже другой. Витька быстро шел, стараясь думать о чем-то своем. Последние остатки выпитого давно рассеялись. Внезапно он увидел перед собой стог сена. Тот самый, под которым спал. Чертыхнувшись, Комольй понял, что сделал круг. Еще раз вспомнив, как и откуда он шел из Михалевки, Комольй на этот раз взял чуть левее. Он шел, стараясь не обращать внимания на тревожные звуки и шорохи. Плач вдалеке то затихал, то начинался снова. Витьке все мерещилось, что кто-то идет рядом в темноте. Чье-то тяжелое дыхание и звук шагов то и дело доносились до его ушей. Страх настолько овладел им, что он боялся вытянуть в сторону руку, опасаясь найти невидимого попутчика.

«Вот дурь-то! — думал Комольй, пытаясь отогнать пугающие мысли. — Дома расскажу — мужики на смех подымут: темноты испугался!»

Где-то сзади слышался вой. Волчий вой. Витька даже похолодел. Руки стали какими-то липкими, сердце в груди раздувалось, давя на ребра. Он пошел еще быстрее. Наконец вдали что-то завиднелось. Витька почти побежал, спотыкаясь о траву. И снова уткнулся в сено.

«Не может быть!» — только и подумал он.

Действительно, такого не могло быть. Он никак не мог снова вернуться к стогу. Внезапно пришла спасительная мысль: это другой стог! Ну конечно! В Дурном часто косили сено. И стогов тут много. Посмеявшись над собой, Витька бодро пошел дальше. Плач, доносившийся откуда-то из глубин лога, утих. Волчьего воя больше не было слышно. Даже ветер успокоился. Через некоторое время Комольй снова увидел стог. Он и сам не мог себе объяснить, зачем подошел, выдернул клочок сена и бросил в траву рядом, прежде чем идти дальше. Только когда через полчаса блужданий во тьме Комольй снова уткнулся в сено, он понял, что все время возвращается к одному и тому же стогу: клочок сена, валявшийся в траве, был тому доказательством. Сердце снова застучало в грудь. Где-то далеко во тьме кто-то засмеялся. Подул ветер, и опять слышался плач. Комольй начал креститься и твердить молитвы, запинаясь на каждом слове. Он, не оглядываясь, побежал прочь. Слева от него, совсем рядом, слышался топот. Казалось, что кто-то скачет. Комольй бежал, зажмурив глаза, боясь увидеть творящуюся вокруг бесовщину, и со всего разбега врезался в стог. Он лежал, боясь пошевелить даже пальцем, и все ждал, что кто-то сзади схватит его. Но шло время, а Комолого так никто и не хватал. Поуспокоившись, он встал, некоторое время постоял, а затем пошел. Пошел просто так, наугад. Но результат оказался тот же: перед ним снова был стог. Заколдованное место никак не хотело его отпускать. Витька, не желая мириться с по-

ложением пленника, раз за разом уходил прочь от сена и возвращался к нему снова и снова. Запыхавшийся, мокрый от пота, он упрямо уходил от сена и никак не мог уйти. Казалось, все дороги на земле каким-то непостижимым образом согнулись в эту ночь и ведут только сюда — в Дурной лог, к заколдованному стогу.

После очередной неудачи Витька присел у злополучного стога перевести дыхание. Случайно нащупав в кармане спички, он практически бессознательно зажег одну и долго смотрел на огонь. Когда пламя стало подбираться к пальцам Комолого, он бросил спичку в скирду. Сено сразу же приняло огонь, будто с радостью отдаваясь его стихии. Витька быстро зашагал прочь. Сначала он просто шел. Потом перешел на бег. Он бежал, то и дело оглядываясь назад на полыхающий стог. Во тьме горящая скирда напоминала дом, утонувший в пожаре. Витька спешил подальше отойти, пока сено горело и было видно, что он идет в противоположном от него направлении. Опять послышался стук копыт, смех и чьи-то крики. Витька бежал не помня себя. Но, несмотря на сковавший душу страх, он снова и снова оглядывался, боясь потерять горящий, словно маяк, стог. Шум вокруг нарастал. Визг, плач, чей-то рев и отборная ругань вихрем вертелись вокруг него, кружа голову и заставляя ноги дрожать и спотыкаться. Внезапно Витька поскользнулся на мокрой от росы траве и упал. Он закрыл голову руками и долго лежал, ожидая чего-то страшного. Чья-то холодная рука провела по его плечам, будто мать ребенка погладила. Комолоый задрожал, но ничего не происходило.

Долго ли так пролежал, он не знал. Когда же Витька поднял голову, он увидел, что ночь прошла и занимается заря. Над полями стоял туман, воздух был холодный и серый. Комолоый вдруг увидел, что лежит прямо перед плотиной через Обросинов пруд.

Витька встал и, шатаясь как пьяный, пошел к дому. Больше он никогда не ходил в Михалевку.

ПУСТЬ И НА ТОМ СВЕТЕ ЗЕЛЕНО БУДЕТ

Кроме огородов почти все жители Запрудского засеивали и обрабатывали участки за Навозным прудом, в лугах. Это были огромные наделы, сравнимые разве что с небольшим морем, по которому запрудские бабы плавали, словно лодки, с тяпками вместо весел. Чаще всего там сели свеклу — на корм скотине. Каждое лето два раза в месяц женщины уходили на прополку, оставляя семьи и хозяйства существовать без присмотра. Поначалу кто-то из них пробовал возвращаться вечером после работы домой, но скоро бросил за бессмысленностью такого действия: свекла находилась в нескольких часах пути от деревни, и в итоге получалось, что больше времени тратится на ходьбу, чем на саму прополку. Поэтому деревенские бабы оставались в полях до тех пор, пока последний сорняк на их участке не исчезал. Несмотря на жару, женщины были веселы и часто пели во время работы, мерно маша тяпками. Кто-то уходил

вперед, кто-то отставал, но пение не прекращалось. Иногда получалось так, что в начале борозды уже запевали новую песню, а в конце все еще тянули прежнюю. Иногда — наоборот. Обсуждали последние события, делились радостями, жаловались на мужей, сплетничали, и все это — ни на минуту не прекращая движения от начала борозды к ее концу. В полдень, когда от жары Навозный пруд мелел на локоть и бабочки сбрасывали крылья, желая опять превратиться в гусениц, бабы прекращали работать и прятались в тени растущих неподалеку рябин. Обедали вареными яйцами, хлебом и луком, запивали квасом, а потом ложились вздремнуть часок-другой. Кто-то спал и видел во сне дом. Кто-то не мог заснуть, долго ворочался и в конце концов вставал, включаясь в медленную болтовню других неспящих баб. Говорили тихо, не спеша, будто выдумывая слова заново. От этого разговор становился похож на колыбельную, и некоторые все же засыпали. Когда зной спадал, вставали и снова брались за работу. Пололи до самого заката, изредка останавливаясь, чтобы попить. Иногда продолжали работать и после захода солнца, до тех пор, пока еще можно было различить свеклу. Как только ночь делала невозможной любую работу, бабы ложились среди грядок, подкладывали под головы тяпки вместо подушек и засыпали так быстро, что некоторые даже забывали закрыть глаза.

А в деревне в это время творились самые невероятные вещи. Мужчины дурели от долгого отсутствия родного женского тепла и безумствовали, кто как мог. Кто-то пил, кто-то уходил с головой в работу, часто ненужную и бесплодную, кто-то тосковал внутри себя. Дети, напротив, легкие и веселые, носились по деревне, завтракая и обедая на бегу. За эти дни они настолько сближались с природой, что многих после приходилось заново приучать к ложке и объяснять, как пользоваться тарелкой. Спать ложились в том доме, возле которого их застигали звезды или усталость. Чаще всего мужчины понятия не имели, где ночуют их дети. Был случай, когда детвора заснула прямо посреди дороги, прижавшись друг к другу и укрывшись листьями лопуха. Нашел их Сашка Последов, гнавший утром коров и чуть было не наступивший на кого-то из ребят.

Федот Захаров, Комольй и Витька Кондусов по прозвищу Ёся сидели на лавке перед домом и смотрели на дорогу. Курили, покрикивали на бегающих по улице детей, разговаривали меж собой и вполсилы тосковали об ушедших женах. Тосковали вполсилы оттого, что тосковали вместе, троим. По одному каждый из них мог затосковать до слез. Вместе же так не получалось.

— Надоело все, — жаловался Комольй, топча окурки.

— Что надоело-то? — не понял Ёся.

Витька лишь махнул рукой в ответ.

— Дома, что ль, не ладится? — снова спросил Ёся.

— Да нет, миловал бог. Здоровы все.

— Чего ж тогда?

— Жизнь трудная, — туманно ответил Комольй.

Ёся был искренне удивлен жалобой Комолого на жизнь, так как не представлял себе другого счастья, кроме как здоровье своей семьи. Работа? Так это ж и есть жизнь. Как без работы-то... Витька Кондусов, как и большинство жителей Запрудского, просто не мог себе представить жизнь без работы.

— Вот выращу детей и издохну, — пообещал Комолый.

— Ну?!

— Ей-богу! Лягу на лавку под иконы и помру. И больше палец о палец не ударю. Надоело.

— Скоро сено убирать, а ему надоело... — удивился Федот. — Не пойдешь, что ль? Так я тогда с твоей делянки заберу.

— Я те заберу! — заволновался Комолый. — Там сено — чистый клевер.

— Да какой там клевер. Сплошная осока.

— Хоть и осока, да моя.

— А говоришь — помирать собрался, работать надоело...

— Так говорю ведь, как дети подрастут, работать станут сами — тогда уж точно.

— А я, как помру, сразу на небо, — сказал Ёся.

— Ждут тебя на небе, как же, — не поверил Федот. — У тебя грехов, поди, больше, чем у Калтона навоза во дворе.

— Калтон, как строиться начал, весь навоз в поля свез, — ни с того ни с сего сказал Комолый.

— На небо, ясное дело! — уверенно отвечал Ёся Захарову. — Что ж я, еретик какой? Ну, бывало, по молодости бедокурил. Так кто святой-то? Комолого, что ль, на небо?

— А то куда ж? — удивился Комолый, искренне считавший вопрос о царствии небесном давно для себя решенным. — Вот усопнете, увидите, где я.

— Ты хоть, как помрешь, приснись тогда, — попросил Федот. — Скажи: мол, так и так, в раю я.

— Приснюсь, — пообещал Комолый. — А вы поминайте как следует. И могилку ройте хорошую.

— Да уж такую, как ты Агаповой вырыл, не сделаем.

— А что?

— По колено вся могила-то, — сообщил Ёся.

— Ума у тебя по колено! — махнул рукой Комолый.

Посидели молча. Солнце ласково припекало, обещая тишину и спокойствие. Какие-то назойливые бабочки то и дело кружились около мужчин, не давая им как следует сосредоточиться на своем безделии.

— Никак Калтон... — кивнул в сторону Аркасиного дома Федот.

Все посмотрели туда. По дороге и вправду шел Калтон, прихрамывая, будто пританцовывая. С тех пор как неделю назад его зашибло сорвавшимся со стены бревном, стройка его дома заметно замедлилась. Слава богу, Калтон жив остался. Вот только нога, на которую упало брев-

но, сильно болела и не желала затихать. Полина и медом ее оборачивала, и мать-и-мачеху на ночь прикладывала, и заговаривала, как бабка ее учила, — все без толку: Калтон страдал от боли, как и прежде. По ночам, забывшись сном, он начинал протяжно стонать, да так громко, что соседские собаки тоскливо выли, принимая эти звуки за плач какого-то неизвестного зверя. Полина сходила к Хрупалке, но та отказала. Сказала, что подождать нужно — само пройдет. Быть может, в первый раз колдунья ошиблась. Но пока об этом никто не знал.

- Здорово были, — поприветствовал всех Калтон.
- Здорово.
- Слышали, что там Кулаков с Беженцевым затеяли?
- Нет. А чего?
- Да вот, говорят, роют чего-то вокруг яблоневого сада.
- С чего ты взял? — спросил Комольй.
- Анылка сейчас проходила мимо, рассказала. Вот иду посмотреть.
- Пойдем, — просто сказал Ёся, и все четверо не спеша пошли в

сторону сада.

Петька Кулаков и Фёдор Беженцев и вправду копали. Началось все с того, что Петька, скучая по ласковому присутствию жены, решил посадить два-три саженца тополя недалеко от сада. По дороге ему встретился Фёдор Беженцев, тоже пребывавший в грустной растерянности. Устав от одинокого шатания по деревне, он последовал за Кулаковым. Они сходили за Обросинов пруд, выкопали несколько молодых тополей, обернули корни тряпками, на которые предварительно помочились, чтобы корни не посохли, и отнесли их к саду. Петька стал копать ямки, а Фёдор сажать в них молодые деревья, укладкой омывая их своей слезой.

Время ползло, словно гусеница по ветке смородины, то поднимаясь, то срываясь вниз. Кулаков быстро забылся работой. Он так усердно махал лопатой, что несколько раз бросал землю прямо Фёдору в лицо, отчего тот начинал сердиться и громко отплевываться. Петька копал от всей души, так что некоторые ямки получались глубиной чуть не в пол-лопаты. Беженцеву даже приходилось несколько раз засыпать выкопанную землю назад, так как некоторые саженцы были настолько малы, что проваливались в вырытые Кулаковым ямки полностью. Посадив десять молодых деревьев, мужчины присели передохнуть и подумать о жизни. Приятно думать о жизни, помахав перед этим лопатой часик-другой. Все вопросы кажутся проще, все заботы — мельче. Только приятная усталость в теле и мысли, медленные и тягучие, как мед.

— А хорошо бы вокруг всего сада тополей насажать, — предложил Фёдор, кутаясь в сочную траву. — Весной пахнуть будут! Знаешь, как тополя весной пахнут? Лучше всего! У нас раньше тополиная посадка была в десяти шагах от дома. Весной выйдешь ночью на двор да так и простишь до утра, вдыхая что есть мочи.

И, вспомнив свой прежний дом, он, как это всегда с ним бывало в таких случаях, сиротливо заплакал.

— А что?! — обрадовался Петька, не обращая внимания на Беженцева. — Посадим! И вправду хорошо будет!

В это время подошли Калтон, Захаров и Комольй с Ёсей. Услышав предложение Беженцева о посадке тополей, все взбодрились от предстоящей неожиданной работы и тут же принялись за дело. Пока ходили домой за лопатами, подтянулись другие мужики, тоже желавшие поразмять заскучавшие руки. За саженцами снарядили телегу. Рыли с таким усердием, что уже в первые часы работы сломали четыре лопаты. Калатушкин лично приехал проследить, чтобы все было в порядке. Выпив поднесенные мужиками двести граммов, он, румяный и веселый, ходил по яблоневому саду и громко пел песни. Мужики долго спорили, как сажать тополя: в один ряд или в два. Кричали громко, сами толком не понимая того, как, собственно, нужно сажать. Остановились на двух рядах. После этого стали спорить, на каком расстоянии друг от друга должны стоять деревья. Пока спорили, подъехала первая телега с саженцами. Те, кто копал саженцы, узнав, что без них решили сажать в два ряда, снова подняли спор о том, что правильнее сажать в ряд. Мужики все больше горячились и все больше запутывались в сути вопроса. Наконец решили спросить совета у Калатушкина. После недолгих поисков участкового нашли лежащим под одной из яблонь. Он широко раскинул руки и громко храпел, пугая кузнечиков и муравьев, ползавших по его лицу. Видя, что от него толку мало, мужики напрягли характеры и хором решили: сажать в два ряда на расстоянии трех шагов. От изнурительного спора все чувствовали себя уже отработавшими и всем хотелось есть. Кто-то пошел до дому, кто-то пытался утолить голод зелеными яблоками, кто-то просто решил лечь подремать и сном переждать голод. Все разбрелись, оставив саженцы наедине с телегой.

Пока мужики боролись с внезапным голодом, бегающая по деревне детвора добралась до телеги и в пылу игры разбросала молодые саженцы по всем дорогам, от Дырванки до Гусевки. Утки и куры мигом ощипали молодые ветки, превратив саженцы в непригодные для посадки хворостины. Обнаружившие это мужики громко кричали и пытались поймать кого-нибудь из детей. Так никого и не поймав, они с пустыми руками пришли к тому месту, откуда планировалось начать сажать. Пришлось второй раз ехать за тополями. В итоге, когда все было готово и к посадке наконец-то можно было приступить, стояла уже глубокая ночь. Мужики сложили саженцы в кучу, накрыли принесенным из домов рядом и разошлись по домам. Остались только Комольй, Беженцев и Кулаков. Они решили заночевать у тополей, чтобы больше никто их не растащил.

Ночь была теплой, почти жаркой. Трое мужчин громко храпели, бестолково раскинувшись в придорожной траве. Они не слышали, как в полночь на кучу молодых тополей села кукушка и протяжно куковала, отмеряя спящим долгую жизнь. Не слышали они, как на заре мимо них прошел Сашка Последов, громко щелкая кнудом. Пастух постоял, удивленно посмотрел на спящих и пошел собирать одичавших без женского присмотра коров. Разбудила мужчин Анылка. Она долго щекотала обло-

манной хворостиной под носом у Кулакова, пока случайно не ткнула его в ноздрю, провалившись в нее веткой на добрую половину ладони. Петька вскрикнул и проснулся. За ним проснулись и два других сторожа. Петька кричал и бранился, зажимая шедшую носом кровь. Анылка молча оторвала кусок ткани от своего платья, скатала в трубочку и словно пробкой заткнула ею ноздрю Кулакова.

— Посиди чуток, заживет, — сказала она и пошла дальше.

Петька честно пытался просидеть полчаса с затычкой в носу. Но от материи платья Анылки шел такой густой запах старости, что Петька не выдержал, вынул пропитанную кровью пробку и выбросил. Затем он заткнул ноздрю травой и вскоре забыл.

Медленно расправляя затуманенный снами разум, мужики осмотрели саженцы. Все были на месте, только там, где сидела кукушка, осталась небольшая кучка помета.

Вскоре подошли другие, и началась работа. Сажали весело, с руганью и смехом. Дети кружились вокруг мужчин как заведенные, уклоняясь от летящих в них комьев земли и проскакивая между ног у зазевавшихся копачей. Обогнув сад с одной стороны, выяснили, что саженцев не хватает. Снарядили еще одну телегу. Пока одни ездили за саженцами, другие соображали насчет обеда. Решили пообедать все вместе прямо в саду. Из еды несли кто что мог: хлеб, вареную картошку, яйца, сало, лук, чеснок, молодые огурцы и тому подобное. Морданов притащил флягу кваса. А дядя Яхим расщедрился и принес четверть самогона. Для этого он залез в подпол — туда, где он провел целый месяц после смерти жены, — и долго лазил в темноте, пытаясь на ощупь отыскать свою схоронку. Согнувшись в три погибели, Яхим долго рылся в земле, пока наконец не нашел закопанную им когда-то огромную бутылку. Теперь, годы спустя, ему казалось странным, почти невозможным желание просидеть здесь в темноте целый месяц. В смерти Яхим давно уже не видел ничего пугающего и иногда на досуге даже думал о том, что, наверное, это совсем неплохо — умереть. Забыть все заботы и дела, забыть прошлое, родных и весь мир — и исчезнуть. Но в этот раз, сидя под полом, он впервые почувствовал, что и в смерти близких нет ничего такого, что должно бы пугать или заставлять страдать. Все люди должны жить и умирать, и в этом нет ничего страшного. И, быть может, отнять у человека смерть значило бы обокрасть его. Яхим, как и большинство людей, приблизился к истине лишь тогда, когда жизнь уже была на исходе.

Мужики весело балагурили, пили, смеялись и шутили. Многие разбрелись по яблоневому саду, заснув у какой-нибудь яблони. Калтон и Захаров громко спорили о том, как правильно крыть крышу. Калтон так яростно брызгал слюной, что Фёдору то и дело приходилось замолкать, чтобы утереть лицо. Комольи раскинулся в траве на солнце и что-то тихо пел, постоянно сбиваясь и путая слова. Кто-то пошел к Обросиному пруду искупаться. Ёся и Колька Морданов схватили вилы и стали бегать по саду, на спор пытаясь насадить на них бабочку. Они кричали что-то

друг другу, тыча вилами во все стороны. Многие с интересом наблюдали за их затеей, подбадривая и всячески помогая советами. Вообще-то, если верить рассказам наполовину выживших из разума стариков, в Запрудском был такой умелец, который легко насаживал не то что бабочку, но даже пчел на вилы. Говорят, что он мог серпом перерубить комара на лету. Поэтому спор Ёси и Морданова родился не просто с пьяной дури. С пол часа они носились по саду, смеша наблюдавших за ними мужиков и детей. Кончилось все тем, что проснувшийся Калатушкин отобрал у них вилы и запретил подобные забавы, тем более на пьяную голову. Ёся и Морданов, измотанные беготней, сразу согласились и выпили вместе с участковым в знак примирения.

Потом опять началась работа. Копали, сажали, поливали...

На дороге уже в который раз за этот день появилась Анылка.

— Эй, Анылка! — позвал увидевший ее Калтон.

— Хорошо сажаете, — сказала она, подойдя к мужикам. — Надолго эта посадка пойдет.

— Да хоть бы вообще принялась, — засомневался мнительный Безенцев.

— Примется, — заверила старуха. — Еще и твои правнуки эти тополя увидят.

— На, — протянул ей саженец Калтон. — Посади хоть один. На удачу. А то всё мужики сажают.

Анылка взяла тоненькое деревце, подошла к ближайшей ямке и воткнула в нее саженец листвой вниз, а корнями наружу.

— Эй, ты чего? — удивился Калтон.

— Из ума выжила, — сплюнул под ноги Сашка Демон.

Анылка, не обращая ни на кого внимания, смотрела на перевернутое деревце так, будто это не она его только что воткнула в землю.

— Так закапывайте. Пусть и на том свете зелено будет.

Сказав это, старуха развернулась и ушла.

Мужики стояли молча, обдумывая старухины слова. Подумав, решили оставить так. Кто знает, может, и вправду от этого закопанного вверх ногами тополя на том свете зеленее будет.

ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНОЕ

Был самый обычный жаркий полдень, когда со стороны Красного Лога в Запрудское вошла молодая девушка. Босая, в легком развевающимся сарафане, она, казалось, летела над землей. Дети, игравшие у дороги, притихли, когда девушка прошла рядом. Нет, конечно же, они не испугались. Но, когда дети увидели ее, какое-то незнакомое чувство появилось в их груди и с каждым новым ударом сердца проникало все глубже в их души. Цветы вдруг показались им слишком яркими, небо, нависавшее над головой, бесконечно огромным, а пенье птиц стало похоже на голоса, зовущие куда-то далеко. Дети начинали взрослеть.

Несколько деревенских баб встретились с нею, когда она проходила мимо Дырванки. Женщины гадали, чья же эта дочь, глядя на тонкий, едва различимый в высоких травах силуэт. Но как только девушка приблизилась, женщины умолкли и смутились, сами не зная отчего. Каждая зачем-то вспомнила, что еще совсем недавно была такой же молодой и тоже любила гулять босиком по деревенским дорогам. Девушка прошла мимо. А женщины, не сговариваясь, сняли душную обувь, бросили в сумки и пошли, лаская натруженные ноги бархатом придорожной пыли.

Отчего летний день кажется таким длинным? Уж, конечно, не оттого, что солнце заходит позже, чем зимой, например. Нет, такое объяснение может устроить только ребенка. Лето таит в себе какое-то неизъяснимое волшебство, таинственное и почти незаметное. Осколки счастья, вдребезги разбитого каким-то неведомым божеством, рассыпаны в каждом летнем дне, в каждой минуте. Хочется жить просто, как трава или как деревья, и тянуться к небу, не думая о приближающейся осени. Хочется смеяться и забыть о том, что лето не бывает вечным...

Девушка все куда-то шла.

Васька Шеин и Петька Кулаков грузили мешки с мукой, когда она проходила мимо. Васька хотел было окликнуть ее, приняв за одну из дочерей Захаровых. Но не окликнул. А Кулаков, посмотрев на нее, почему-то вдруг загрустил. Он слез с телеги и смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Потом Петька еще, наверное, с час сидел в тени рябины, смотрел, как солнце играет в листве, и молчал. Васька не мешал, тоже чувствуя какую-то щемящую, непонятную ему самому грусть.

У кладбища девушка остановилась. Она смотрела на раскинувшиеся перед ней вереницы крестов, и лицо ее становилось все ласковее. Быть может, девушка следила за бабочкой, порхавшей с одной могилы на другую, словно чья-то заблудившаяся душа... Или смотрела за птицами, летавшими высоко-высоко и не знавшими ничего о смерти... Нет, она не собиралась плакать. Но что-то было в ее взгляде, какая-то тайна, говорившая о том, что ей понятна истина, недоступная другим.

Девушка задержалась у кладбища лишь на секунду. А затем, казалось, сам ветер поднял ее и понес дальше по деревенским улицам.

Быть может, магия лета заключена в солнце? В том самом солнце, которое в эти дни источает не только свет и тепло, но и еще что-то, какое-то неназванное чувство, лежащее за гранью любви и добра? Да, конечно, весна дарит пробуждение. И это магия. Осень приносит покой — и это тоже магия. Зима умиротворяет. Это настоящее волшебство. Но что делает лето? Нельзя выразить это словами, нельзя понять умом, невозможно удержать это ни на мгновение. Это тайна тайн, которую может почувствовать только очень большое сердце.

Анылка встретилась с ней, когда проходила мимо Хворостянки. Ветер, идущий за девушкой по пятам, растворился в камышах по обе стороны реки, и она, казалось, слушала их тихий шепот. Старуха смотрела на нее, вспоминая то место и время, где уже, как ей казалось, встречалась с ней когда-то давно. Девушка повернулась — и на мгновение их взгляды

встретились. Улыбнувшись, она пошла дальше. А Анылка осталась слушать шепот камыша. Впервые за многие годы ей захотелось пойти домой и просто посидеть у окна.

Фёдор Беженцев косил траву перед домом, время от времени омывая косу своей слезой. Накануне ему опять снился дом, в котором он вырос. Снились родители, соседи — все те, кто давно уже отправился в вечное путешествие к звездам. Увидев идущую по дороге девушку, он почувствовал, как забытое ощущение счастья медленно разливается по всему телу, пробиваясь откуда-то из-под сердца. Глядя на ее силуэт, ему казалось, что он видит кого-то из своего сна, кого-то из прошлого, из мира почти забытого и почти нереального детства. Он уронил косу и сел на землю. Девушка улыбнулась, глядя на него, и, не останавливаясь, прошла мимо. А он долго еще сидел, улыбаясь так, будто встретил сестру или брата после долгой разлуки.

Фёкла, увидев мужа на траве, долго пыталась понять, что случилось. Но тот лишь улыбнулся, поднялся с земли, поцеловал жену и, махнув рукой, продолжил косить. На душе у него было так легко, будто впервые за многие годы он открыл глаза и увидел солнце.

Хрупалка, сильно хворавшая в последние дни, вышла посидеть на крыльце, когда та девушка проходила мимо ее хаты. Здесь, как и у кладбища, девушка на секунду остановилась и улыбнулась старой колдунье. Хрупалка нахмурилась, будто вспомнила о какой-то давней своей потере, и отвернулась. Девушка ушла, а старуха еще долго сидела на крыльце. Быть может, она одна понимала, что гостя, минуту назад стоявшая напротив ее дома, проходила по этой деревне в последний раз.

Многие видели в тот день эту девушку. Комольй принял было ее за сестру жены, что жила в Юдановке. Но, присмотревшись, понял, что ошибся. Федот и дядя Яхим встретились с ней у Обросинового пруда, когда собирали ряску для уток. Оба были уверены в том, что узнали ее, но, сколько ни старались, так и не вспомнили имени и долго еще спорили, забыв и об утках, и о ряске.

Калтон прибывал доски на крыше, когда девушка проходила мимо его дома. Он чуть было не стукнул себе по пальцу, заглядевшись на нее. Когда через несколько минут Полина вышла во двор, она нашла мужа спящим на лавке. Удивившись, женщина не стала будить мужа. Накрыв его простыней, она пошла заниматься делами, а Калтон проспал до самого вечера, улыбаясь чему-то во сне.

Так бывает — увидишь что-то и чувствуешь: это и есть главное. И это не навсегда, это уйдет. В такие моменты только и понимаешь, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить, какой бы бессмысленной она ни казалась вначале. Многие в тот день, кто встретил бродившую по Запрудскому девушку, поняли это.

Последним, кто видел ее, был Сашка Последов. Он гнал коров из Дурного лога и встретился с ней недалеко от Навозного пруда. Поравнявшись с пастухом, девушка свернула с дороги и растворилась в подсолнухах. Больше она никогда не появлялась в Запрудском.



ХОТЬ МЕШОК НА ГОЛОВУ НАДЕВАЙ

Как-то вечером Машка Морданова вышла за водой. Ночь была душной и темной, как калоша. Незнакомый ветер тревожил деревья и травы, заставляя противно шелестеть невидимый во тьме мир. Ни лая собак, ни плача птицы, ни шума людских голосов — ничего. Одна пустота кругом. Какая-то тревога была разлита в беззвездном небе, и капли ее беззвучно падали на крыши запрудских домов. В такие ночи рождаются легенды и умирают ведьмы.

Машка на всякий случай проверила, закрыты ли двери в сарай, и, убедившись, что все в порядке, пошла к колодцу. Она сняла крышку и стала медленно поднимать ведро с водой. Что-то скрипнуло у нее за спиной. Женщина обернулась. Сзади никого не было. Когда же она перевела взгляд назад к колодцу, то увидела, что в поднятом ведре лежит отрубленная козлиная голова. Закатившиеся, но еще не успевшие помутнеть глаза, торчащий язык и свежая кровь говорили о том, что обезглавили животное совсем недавно. Машка уже хотела было взять голову за рога, как вдруг та открыла глаза и начала отчаянно блеять. Женщина закричала, бросила ведро и побежала в хату.

Колька Морданов мастерил с сыном табуретку, когда Машка, крича и размахивая руками, вбежала в избу. Как безумная она кидалась от стены к стене, осеняя все вокруг крестным знаменем. Чтобы успокоить жену, Кольке пришлось силой влить в нее полбутылки самогона. Только после этого Машка утомилась и кое-как рассказала о случившемся. Колька с Васькой тут же пошли к колодцу искать голову. Колька справедливо решил, что это чья-то глупая шутка: кто-то задумал напугать их и подбросил отрезанную козлиную голову в колодець. Ну а что она блеять начала — так со страху и не такое может привидеться.

До самой зари отец с сыном поднимали ведра и, не находя отрубленной головы, раз за разом выливали воду на землю. Когда начало светать, из колодца уже доставали глину вместо воды — колодець опустел, а отрубленной козлиной головы так и не было. Зато двор Колька с сыном залил так, что можно было садиться в корыто и плыть. Гуси резвились в воде, громко гогоча и хлопая крыльями, а куры, наоборот, осторожно обходили разлившийся водоем. Машка, страдающая после выпитого накануне самогона, долго не могла понять, откуда в их дворе взялось это болото, и до самого обеда сидела на крыльце, глядя в его мутные воды.

Этот случай стал первым в череде странных и загадочных происшествий, будораживших Запрудское целую неделю.

В сущности, вроде бы ничего и не происходило. Ну, где-то кому-то что-то померещилось, приснилось или привиделось, послышалось или показалось. Обычное дело для деревни. Но странность происходящего была в том, что мерещиться и казаться вдруг стало всем без разбору, причем такая чертовщина, что хоть мешок на голову надевай — и в погреб.

Сашка Последов целых два дня безжалостно стегал вверенных ему коров кнутом, пока не забил двух до смерти. Обозлившиеся мужики рвались побить незадачливого пастуха — и побили бы, если б не подоспевший Калатушкин. После долгих и невразумительных объяснений стало ясно, что два дня облако жирных, с мужскую ладонь, слепней преследовало деревенское стадо. Сашка изо всех сил старался прогнать паразитов, размахивая кнутом направо и налево. Итогом этих размахиваний стала гибель двух коров, израненное вымя еще у четырех и обломанный рог у быка Сашки Демона. Правда, как потом признался Демон, это он сам нечаянно сломал быку рог, пытаясь завести того в сарай. В общем, история с Сашкой Последовым могла бы закончиться плохо, тем более что следов укусов слепней на коровах не нашли. Однако все вынуждены были признать: вины пастуха в сделанном нет. Виноват морок, охвативший всех жителей Запрудского.

Даже сам Калатушкин, поначалу усомнившийся в подобном объяснении, в конце концов поверил: в деревне творится что-то странное. Участковый тоже не избежал видений. Сразу же после разговора с Последовым он поехал к себе домой. Калатушкин ехал, целиком погрузив свой разум в размышления о происходящем, и потому, когда на его пути вдруг возник какой-то чумазый ребенок, все, что он успел сделать, это закричать и свалиться в канаву. Оглянувшись, никакого ребенка Калатушкин не увидел, дорога была пуста. Только колесо велосипеда уныло крутилось, будто не желая останавливаться. С трудом встав, участковый почувствовал сильную боль в руке. Как выяснилось позже, это был перелом.

Вернувшись с уборки сена, Федот Захаров, не заходя в дом, сел у крыльца. Лицо его было уставшим и каким-то позеленевшим.

— Что с тобой? — кинулась Федосья, увидев, что мужа тошнит.

Федот утерся, выпил воды и рассказал все жене. Оказалось, что его вот уже третий день преследует какая-то нечисть: мерещится ему то под кустом, то в траве, то еще где какой-то отвратительный то ли котенок, то ли щенок. Федот утверждал, что вид у зверька такой мерзкий, что просто рвота одна, да и только. Шерсть у него взъерошенная и скользкая, будто он только что на свет народился, глаз один на месте, а другой под ухом, три лапы и хвост как будто переломанный. Просто падаль какая-то неземная! И как только Федот идет куда-нибудь, всюду ему видится это мерзкое создание — сидит себе в траве или из-под лопуха смотрит так, что мурашки по затылку елозят.

К Захаровым под села проходившая мимо Анылка.

— Хрупалка-то помирает, — сказала она.

— С чего ты взяла? — удивился Федот.

— Неужто сам не видишь, что в деревне творится-то?

— А что?

— Бесовщина, вот что! За ней пришли. Ждут, стало быть, ее.

Помолчав, старуха добавила:

— Я у неё была надясь. Сильно, говорит, болею. Как будто, говорит, кто пепла в грудь набросал. Чует, что недолго уж осталось.

— А говорят ещё, собаки-то дохнут на Дырванке, — то ли сказала, то ли спросила Федосья.

— Сожрали чего-нибудь, вот и дохнут, — объяснил Федот, хотя в глубине души сам не верил в такое объяснение.

— Издохли собаки, — подтвердила Анылка. — Все она ворожит.

Вздохнув, старуха встала и пошла дальше. А Федот и Федосья долго ещё сидели и думали о том, что смерть ко всем приходит одинаково: и к праведникам, и к колдунам.

Хрупалка чувствовала близкую смерть. Ей казалось, что весь воздух смердит ею. И собаки в округе действительно издыхали по ее вине. Колдунья, как все в Запрудском, знала, что именно собаки, чуя больного человека, воем зовут смерть поскорей забрать его. Потому как, если смерть не приходит вовремя к тому, к кому должно ей прийти, болезни умирающего могут перейти и на тех, кому еще отпущено жить. Хрупалка, не давая себе отчета, уморила всех соседских собак, опасаясь услышать предназначенный ей вой. Всюду ей виделись гниение и прах. Колдунья целыми днями жевала полынь, чтобы хоть как-то отбить запах скорой кончины. Но запах не уходил. Окончательно она убедилась в неизбежности своей участи, когда однажды, открывая замок на двери дома, вдруг обломила ключ. Старуха долго смотрела на обломок ключа в своей ладони, чувствуя, как страх, исходящий откуда-то из живота, смешивается с равнодушием, заполняющим все ее тело, рождая что-то новое, незнакомое. Дом больше не хотел принимать ее. А когда дому ты больше не нужна, остается лишь одно место, куда ты можешь уйти — в свою могилу. Старая ведьма все это знала. Постояв немного у запертой двери, она пошла просить кого-нибудь из мужиков помочь попасть ей в дом. После Хрупалка до самой ночи сидела во дворе, кормя кур. Старуха зачерпывала пшеницу из ведра и бросала по одному зернышку, называя при этом каждый день своей жизни. Все, начиная от того дня, когда она родилась, и заканчивая днем сегодняшним, когда она обломила ключ в замке, — все было брошено курам. Ведьма не забыла ни одного дня, ни одной ночи. Посмотрев в ведро, она увидела на дне семь маленьких зернышек. Это были дни, которых она еще не могла назвать. Дни, которые ей еще осталось прожить.

С того дня здоровье Хрупалки стало ухудшаться с каждым часом все быстрее. Казалось, что она вянет изнутри и куски ее плоти, обмываясь где-то под кожей, падают вглубь нее, оставляя внешний облик прежним. Она все реже выходила из дому — видения, мучившие ее, были куда ужаснее тех, что преследовали остальных жителей деревни. В сущности, Хрупалка уже почти не видела окружающего мира — перед ее глазами разворачивался мир, граничащий с этой жизнью и следующий за ней. Время от времени она визжала так, что у младенцев из домов, стоящих неподалеку, седали ресницы. «Это ее бесы топчут», — говорили люди друг другу. По ночам все Запрудское слышало, как ведьма про-

сила кого-то: «Возьми!» Черный дар ее был слишком велик, чтобы быть погребенным в земле. Старухе нужен был кто-то, кто возьмет на себя ее проклятье и позволит ей наконец умереть. Ведьма мучилась, как рожевица, неспособная разродиться, мечась по дому и царапая стены. Никто не решался пойти и помочь бившейся в агонии колдунье. Комаренок, поп из Можайского, визжал и кусался, когда запрудские мужики попытались силой отвести его в дом ведьмы.

— Изверги! Душегубы! — кричал поп, извиваясь в руках мужиков.

— Да что ты, малохольный, воешь! Успокой старуху! Уж неделю мучается!

— Сами лезьте в ее чертово логово, а меня не троньте! — упорствовал Комаренок, пытаясь освободиться.

— Бойтся! — крикнул кто-то из шедших вместе с мужиками баб.

— Дура! — крикнул в ответ замученный Комаренок.

Крики и спор продолжались всю дорогу, пока мужики на руках несли строптивного попа к дому Хрупалки. Когда же наконец пришли, из дома вышла сама Хрупалка. Все замерли, даже Комаренок замолчал. Кто-то из баб взвизгнул.

— Чего вам? — просто спросила ведьма.

Все молчали, угнетенные ее тяжелым взглядом.

— Зачем попа привели? — снова спросила Хрупалка.

— Так хворает ведь ты, — сказал кто-то из толпы.

Ведьма посмотрела туда, откуда говорили. Там стояла девочка лет двенадцати. Это была дочь Савки Рогова — Машка.

— Принеси мне молочка вечером, — сказала ей ведьма, поворачиваясь, чтобы уйти. — Горит у меня в животе. Сильно горит... А попа увидите, чтоб кур моих не смешил, — сказала она, закрывая за собой дверь.

Постояв немного, все пошли по домам. В тот же вечер вся деревня наблюдала, как по улицам бродил пьяный Комаренок, бил себя в грудь и пел что-то заунывно-грустное.

Полина накладывала детям кашу, когда тот проходил мимо их дома.

— Свадьба, что ль? — спросил Калтон, дремавший у печи.

— Комаренок пьяный горланит, — сказала Полина.

— Ну, раз поп плачет, значит, видать, помрет сегодня Хрупалка.

Сказав это, он сладко зевнул и снова принялся дремать.

А в доме Савки Рогова все было вверх дном. Мать легла поперек порога, не пуская Машку к ведьме. Девчушка стояла, прижимая к себе банку молока, и недоуменно глядела на лежавшую у двери мать.

— Только через меня пойдешь к этой ведьме! — кричала мать, грозя пальцем дочери.

— Да что ты, в самом деле! — говорил Савка, обедавший тут же за столом. — Будет валяться-то!

— Дочь на погибель толкаешь!

— Ну вот, опять щи недосолила, — огорчался Савка, не слишком-то вслушиваясь в крики жены.

— Ци! Ци! — причитала жена Савки, будто это было заклинанием.

Машка смотрела то на отца, то на мать, не понимая, что ей делать. В этот момент под окном запел пребывающий в меланхолии и тоске по счастью Комаренок. Савка немного оживился.

— Комаренок! — крикнул он в открытое окно. — Комаренок!

Шатаясь, поп пошел на зов. Трижды он шел приступом на порожки дома Роговых и трижды терпел поражение, падая животом на землю. Не выдержав, Савка осторожно переступил через жену и пошел встречать гостя.

— Вот, не пускает! — сказал он, указывая на жену и на дочь, когда кое-как ввел попа в хату.

— А почему? — сонно спросил Комаренок, садясь за стол на место Савки.

— Известное дело: ведьма.

— Ведьма, — подтвердил Комаренок и тут же добавил: — Очень просила молочка она.

Сказав, Комаренок снова жалобно запел.

— Да ты погоди! — Савка взял незадачливого гостя за грудки и легонько потряхнул его. — Ты чего?

Но большего от лирически настроенного попа добиться было невозможно. В конце концов Савка вывел его на улицу и пустил восвояси.

— Вот что, — сказал он все еще стоявшей с банкой молока дочери. — Хочешь идти — иди. Не хочешь идти — не ходи. Мы тебе с матерью руки-ноги дали, а что с ними делать, уж сама решай.

— Чего с ребенка спрашиваешь? — причитала мать.

— А! — махнул рукой Савка и сел доедать щи.

— Жалко ее, — сказала Машка. — Одна она, никто к ней не идет.

— А не боишься? — спросил отец. — Даже поп — видишь, как испугался? Напился будь здоров...

— А чего ее бояться?

— Слышь, мать, что дочь-то твоя говорит?

Вечером, несмотря на запреты матери, Машка пошла к Хрупалке. Ее тянула к дому колдуньи сила, которая была гораздо старше и гораздо сильнее уз, связывавших дочь с родной матерью.

Ночью Хрупалка умерла. Нашел ее Савка Рогов, пришедший искать дочь, не вернувшуюся ночевать. Зайдя в дом, он почувствовал сильный запах гари и даже испугался, что дом горит. Но огня нигде не было. Пройдя в спальню, он увидел дочь: та сидела и держала умершую ведьму за руку.

НОВОСЕЛЬЕ

Каждому дню свое время. Каждому событию — свой день. Все связано, все едино и идет своим чередом. Роса превращается в камни, весло обращается в лодку, человек познает истинное счастье. Каждому счастью

свое время. Каждому человеку — свое счастье. Все связано, все едино и идет своим чередом.

Пришло время, и Калтон закончил строительство дома. Работа, казавшаяся ему вначале огромной, как тысяча тополей, стоящих друг на друге, теперь была простой и легкой, словно лист одуванчика в его ладони. Все со временем становится простым и легким. Калтон уже готов был сказать это вслух, но его отвлекли бегающие вокруг дети, и он тут же забыл казавшуюся ему важной мысль.

В последний день работы Калтон только и делал, что ходил вокруг дома, осматривая каждую щель и ища какие-то промахи или ошибки. Когда осталось вбить последний гвоздь для подвешивания подковы на счастье, Калтон позвал самого младшего в их семье, Витюшку.

Дав сыну молоток и гвоздь, Калтон сказал:

— Ну, вбивай.

Вся семья собралась и с волнением следила за последним эпизодом в постройке их нового дома.

— А куда вбивать? — спросил Витька, с трудом удерживая тяжелый молоток.

— А куда больше нравится, — просто сказал Калтон, присаживаясь на скамейку.

Тогда Витька вбил гвоздь в наиболее близкое к нему место — в порог. Калтон поморщился, сплюнул, но ничего не сказал.

— Ну вот! Теперь вынимай! — крикнул кто-то из детей Витьке.

— Не надо. Как вбил, так пусть и будет.

Калтон встал, прихрамывая, подошел к сыну и взял из его рук молоток.

— Да что ты, ведь смеяться будут, — попыталась возразить Полина.

Но Калтон остался непреклонен:

— Пусть смеются, дурачье.

Присев, он посмотрел в глаза Витьке.

— А ты запомни этот гвоздь. Пройдет время — снесут этот дом. Так ты храни гвоздь. Детям, внукам передай. Пусть всегда помнят, что запрудские они, калтоновские.

— Ну... заговорил, — нахмурила брови Полина. — Хоть бы дельное что сказал. Праздник ведь у нас сегодня — дом построен. А ты все причитаешь.

Калтон встал, улыбнулся и вдруг залихватски присвистнул:

— Праздник, мать! Будем праздновать! Готовь еду!

А праздник этот ждало полдеревни. Многие следили за стройкой Калтона с тех самых пор, когда сам он еще только мечтал о новом доме и размечал будущую хату, шагая целыми днями туда-сюда по двору. Многие помогали строить, многие просто сплетничали. Безучастных не было. И все ждали: когда же, когда?.. И вот дом построен.

Витька Комольй, побывавший у Калтоновых накануне и увидевший, что дом вот-вот закончат, даже перестал выпивать и пообещал Калтону,

что выпьет теперь только на его новоселье. Целых пять дней он крепился изо всех сил. Даже когда Райка, жена его, налила по сто грамм помянуть Агапову, Витька с силой толкнул стакан, специально, чтобы разлить. Иначе, боялся он, не утерпеть.

— Сдурел, что ли? — запричитала Райка, утирая со стола.

— Пообещал выпить на новоселье Калтоновых — значит, выпью на новоселье! — торжественно сказал Витька.

— Сдурел, — подвела итог Райка и пошла прятать бутылку.

Но Витька остался непоколебим. Он сдержал свое обещание и выпил только на новоселье. Правда, упился так, что упал с порожек, зацепившись за тот самый, вбитый младшим из Калтоновых гвоздь, и сломал руку.

На новоселье стали приглашать за неделю. Точнее, люди сами как бы случайно заходили в гости к Калтоновым, и хозяйева радушно приглашали их отметить окончание постройки дома. Поначалу Полина пыталась было считать, сколько же человек обещались прийти к ним, но через пару дней бросила: многие заходили по нескольку раз, и она сбилась со счета. К тому же Полина знала, что помимо приглашенных придут еще и те, кто просто захочет выпить-закусить, и на них тоже придется рассчитывать.

Готовясь к празднику, Калтон и Полина сбились с ног. Шутка ли, столько ртов напоить-накормить! На один только компот Калтон привез две телеги яблок вперемешку с грушами. А уж про мясо и говорить нечего. Зарезали быка, двух поросят и дюжину гусей. Хотели было даже кур порезать, но Полина не позволила. Опасаясь, что посуды может не хватить, назанимали целую гору тарелок, ложек, стаканов и всего такого прочего. Все это добро было растащено калтоновскими детьми по двору и валялось так вплоть до новоселья. Готовить еду помогали соседские бабы, варили-жарили с утра до вечера. В эти дни над домом Калтоновых висело облако дыма, щедро пахнущее чем-то вкусным. Дым этот был настолько пропитан присутствием еды, что птицы со всей деревни слетались окунуться в него. От этого двор, крыша и окна нового дома Калтоновых были богато испачканы птичьим пометом, что совсем не радовало ни Полину, ни самого Калтона. Тесто для пирогов замешивали прямо во дворе. Поначалу Полина хотела использовать корыто, но вовремя поняла, что этого будет мало. Тогда Калтон сбил четыре дощечки вроде большого коробка, постелил на дно солому, чтобы тесто не испачкалось в земле, и стали замешивать прямо так. Полина по локоть засунула руки и месила тесто, словно глину, а дети подкидывали муку и яйца. Несколько раз они, желая пошутить, бросали в замес червяков. Полина ругалась и спешила выудить брошенное детьми. Всех ли червяков она сумела выбросить — неизвестно. Известно лишь, что некоторые гости во время праздника порой жаловались на застревающую в зубах солому из пирогов.

Теперь семья Калтоновых спала в новом доме. Полина и дети долго не могли привыкнуть к полному отсутствию животных запахов и звуков

мышьиной возни, с которыми они свыклись, ночуя в сарае. Младшим даже пришлось измазать тыльную сторону подушки навозом, чтобы они наконец смогли привычно заснуть.

Перед тем как всей семье окончательно перейти в новый дом, первым, как и полагалось, впустили в хату кота. Тот несколько раз сбежал, будто не желая входить в новый дом. Калтон, Полина и дети с криками бегали по двору, гоняясь за бедным животным. В конце концов коту просто смотали задние лапы бечевкой, чтобы в случае чего его можно было легко поймать. Чувствуя безвыходность своего положения, кот все же проскакал в дом. Калтон, утерев пот, вошел следом и стал следить за метавшимся по комнатам животным, примечая, где тот прикладывается и где, значит, должны будут стоять кровати.

Накануне праздника Калтон вымыл руки и лицо, побрился серпом, надел чистые штаны и рубаху и прямо так лег спать, чтобы завтра с утра, как он объяснил Полине, не тратить время еще и на это. Всю ночь он ворочался, не умея заснуть в непонятном волнении. Ему вдруг начало казаться, что он забыл о чем-то при строительстве. То ли с фундаментом напутал, то ли не все щели на крыше заделал, то ли еще что. Измучившись вконец, он встал, нашел бутылку настойки шиповника, налил и выпил целый стакан. Сразу же успокоившись, Калон лег и громко захрапел, чудесно пуская слюни на новую рубаху. Проснувшись утром, он долго не мог понять, откуда на рубахе взялись странные разводы и пятна.

Новоселье удалось на славу. У Калтоновых было чуть ли не полдеревни. Столы стояли в доме, во дворе, на огороде, в саду и даже вдоль забора на улице. Все гости были пьяные и веселые, песни и разговоры не замолкали ни на секунду. Все кричали что-то, перекрикивая друг друга, поднимали тосты за хозяев и перебрасывались едой. Калтон и Полина ходили от стола к столу, присаживаясь ненадолго, принимая поздравления и выпивая с гостями.

За одним из столов уже хорошо подвыпивший Калатушкин рассказывал какую-то очередную сплетню:

— Поп, говорю, в одной деревне утонул на неделе. Пьяный пошел за купающимися девками подглядывать, залез в камыши да и утоп.

— Брехня! — крикнул чей-то голос.

— Какая брехня? — обиделся Калатушкин. — Факт!

— Хоть бы они все перетопли! — добавил все тот же голос.

Говорившие начали живо обсуждать подробности этого случая. Каждый по-своему описывал то, как тонул поп. Причем все делали это так убедительно, что, казалось, сами присутствовали при его гибели. Здесь же за столом сидел Витька Комольий, улыбающийся и захмелевший. Он, как и все, с интересом слушал историю про утонувшего попа, не понимая, что с месяц назад сам придумал ее, будучи в Михалевке. Выдумка Комолого пропутешествовала из одной деревни в другую, быстро обросла слухами, домыслами и фантазиями и теперь вернулась к породившему ее человеку, который был пьян настолько, что не признал свое творение.

За соседним столом бабы протяжно выли песни. Их мужики, сидевшие рядом, озверело пили водку и поочередно падали с лавок, не умея проявить себя в пении. Некоторые пытались было встревать в бабий хор, но сидевшие рядом мужчины силой заставляли их умолкнуть либо просто кидались в запевавшего яблоками из компота до тех пор, пока тот не умолкал. Обнявшись, бабы медленно качались из стороны в сторону в такт пению, а мужики качались вслед за ними и снова падали на землю.

За столом, что стоял прямо под яблоней, громко спорили Фёдор Беженцев и дядя Яхим. Спорили о том, из какого материала Бог сотворил человека. Все слушали их и даже выпивали не чокаясь, чтобы звоном стаканов не отвлекать споривших.

— Сказано, — бубнил полупьяный Яхим, — что сотворил Господь человека из куска глины.

— Да не может быть такого! — горячился Фёдор.

— Вот пень-то! Почему не может?

— Да потому!

— Нет, ты мне скажи!

— Да если б мы из глины были, мы б в жаркий день засохли бы на солнце, — словно ребенку растолковывал Фёдор Яхиму прописные, с его точки зрения, мысли.

Те, кто еще был не окончательно пьян, одобрительно загудели в пользу такого довода. Спавший за столом поп Комаренок лишь громко всхрапнул, подтверждая свое участие в споре.

— Нехристи! — крикнул дядя Яхим, не зная, какой еще довод привести малограмотным крестьянам в защиту своей идеи.

— А я вот слышал, — сказал Колька Морданов, — что человека Бог сделал из вишни. Потому-то кровь и вишневым сок одного цвета.

— Набрехали тебе! — уверенно махнул рукой Беженцев.

— Ну не из глины, не из вишни, так из чего тогда, по-твоему? — спросил обиженный дядя Яхим.

— Это вон, — Фёдор показал пальцем на спящего среди закусок Комаренка, — у попа спросить надо.

— Да он щас тебе не скажет даже, из чего этот вот стол сделан, — весело постукал по столу Ёся. — Вишь, как храпит? Нарезался батюшка.

Калтон попытался было разбудить Комаренка, но тот лишь промычал что-то неразборчивое, перекрестил его и снова захрапел.

За столом у забора сидели Федот и Федосья Захаровы. Федот был здесь единственным мужчиной и чувствовал себя из-за этого неуютно. Бабские, непонятные ему сплетни и переживания убаюкивали, и Федот все чаще зевал, глядя в сковороду с жареными грибами. Иногда после выпитой рюмки в пьяную голову его приходили всякие мысли о семье, о работе, о деревне и жизни вообще. Сидевшая рядом с ним Анылка всякий раз отвлекала его от этих мыслей, прося подать то хлеб, то капусту.

Федосья и другие бабы говорили о Хрупалке, вспоминали истории, связанные с ней, поминали. Как ни странно, но за свою долгую жизнь колдунья сделала много доброго в деревне. Сидевшую здесь же Саньку

Микиткину она, например, практически с того света вытащила. Было это так: старшая сестра Саньки, Клавка, полезла за граблями на чердак да и уронила случайно лопату прямо в люльку, которую, как на грех, поставила под лестницей мать. Лопата раскроила голову полугодовой Саньке почти пополам. Ужас что было! Лучше и не говорить. Но Хрупалка, бывшая при этом, быстро подбежала, скрутила голову куском своего платья и до самого заката посыпала рану нагретой на солнце землей. Она сказала Санькиной матери, чтобы та каждый день точно так же делала.

— Земля все излечит, на то она и мать, — добавила колдунья.

И действительно, земля сделала, казалось, невозможное: Санька выжила. Мало того что выжила, так еще и дурой не сделалась. Правда, шрам от переносицы до макушки остался с ней до самой смерти.

— Слыхали, Машка-то, дочь Савки Рогова, волосы остригла? — сказала Райка Комолая.

— А что? — не понял Федот.

— Ясно что — зеленеть начали.

Все бабы загудели, недоумевая, как это Федот не знает, что, как только человек начинает знаться с нечистой силой, кончики его волос покрываются зеленой плесенью. Поэтому молодые колдуны и колдуньи коротко остригают волосы или носят платки.

— Передала ей Хрупалака, — сказал кто-то.

— Да ну?

— Точно ей.

Федот бессмысленно грыз тыквенные семечки и слушал споры о Хрупалке, о Машке Роговой и прочих загадочных делах. Даже с его непоколебимым характером порой становилось удивительно от того, что мир не ограничивается одной лишь едой да работой и что в природе есть много чудесных тайн.

Никто так и не заметил, когда же день уступил место вечеру и когда вечер сменился ночью. Веселье и не думало заканчиваться. Женщины пели все громче, в азарте стуча кулаками по столу и стоящим на нем тарелкам. Мужики пили водку большими стаканами и валялись то тут, то там по двору, словно мертвые. Подремав с часик, они вставали и снова возвращались к столу. Дети бегали по разбросанным во дворе пьяным телам, как по кочкам в трясине. Откуда-то из глубины праздника доносился жиденький звук гармони, тонувший в бездонном море поющих и кричащих голосов.

Комольй зацепился за вбитый в порог гвоздь, упал и сломал себе руку. Правда, понял он это только к утру. Всю ночь Витька ходил, прижимая ноющую кисть к груди, и всех просил потрогать ее: мол, цела ли. Когда кто-то начинал проверять руку Комолого, Витька кричал и матерился, обзывал неумехой, а затем уходил искать кого-нибудь другого.

Дети метались меж столов, как кипятком ошпаренные. Они забрасывали взрослых найденной на столе закуской, кусали их под столами за ноги и жгли крапивой, дразнили пьяных, незаметно подливали самогон в квас и компот. В результате во дворе начался такой бардак, что Калтон,

самый трезвый из мужчин, отшлепал несколько попавших под руку ребят и велел идти играть за калитку.

Тем временем Ёся, Колька Морданов и Васька Шеин придумали себе забаву. Они прокрались в курятник, набрали яиц и стали бросать их, стараясь попасть в трубу на крыше калтоновского дома. Те яйца, что попадали, пролетая через трубу, сразу же падали на раскаленную сковороду и начинали жариться. Из трех десятков брошенных ими яиц получилась яичница размером с ладошку. Да и та наполовину была из скорлупы. Остальные яйца остались на крыше дома, в трубе или прямо на печке, рядом со сковородой. Калтон и Полина так отчаянно ругались, что Ёся, Колька и Васька тут же протрезвели и поспешили к столам — снова выпить. Через четверть часа, будучи снова в крепком подпитии, они решили загладить свою вину и пошли за подарком Калтону — бычком, которого Колька собирался продавать в будущем году. Калтон и Полина очищали печь от пригоревших яиц, когда мужчины затащили прямо в дом упирившегося бычка. Калтон стал снова громко кричать, отчего бычок испугался, вырвался и прыгнул прямо в окно. Поймали его только через два дня у Навозного пруда.

Наконец гости устали. Все сидели на улице, негромко говорили и смотрели на звезды. Мужчины ласково курили, окутывая висевшую над их головами луну теплым дымом, и не думали ни о чем трудном. Медленные от выпитого женщины вспоминали какие-то приятные воспомина-ния, изредка перешептываясь с сидящими рядом.

Калтон и Полина, обнявшись, тоже сидели вместе со всеми и смотрели на свой новый дом. Звезды светили так отчаянно, что, казалось, они вот-вот сорвутся с неба и упадут в трубу. Калтон все ждал, что хоть одна звездочка все-таки упадет и он успеет загадать единственное желание: чтобы, когда ему, Калтону, придет время помирать, была обязательно весна.

Вдруг все услышали детский визг где-то на улице. Ночь всколыхнулась, и по небу пробежала легкая дрожь беспокойства. Дети, так и не утомившиеся, играли где-то во тьме улицы. И вот теперь все они бежали, крича что-то непонятное. Мужчины и женщины повскакивали с мест.

— Там, у моста!.. — запыхавшись, тараторила Танюшка, младшая дочь Калтоновых.

— Да что там?! — кричали обступившие детей гости.

— Какая-то женщина сидит и поет!

— Ну и что? — не понял Калтон.

— Страшная! Вся белая-белая, как мука.

Остальные дети говорили то же самое, и другого от них добиться было нельзя. Все, кто мог идти, тут же направились к мосту. Во дворе остались лишь спавшие на земле пьяные.

Толпа гостей шла, гудя, как стадо коров, которых кусают слепни. Нельзя было разобрать ни слова, но возмущение, решительность и пьяная дурь явственно ощущались в сливавшихся голосах. Внезапно все резко остановились. Казалось, все сразу в один момент вдруг вспомнили о

чем-то и передумали идти вперед. У моста действительно была женщина. Она сидела на поваленной вербе и пела что-то непонятное. Ее платье, руки, босые ноги и лицо — все было каким-то неживым, белым, будто натертым известкой или мелом. Мужчины и женщины остановились, как в землю проросли. Всем вдруг стало страшно настолько, что некоторые даже принялись икать.

— Смотрите! — крикнул кто-то. — Да это ж Агапова!

У всех вдруг будто пелена с глаз упала. Перед ними действительно сидела утонувшая этим летом Нюрка Агапова.

— Ведьма! — кричали одни.

— Да это Хрупалка с того света вернулась! — возражали другие.

Третьи просто матерились и крестились одновременно.

— А ну иди отсюда! — набравшись смелости, сказал Калтон, выходя немного вперед.

Мертвая Агапова повернула голову в его сторону. Лицо ее теперь было гладким и ровным, совсем не таким, каким оно было, когда утопленницу вытащили из воды. У Калтона от ее взгляда во рту пересохло, а рубашка вмиг стала мокрой от пота. Вдруг Агапова запела:

Нет у меня колечка,
Ни золотого, никакого.
Подарил бы кто колечко —
То, что спрятали под домом,
Я б тогда была спокойна,
Я б не пела среди ночи.
Подарил бы кто колечко —
То, что спрятано под домом...

Калтон перекрестился, поднял горсть земли и бросил ее в Агапову:

— Пошла прочь отсюда! В могиле твое место!

Лицо Агаповой сделалось каким-то грустным, казалось, она вот-вот заплачет. Вдруг она резко встала, прыгнула вперед и плюнула прямо в лицо Калтону. Все закричали, кто-то побежал назад к дому. В суматохе так и не поняли, когда же именно исчезла Агапова. Постояв немного у реки, стали расходиться: кто-то пошел к себе домой, кто-то решил вернуться к Калтоновым.

Всю дорогу до дома Калтон жаловался, что ведьма ему прямо в глаз плюнула, а наутро ослеп на этот глаз.

Разные происходили еще случаи. И до, и после этого. Жизнь ведь, как известно, не тыква — руками не обхватишь. Да, собственно, не особо кто и старался. Жили как хотели, умирали как могли. Всего хватало — и хорошего, и плохого.

Истории, сколько их ни рассказывай, как вода через сито: льешь-льешь, а все ничего нет.

Владимир СВЕТЛОСАНОВ

«ВЫХОДИЛ ИЗ ГЕНУИ КОРАБЛЬ...»

* * *

Отпотело окно, отпотело,
Отлегло на душе, отлегло,
И забыла душа, что хотела,
Что хотела вздохнуть тяжело.

И у тела душа отпросилась,
Словно дочь у отца своего,
Отпросилась душа — и простилась,
И уже не вернется в него.

* * *

Как можно дольше имя растянуть
И думать над значеньем — Гёльдерлин —
Всех десяти созвучных этих литер,
Прославивших надолго Тюбинген.

Пока произнесешь такое имя,
Успеешь все на свете передумать,
Сойти с ума, влюбиться, написать
Одиннадцать всего каких-то строк
Без рифм (на что годятся рифмы эти?)
И умереть блаженно, безымянно,
Невнятно повторяя: Гёль-дер-лин.

* * *

Растянулся на рельсах ленивый и гибкий состав,
На изгибе пути я увидел его продолженье
И на чистом листке я тотчас записал предложение:
«Растянулся на рельсах ленивый и гибкий состав».

Промелькнули вдали силуэты заснеженных пихт,
Полустанки печальным и тусклым маячили светом,
И за первой строкой записал я стремительно следом:
«Промелькнули вдали силуэты заснеженных пихт».

Мой попутчик уснул, мне приятного сна пожелав,
Нижней полкой своей дорожа, как земным притяженьем,
В полумраке купе я один на один с вдохновеньем:
«Мой попутчик уснул, мне приятного сна пожелав».

Но тревожит меня бесконечной бессонницей стих,
Он — как поезд в пути, и узнать бы его продолженье,
Дописать и уснуть, по листку растянув предложение:
«Но тревожит меня бесконечной бессонницей стих».

Проводник разносил по вагону крутой кипяток,
Надрывалась все утро звенящая ложка в стакане.
— Молодой человек! Грех швыряться такими стихами, —
Улыбнулся попутчик и поднял упавший листок.

*Растянулся на рельсах ленивый и гибкий состав,
Промелькнули вдали силуэты заснеженных пихт.
Мой попутчик уснул, мне приятного сна пожелав,
Но тревожит меня бесконечной бессонницей стих.*

* * *

В. Н.

Где илестый спешит Иртыш
Обняться с Обью,
То с детской радостью глядишь,
То исподлобья.

Ласкаясь к бледным берегам
Холодно-серым,
Вода пленэром служит вам
И нам — примером.





Ничем она не дорожит
(О чем ты, Шуберт?),
Обидой дышит, иртышит,
Смертельно шутит.

Спроси меня — куда ж нам плыть?
И я отвечу:
Против течения, стало быть,
Воде навстречу.

Новая Телемахида

*Милый Телемак,
Все острова похожи друг на друга.*
Иосиф Бродский

Прошло семь лет. Семь раз отмерив срок,
Я был готов, подобно Телемаку,
Отрезать край рыбообильной ткани,
Как ножницами, легким кораблем
И оторваться от родной Итаки.

Но так и жил в двух стадиях от мели,
В двухкомнатной квартире с телефоном,
А бурю видел только лишь в стакане
Воды. В тумане моря голубом
Дельфин, с волной танцующий сиртаки.
Так и живу. И в тяжбе бесконечной
Лишь Гелиос да Эос постоянны.
Ползи, звезда, пятью концами тела.
Скачи, конек, до пастбищ чернотравных.
Неси, корабль, сына Одиссея.

Гнедич

После осложнения от гриппа
В Петербурге тихо умер Гнедич,
Как дикорастущее растение,
Умер без дворянской родословной,
Без детей, одетых кем-то наспех,
И без сводок о температуре,
Умер без друзей и без жандармов,
Без прощальных слов от государя



И без толп, стоящих на морозе,
Без конвоя конного у церкви,
Без судебных тяжб и разбирательств,
Умер сам себе без Бенкендорфа,
Без стихов ретивого корнета,
Без десертной ложечки морошки,
Умер вместе со своим Гомером.

* * *

Крымских ночей крепостные певички, цикады,
Ваших жалоб на жизнь я наслушался нынче сполна.
Крепкий чай заменяет с достоинством терпкость вина,
И в саду у окна темнота громоздит колоннады.

Свет зажечь я не в силах. Бессонница точит висок,
Молчаливый точильщик, гнездящийся в сумрачном свете
Моего одиночества. Молча смотрю в потолок,
Где грибница вселенной пуста, как рыбацкие сети.

Я б не думал о смерти, до боли сжимая виски,
Не заваривал чай в пожелтевшем стакане граненом,
А уснул бы в саду, где невидимым в сумраке кронам
Те незримые корни близки.

Я б не думал о смерти, дождавшись мгновенья, когда
Исчезает в висках неосознанной накипью жженье
И рождается смысл, щедро жалуя раз навсегда
И цикадам и мне долгожданное раскрепощенье.

* * *

Сегодня дождь идет
И пасмурно, однако,
И в сердце зреет плод
Верленопастернака.

Зовется он хандрой,
Сердечную растравой,
Нечаянно порой
Созревшей (боже правый!),



Сошедшей с облаков
Над Северной Двиною.
Затертый том стихов
Под дождь с утра раскрою.

Пусть плачет, пусть стучит
По мокрому карнизу,
Я ставлю две свечи —
За Поля и Бориса.

* * *

Отплываем к Оронту — пусть плаванье это опасно,
Густобровое время над нами как будто не властно.

В тяжбах рабства и воли присяжными быть не желая,
Полагаемся смело на волны времен Менелая.

Если станут хитрить, уводя наш корабль, дельфины,
Не успеем прибыть к Дионисиям в город Афины.

Проплывут вдалеке в легком облаке Аристофана
Осажденная Троя, риторика чаек, тумана,

Астрология влаги, Сапфо, островное искусство,
«Золотые горшки, что по берегу выросли густо»,

Отзвучит Еврипид. Место действия — темень в Аиде.
Как зегзица, навзрыд Ифигения плачет в Тавриде.

* * *

Выходил из Генуи корабль,
Ветер в это утро был восточный,
В порт пришли и женщины и дети,
Пахло разогретою смолою,
Рыбаки чинили молча сети
И смотрели на корабль с тоскою.
Мальчик изловил большого краба,
Ласточки кружили над домами,
А в соборе пели литургию.
Он для краба заготовил банку,
Счастью его не было предела,
Он мечтал увидеть Капо Бьянко,
Побродить по острову Горгоны.
Непоседы эти генуэзцы.

* * *

Какому-то Баренцу вздумалось море открыть,
Отмычкой мачты, мечтою о встречной волне.
Послушай: далеко-далеко мне выпало плыть
По этому морю во сне.

Я фьорды увидел, я видел, как рыба ведет
Потомство в лагуны, шепча плавниками над ним.
Послушай: глубоко-глубоко залег и течет
С норвежской сноровкой Гольфстрим.

То с криком промчится к Шпицбергену стая гагар,
То высунет морду тюлень, удивительный зверь.
Послушай: высоко-высоко есть птичий базар,
Чего только нет там, поверь.

Цветов романтических завязь, заветная песнь,
Арабские сказки, Синдбад, Гумилёв, Аладдин.
Армянское что-то в фамилии Баренца есть,
Наверное, был армянин.

* * *

Поищи моих слов за окном, когда ночь посветлеет,
И луна округлится, и снова прохладой повеет;

И поспрашивай, если проснулась и если не спится,
Не слыхала ли их, пролетая над городом, птица?

Может, дикие голуби? Может, летучие мыши?
Все равно ты должна, если хочешь, хоть что-то услышать.

Ты меня болтуном называла, увы, не напрасно.
Я, болтун по призванию, глаголю на благо согласных

И не ведаю, что я творю, и не помню различий, —
Стихотворная речь для меня выше всяких приличий.

Родовое поместье тоски за высокой оградой.
Суждены тебе эти стихи бессловесной наградой.





* * *

Я уеду за тридевять самых далеких земель.
 Перемена пространства, сули обновление духа.
 Провожая меня, эолийская плачет свирель,
 Золотая сережка Колхиды продета в эвксинское ухо.

Вы поймете меня, если верить, свободна душа.
 Переменными токами веры, любви и надежды
 Заряжаемся мы и уходим, куда-то спеша,
 Одинокие братья и сестры, тяжесть и нежность.

К мысу Добрай Надежды за выводком тех кораблей,
 Что у всех на слуху, по стопам стихотворного слуха,
 Я уеду за тридевять самых бескрайних земель.
 Перемена пространства сулит обновление духа.

* * *

Брось морскую жизнь, и Парос, и смоковницы его.
 Архилох

Знаю, что скажешь ты мне, Архилох, воин, поющий Деметру:
 «Брось морскую тревогу, смоковницы Пароса брось».
 Старая песня! Корабль неплох, парус направлен по ветру,
 А с Нептуном договоримся авось.

Архитектура волны, Архилох, как завиток капители.
 Хокуся б сюда! Ах как жаль, что ты с ним не знаком.
 У меня попугай был, он сдох (верь, не вынес морской канители),
 Так вот он, ты прости, он тебя величал дураком.

С мачты, бывало: «Дурак Архилох» — затараторит проклятый.
 Кто его научил, я не знаю, — матросы небось.
 Как же, есть тут один, на корме, с восхода поет до заката:
 «Брось морскую тревогу, смоковницы Пароса брось».

Солотча (сорок слов)

Помню сосны Солотчи, стеклянный скелетик польни,
 Польнью одиночества в небе, как в белой пустыне,
 Кругосветную посолонь, тихие лунные канты,
 Око ближней Оки, руки матери божьей Оранты,
 Хор далекой Мещёры, и галочий крик, и сорочий,
 И рязанскую Хлою, колючую хвою Солотчи.

* * *

Начинают охоту летучие легкие мыши,
Бумерангами в ночь вылетают они из-под крыши
И вонзаются в небо с отчаяньем полуптенцов,
Оттого что Бог не дал им звонких гортаней певцов.

Геометрию эту доверить какому Эвклиду?
Мотылек ли оценит беззвучную эту корриду?
Черепица ли дрогнет, звезда ли засветится свыше, —
Начинают охоту летучие легкие мыши.

* * *

Сегодня солнышко пастельно,
И для меня на облаках
Давно кроватька та постелена
С подушечкою в головах —
Чтоб мне там выспаться смертельно.

* * *

Cogito ergo sum

Я ровесник холодной войны,
Помню в космосе Белку и Стрелку,
Первый спутник великой страны
И с Пекином торговую сделку.

Помню доброго дедушку Хрю, —
Я с младенчества шибко картавил, —
К счастью, этот дефект, говорю,
Ни один логопед не исправил.

Так, к великой причислен семье,
Я родился в эпоху Хрущёва;
Занимаю здесь место свое
С пятьдесят, дай бог память, седьмого.

Ясно помню гагаринский старт,
Кулунду, целину, посевную
И, как некогда молвил Декарт,
Худо-бедно еще существую.

Надежда ГЕРМАН

ДОМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ РАДУГИ

Рассказы

Что это за дом? Ну, конечно же, дом моего детства.

Где он? А нигде... Нет его. И улицы той нет. И колхозного сада, что рядом, через дорогу. Там, где все это было когда-то, выросли пятиэтажки жилого микрорайона. И лишь высокая водонапорная башня из красного кирпича, построенная когда-то прямо под окнами дома, напоминает о том, что именно здесь оно было, мое детство.

Впрочем, мое ли? Я ли та славная смешная девочка с большим, вечно сползающим набок бантом? Что-то я уже начинаю в этом сомневаться... Вот и имя у нее другое. И не только имя.

Когда-то давно она придумывала меня: кем я стану, чего добьюсь в этой жизни. Теперь мне мучительно стыдно, что я не сумела оправдать и половины ее надежд. Потому, я думаю, не очень-то она была бы рада встретиться со мной сейчас — со старой, усталой, разочарованной, ничего в этой жизни не добившейся.

Получается, лучше нам с ней не встречаться никогда? Но как же мне хочется вернуться туда хоть на миг, хоть совсем на чуть-чуть...

Но... можно я встречу с ней? Я стану приходить и заглядывать в окно дома детства. Я грустным бесформенным привидением залезу с ногами на завалинку, тихо-тихо, прислонюсь лицом к чисто вымытому стеклу и замру, неподвижно, почти не дыша.

А еще можно являться во сне. В образе старой доброй феи. Фея будет похожа немного на бабушку, немного на маму. Я непременно принесу с собой какой-нибудь волшебный подарок. А она, та маленькая девочка с большим бантом, возьмет мой подарок и обрадуется. Я давно уже не умею так радоваться, а она возьмет подарок и улыбнется мне. И это будет... как весенний луч, просочившийся сквозь подслеповатое окно с двойными рамами в душную, темную комнату, как солнечный зайчик.

Маленький солнечный зайчик на ладошке памяти.

Что общего между вулканом и паровозом

Тень от сарая медленно ползла по двору. Когда край ее дотянулся до угла дома, скрипнула дверь и на просторное некрашеное крыльцо вышла мама, в тапочках на босу ногу, с невытертой тарелкой в руках и с бигуди на голове.

— Александра! — позвала она громко. — Шагай обедать!

Внизу под крыльцом что-то засопело и завозилось. Потом послышался жалобный щенячий визг и недовольное ворчание. Наконец из собачьей конуры, располагавшейся как раз под крыльцом, высунулась голова.

— Мам, — сказала она, — давай мы назовем его Паровозиком?

— Господи помилуй! — Мама чуть не выронила тарелку, и лицо у нее сделалось такое, что ворона, собравшаяся было слететь с забора в огород за какой-то своей надобностью, передумала это делать, испуганно замахала крыльями, что-то там себе такое каркнула под нос и поспешила убраться восвояси. А мама подняла глаза к небу и спросила не то у вороны, не то у самого Господа Бога:

— И это моя дочь?

Спросить-то она спросила, но отвечать на вопрос было совершенно некому: ворона уже улетела в колхозный сад, а Бога, как уверяет старший брат Олег, наука отменила еще в семнадцатом году. Так что в небе сейчас было совершенно пусто, если не считать похожее на кота облако, плывущее высоко-высоко, так высоко, что маму оно точно не могло бы услышать.

Тогда мама решила спросить у самой дочери:

— И на кого ты, радость моя, похожа?

Смешно, честное слово! А то мама сама не знает: на папу похожа, а то на кого еще! С этим давным-давно все определились, и теперь, когда в гости приходят разные дяди и тети и спрашивают, на кого похожа ваша девочка, им всем так сразу и отвечают: «На папу, а то на кого же еще!»

— Да разве это девочка? Разве девочки такими бывают? — опять неизвестно у кого спросила мама. И сама себе ответила: — Нет, это не девочка, это — я не знаю, что это такое, просто огородное пугало какое-то! Полюбуйтесь на нее...

Но тут, видимо, мама и сама поняла, что зря она так сильно распеживалась, потому что даже если и есть тут на что полюбоваться, то все равно ведь некому: нет никого.

— Ну что мне с тобой делать! — совсем уж безнадежно вздохнула мама. — Ладно, иди умойся в бочке. И сразу — марш за стол, суп стынет...

— Мамочка, ну, пожалуйста... можно мы назовем его Паровозиком?

— Кого?

— Щеночка!

- Ты же, кажется, собиралась назвать его этим... как его... Вулканом?
- Ну, мам...
- Кто же называет собаку — Паровозом?
- А как называют?
- Как-нибудь попроще: Тузиком, Бобиком. Шариком, наконец.
- А я хочу Паровозиком. Можно, а?
- Бедное животное, — вздыхает мама. — Хорошо, называй как хочешь — Самолетиком, Пароходиком, Трамвайчиком...
- Нет, мама, только Паровозиком. Это потому что он такой... спит, как паровоз.
- Понятно.
- Mam, я буду хорошо-хорошо себя вести!
- С тобой мне тоже все понятно.
- Mam, можно?
- Да ну тебя! Делай что хочешь, хоть на голове ходи!
- У мамы больше нет никаких сил на все это смотреть, тем более спорить, и она уходит в дом, прикрыв за собою дверь.

Интересные дела

Такие вот интересные получаются дела! Оказывается, на папу ребенок не очень-то и похож. Оказывается, он походит черт знает на что, на пугало, которое дедушка уважительно зовет Пафнутием Сидоровичем, которое стоит посреди огорода в капусте, растопырив руки, у которого всего одна нога, а вместо головы — шляпа!

Обидно. Обидно, что ни говори, слышать такое от родной матери... да и было бы за что! Ну ладно бы вчера: вчера все мальчишки с соседней улицы прыгали с забора. Вниз. По очереди. А забор был большой и весь с гвоздями. А когда так много гвоздей в одном месте, то стоит ли потом чему-то удивляться... Одним словом, не было ничего удивительного в том, что на новом красном платье, с оборками, в белый горошек, которое бабушка сшила позавчера для любимой внученьки, что на этом платье уже вчера к вечеру появилось сколько-то небольших дырочек. Еще, правда, получилась одна большая дыра, почти во весь подол. Но в жизни бывают неприятности и похуже, очень даже бывают. Хотя, конечно, жалко, хорошее было платье...

А вот в другой раз, давно, дней десять тому назад, когда теленок увяз в гудроне... гудрон — это такая черная липкая смола. Так вот, была целая лужа этого самого гудрона. Большая. Прямо за деревней, в конце улицы Фрунзе. Там еще с самого начала весны что-то такое строят — не то лесопилку, не то аэродром, чтобы самолету было куда садиться. Самолет — он тоже большой такой, с четырьмя крыльями по бокам. Он в последнее время часто-часто, чуть не каждый месяц прилетает и кружит над

деревней. А один раз прямо даже взял и сел далеко за околицей, на лугу, возле кладбища, где как раз цвела пикулька. А пикулька — у нее такие длинные жесткие листья... Мальчишки эти листья срывают и пищат.

Цветет она очень красиво — крупными голубыми цветами. Все поле сразу становится похожим на небо, потому что цветов этих бывает очень много. Так много, что никому они уже не интересны, их даже в букеты не собирают, а просто так пинают ногой и проходят мимо. И это ужасно грустно и несправедливо, тем более что дедушка говорит, будто бы это довольно редкие и очень ценные растения, называются они почти как конфеты — ирис, только с ударением на первой букве «и».

Но речь не об этом. Когда самолет один раз взял да и сел там, на лугу, все просто как сумасшедшие побежали на него посмотреть. Только зря старались: пока добежали, он спокойно успел подняться и улететь. А вот если бы уже построили аэродром здесь, в конце улицы Фрунзе, тогда бы было совсем по-другому. Тогда бы наверняка все успели увидеть самолет вблизи — как он сел, а потом улетел. Даже самые ленивые бы успели. Даже хромо́й дедушка Кузьма, колхозный сторож, успел бы, потому что его сторожка совсем рядом, прямо в двух шагах от того места, где натекла лужа с гудроном и где как можно быстрее нужно построить аэродром для самолета.

А теленка зовут Зорька, потому что он не мальчик, а девочка. Когда Зорька вырастет, то станет коровой. Но пока она еще совсем маленькая и называется просто — теленок.

Зорька такая красивая, серовато-розового цвета. А родила ее совершенно черная корова Майка месяц назад. Майку купили где-то в конце зимы. Папа сам за ней ходил на другой конец деревни. Он привел корову во двор и сказал, что теперь дети будут пить молоко сколько захотят.

Так вот, когда теленок Зорька увяз в гудроне, его долго не могли вытащить. До самого вечера. Он жалобно мычал, будто плакал. А его тащили веревками и подкладывали снизу доски, чтобы он не тонул обратно. А когда наконец вытащили, он, беденький, даже не мог стоять на ногах, так весь ослабел. Все жалели теленка, гладили по головке, по спинке, приносили водички и разной вкусной травки. Но он ничего не ел, только весь дрожал и дышал тяжело, будто стонал.

А потом наконец ему немного полегчало. Четверо мужчин поставили теленка на ноги и тихонечко-тихонечко повели домой.

Совершенно естественно, что в тот день, когда теленок увяз в гудроне, ребенок перепачкался весь с ног до головы. Просто страшно было на него смотреть. Так сказала бабушка.

И вот ребенка сначала почти целую неделю пытались отмывать, а потом уже плюнули на это дело и оставили как есть. Потому что дедушка сказал:

— Ни одна грязь больше пяти лет на ребенке все равно не держится!

Чудо в тазике

Прошло примерно полчаса. За это время в окрестностях дома мало что изменилось: так же кособоко и неуверенно стоял на земле старенький сарай и тень от него медленно ползла по двору; так же посреди огорода, приветливо раскинув в разные стороны свои двухметровые руки, на которые время от времени садились отдохнуть пролетающие мимо птички, стояло пугало, блаженно греясь на солнышке и думая о чем-то приятном.

В нескольких шагах от огородного пугала, у колодца, стояла массивная приземистая бочка с водой. И в этой бочке, свесившись частично внутрь и задравши вверх оставшуюся половину, брызгаясь и дрыгая ногами от избытка жизнелюбия, плескался совсем уже ни на что не похожий ребенок.

А потом на крыльцо вышла бабушка и громко спросила у кого-то, не то у Пафнутия Сидоровича, не то у вернувшейся вороны, не то у самой себя:

— И где этот несносный ребенок?

Разумеется, никто ей ничего не ответил. И потому бабушка спросила опять, на этот раз обращаясь конкретно к бочке:

— Шунька, ты где там застряла? Рыбу, что ли, ловишь или утонуть собираешься?

Вечно эта бабушка придумывает невесть что! Есть тут время заниматься разными глупостями, если мама строго-настрого велела быстренько умыться и «сразу марш за стол, суп стынет!». Собственно, Шунька так бы и сделала, не возникни вдруг дело неотложной срочности!

— Да я тут это... — сурово бурчит она, — общественно полезным делом занимаюсь.

— Ну да?! — не верит бабушка. — Это как?

Ребенку досадно, конечно, что бабушка такая непонятливая, вечно ей все надо растолковывать, как маленькой! Но куда деваться, другой-то бабушки у них все равно ведь нету!

— Я чищу бочку от тины! — терпеливо объясняет внучка непонятливой бабушке. — Вот смотри: беру сандаля, опускаю его в воду поглубже, а потом тихонько, осторожно вытаскиваю наружу, чтобы тина не соскользнула.

Но бабушка решительно ничего не хочет понимать, и в этом смысле мама бывает на сто процентов абсолютно права, потому что ей, бабушке, что хочешь делай, хоть кол на голове чеси (или теши?). Словом, что ни делаешь, а она знай свое:

— Иисусе Христе и все святые великомученики! Да это ж новые сандали! Ну, мать еще не видела! Она тебе такое общественно полезное дело покажет, неделю не сядешь! Марш за стол, пока я добрая, а то и от меня заработаешь... медаль с почетной грамотой... за заслуги перед народом!

Ребенок уныло плетется в дом. И кто, интересно, придумал каждый день обедать?

На крыльце — большой жестяной таз с водой. Он стоит на солнышке, греется. Бабушка, видимо, собралась что-то постирать. Обыкновенное дело, одним словом.

А вот над тазиком... Ух ты!

— Баба, баба, смотри — радуга!

— Правда — радуга, — удивляется бабушка.

— Давай мы немножечко постоим посмотрим?

— Давай посмотрим. Не каждый же день видишь такое чудо в тазике для белья.

— Как красиво, правда?

— Правда.

— Так бы всю жизнь стоять смотреть и никуда бы не уходить! Правда, баба?

Бабушка качает головой, взгляд у нее просветленно-счастливый. Почти как у внучки.

Но вдруг она спохватывается, морщит брови:

— А ну, хватит мне зубы заговаривать! Обед, между прочим, никто не отменял. Марш за стол!

* * *

Все давно уже поели. Ребенок сидит за столом один-одинешенек. Сидит и искоса поглядывает на дверь.

Бабушка говорит, что аппетит всегда приходит во время еды. Но что-то его все нет и нет, этого самого аппетита.

Саня в полной тоске возит ложкой по тарелке.

— Баб, а баб! — говорит она. — А вот интересно, как ты думаешь: ложка — это от слова «лошадь»?

Ей нравится задумываться над словами, искать в них глубинный смысл.

— А вот интересно, «ремень» от какого слова? — в свою очередь спрашивает бабушка. И по ее интонации Санька понимает, что на этот риторический вопрос можно не отвечать. — Ты есть сегодня собираешься? Суп совсем заморозила. В нем уже, погляди-ка, шуга плавает!

С шугой все ясно. Шуга — это такие маленькие-маленькие льдинки, которые образуются на воде, когда начинаются холода. Очевидно, в супном царстве-государстве теперь глубокая осень. И вот самый-самый последний пароход идет сквозь туман и ветер, натывается на льдины и даже на айсберги, того и гляди погибнет и перевернется... Чтобы окончательно не потеряться в недрах разгулявшейся стихии, он время от времени подает сигналы гудком: «Ту-у... Дзинь-дзинь... Шлеп-шлеп-шлеп... Ту-ту-у-у...»

Бабушка приносит из комнаты дедушкин ремень, кладет его на видное место.

— Вот, — говорит, — ему тоже без тебя скучно!

Ремнем ребенка пока что ни разу не били. Но лучше, наверное, на всякий случай закрыть навигацию!

И мучения продолжаются: суп с шугой, потом котлета, жирная и толстая, еще и с жареной капустой...

И вот наконец-то компот, ура! Ребенок от радости подпрыгивает, хлопает в ладоши. Стакан летит на пол. Дзинь! Шлеп! Ай!

Обед закончен.

Шунька и Александра

Конечно, хорошо быть умным. Это любой дурак знает. Потому что умному всегда все сразу бывает понятно.

Например, все умные давным-давно догадались и им не нужно объяснять, что Шунька и Александра — это не две разные, а наоборот — одна и та же девочка, даже не особенно большая, так, лет шести.

Александра — имя красивое, но очень уж оно серьезное для такой маленькой девочки. Так думает бабушка. И обычно старается называть внучку попроще и поласковей — например, Сашенька.

Утром, когда и самовар и пироги уже на столе и все это стоит и остывает, надо срочно поднимать детей на завтрак, бабушка идет будить свое ненаглядное сокровище:

— Сашенька... Лапушка моя, вставай с постели, пироги поспели!

Тишина в ответ.

— Сашуня!

Опять тишина.

— Сашунька!

По-прежнему — ни звука.

— Шунька, да встанешь ты, наконец, несносный ребенок?!

Итак, для бабушки она — Шунька. Или Сашенька. В зависимости от ситуации...

А еще — Санька. Саня. Или даже Саша.

* * *

Имя *Александра* целиком и без остановки умеет, наверное, выговорить одна только мама, да и то ее надо сначала хорошенько рассердить.

Рассердить маму — дело несложное. Тут, в общем-то, можно особенно и не стараться. Санька и не старается, все выходит как-то само собой. Даже обидно бывает: вроде ничего такого еще не делаешь, а мама уже вся сердитая.

Понятное дело — Санька не подарок. И хоть ты к ней бантик привяжи, хоть даже два бантика, все равно — не подарок. Но тогда стоит ли все время мучиться и привязывать ребенку на голову все эти пропеллеры из шелка и крепдешина? Вот если бы с их помощью можно было бы летать,

тогда другое дело! А то они, эти пропеллеры, только и могут, что сами слетать каждые пять минут и теряться неизвестно где. По Санькиному мнению — и пропади бы они бесследно! Но мама так не считает. Мама считает, что девочка должна быть опрятной и красивой, потому готова привязывать ей на голову свои любимые бантики хоть по двадцать пять раз в день.

* * *

— Александра, ты куда?
 — Погулять...
 — Такой растрепой? Неси-ка сюда расческу, я тебя быстренько прилохмачу!

— Мам, потом...
 — Когда — потом?
 — В другой раз...
 — Никакого другого раза! Посмотри на себя: ходишь как беспризорник! Ты же девочка, а девочке нельзя быть неряхой, это некрасиво!

Ну все, теперь до самого вечера испорчено настроение! Угораздило же Саньку родиться девчонкой! Вот только и слышишь с утра до вечера: это нехорошо, то — неприлично, девочки так не должны делать, девочки должны вот так... Неряхой, видишь ли, быть некрасиво. А ряхой?

— Александра! Ты оглохла? Иди, говорю, сюда.
 — Иду...

* * *

Конечно, Александра — имя хорошее. Но когда тебя вдруг кто-то зовет таким вот хорошим именем, то почему-то это ничего хорошего не предвещает. Радует лишь то, что зовут ребенка так длинно и сурово не очень часто. Папа, например, обычно зовет гораздо короче — Алька. Это потому что папа очень хотел сына. Чтобы назвать его Алькой, Александром, в память о своем друге детства, погибшем на войне.

Когда вместо сына родилась дочь, папа, разумеется, сильно огорчаться не стал: дочь так дочь! Тоже, между прочим, хорошо, просто замечательно: Александра! Однако звать свое ненаглядное чадо он все равно предпочитает как мальчишку — Алька. И вообще, папа думает, что драгоценная его доченька — это такой сорванец, такой сорванец... Даже Олежка, которому скоро исполнится двенадцать лет и который, если честно, тоже подарочек еще тот, даже он ни в какие подметки этому сорванцу Альке не годится! Папа прямо так и сказал. А Олежка, как назло, все слышал. И, само собой, сильно обиделся. Ничего себе, хорошенький пердимонюкль: мало того что в школе ему чуть не каждый день ставят в пример кого попало, так теперь уже и дома какая-то сопливая девчонка начинает задвигать его на задний план! Ну нет, с этим надо как-то начинать бороться, и как можно скорее! Хорошо бы — прямо сейчас!

Совет друга

Олег собрался и пошел к своему лучшему другу Вовке Линеву. Он всегда ходит к нему, если хочет посоветоваться насчет жизни или просто поделиться тем, что наболело на душе. А уж наболело там столько всего...

Конечно, жаловаться на жизнь, а уж тем более на младшую сестру — дело последнее. Кто-нибудь другой мог бы и посмеяться. Но Вовка — пацан что надо.

Вовка такой молодец, что сразу все понял и даже помог советом. Он сначала сказал так:

— Ясное дело — бабы, все зло от них! Это потому что распустились совсем. — Потом помолчал солидно и добавил: — Батя мой все правильно говорит — ихнее, бабское дело — жрать варить, мыть, стирать и молчать в тряпочку. А то взяли, понимаешь, моду... что хотят, то и ворят!

Олег с Вовкой полностью согласился: действительно — взяли моду!

— Я бы тебе посоветовал, — говорит Вовка, — самому заняться воспитанием младшей сестры. Самое верное дело. Я, например, свою Верку всегда сам воспитываю. Так она, ты же видел, по одной плашке идет — на другую и не смотрит.

Олег, конечно же, опять с Вовкой полностью согласился: не смотрит — и правильно делает. И у него Санька не будет смотреть! Уж он возьмется, можете не сомневаться, со всей ответственностью.

— Ты только гляди не затягивай с этим делом. Чтобы не упустить время.

— Да уж ясно, не упущу, чего тянуть.

— Тут главное, — продолжает советовать Вовка, — показать ей две вещи: кузькину мать и где раки зимуют. Чтобы знала. И все. Этого кругозора им, бабам, за глаза!

— Понятно — за глаза!

— Правильно. А если что не так, ты сразу ей в ухо — на! Они, бабы, лучше всего понимают, когда в ухо.

— Ага!

— Вот и действуй. Главное, помни: мысленно я с тобой!

— Спасибо, ты настоящий товарищ.

* * *

Разговор во всех смыслах получился хороший, мужской. Но потом Вовку вдруг потянуло на воспоминания: вспомнил про какой-то там институт благородных девиц. Это, мол, еще при царе-батюшке было, давным-давно. Теперь-то этого почти никто уже и не помнит. Никто, кроме Вовки.

— Вот там обучение велось исключительно правильно! — вспоминает он и ностальгически вздыхает. — Там благородным девицам показывали именно эти две правильные вещи: кузькину мать и где раки зимуют.

А больше, говорит, им вообще ничего не показывали, потому что других предметов у них в учебной программе не было. Потому что бабам это совершенно ни к чему. Потому что для баб главное — приучиться к правильному порядку.

— Да уж, вот где был порядочек, я вам доложу! — ностальгирует Вова. — Домострой назывался. Исключительно правильная и полезная была вещь!

И опять вздыхает тяжело-тяжко. Очень печально Вовке, что нынешние порядки не в пример хуже. Вот и сестра его Верка, если честно, не очень-то желает ходить по одной плашке, все чаще взбрыкивает, да еще и матери жалуется.

* * *

У Вовки, несмотря на огромную массу неоспоримых достоинств, был-таки один серьезный недостаток: он много читал всяких умных книжек и любил на этой теме повыпендриваться к месту и не к месту. Он, например, мог вот так вот вдруг, ни с того ни с сего начать доказывать, что, мол, Смольный (это главный штаб революционных большевиков в семнадцатом году) — не что иное, как институт благородных девиц!

Грех смеяться над убогим, но Олег все-таки не выдержал и фыркнул.

— Думаешь, вру? — обиделся Вовка.

— Да нет, это я так... Ничего я не думаю.

Олег действительно ничего не думал: была нужда голову ломать.

А про Вовчика он тоже давно все понял: горбатого могила исправит. И вообще, нужно уметь прощать хорошему человеку мелкие слабости.

* * *

На прощание Вовка похлопал друга по плечу и благословил:

— Желаю тебе всяческих успехов в благородном деле перевоспитания подрастающего поколения! Я глубоко верю в твои не раскрытые пока педагогические способности! Действуй и помни: мысленно я с тобой! Ты, главное, если что не так — сразу в ухо. Чтобы, значит, уже наверняка все точки над «і» расставить! Мой батя всегда так делает. Бабы — они ведь, сам знаешь, доброго языка не понимают. С ними по-другому бесполезно! Потому что курица не птица, баба не человек! Это народная мудрость, промежду прочим.

Олег снова полностью согласился с Вовкой.

— Ясное дело — не птица! Вот сейчас приду домой, скажу: «Ну все, сестренка, радуйся, будет тебе сейчас правильное воспитание! Как в Смольном институте. Чтобы знала, где кузькина мать зимует...» И в ухо — на!

— Молоток! — одобрил Вовка.

Про кузькину мать и Санькину бабушку

Домой Олег вернулся в хорошем настроении. В таком хорошем, что захотелось непременно этим замечательным настроением с кем-нибудь поделиться. Например, с младшей сестренкой.

— Ну, — говорит, — Акулявна...

Олег, когда он в хорошем настроении, всегда зовет Саньку Акулявна. А та, дура, обижается. «Не обзывайся!» — вопит. А кто обзывается-то, кто обзывается?..

Вот его, Олега, как только не обзывают по жизни... То, что в школе его все зовут Марсиком, это еще вполне можно терпеть, потому что у него фамилия такая — Марсель. Это нормально — всех пацанов зовут по фамилии: Вовку Линева — Линя, Серёгу Бенедиктова — Бенья, Юрку Комарова — Комар, а Валерку Пискамского и вовсе — Пися Камушкин. Ничего, никто не обижается.

Другое дело — пацаны с Первомайской улицы. Улица Фрунзе воюет с Первомайской с доисторических времен. Никто из ныне живущих на Земле не знает даже, когда эта вражда началась. И как только пацаны с Первомайской улицы не обзываются на фрунзенских пацанов... Олега, например, они дразнят так: «Эй ты, Кощей в обмотках!» Кощей — это не в том смысле, что бессмертный, просто намек на то, какой Олег упитанный.

Олег сильно-то и не обижается: уж лучше быть последним кощеем, чем таким толстым, как ихний Кешка. На него просто смотреть страшно: кажется, вот-вот лопнет с жира. Его так и дразнят — «торба с салом». А еще первомайцы, как только поняли, что Олегу глубоко начихать на Кощея, решили придумать другое обзывательство: «Два мосла, чекушка крови, ты иди под хвост корове!» Несмешно, зато в рифму.

Словом, вторая дразнилка у них получилась еще глупее первой. А Санька, когда услышала, как на Олежку чужие незнакомые пацаны обзываются, даже растерялась. Никак не могла понять, что общего между маслом и ее братом: глядя на него, вообще трудно представить себе что-нибудь жирное.

Олег, понятно, ей, балде, объяснил тогда, что мослы — это вовсе даже не от слова «масло». Мослы — это такие большие кости, практически без мяса. Санька согласилась, что да, это на ее братика больше похоже. Но удивилась только, почему так мало — всего две кости. Чего-чего, а этого-то добра у Олега ого сколько: так и торчат в разные стороны, так и торчат...

* * *

Как бы там ни было, но Олег и на этот раз сильно обращать внимания на первомайских пацанов не стал: грех обижаться на убогих. Плюнул, махнул рукой и сказал:

— Ладно, живите, пока я добрый!

Вообще-то, в этой жизни чего-чего только не приходится про себя самого выслушивать. Нельзя же все принимать близко к сердцу и расстраиваться. Лучше уж плюнуть, махнуть рукой и сделать вид, что тебе это все до лампочки. А Санька, дурочка, ничего не понимает, вот и заводится с пол-оборота. Даже на Акулявну обижается, как будто бы сама себя в далеком и счастливом детстве так не называла. Спросишь:

— Как тебя зовут?

Отвечает:

— Шанакулявна, — Александра Николаевна то есть.

В общем, можно считать, что Акулявна — это отчество. А кто ж обижается, когда его называют по отчеству? Папа, например, своего начальника всегда называет по отчеству: Касьяныч. И тот ничего, доволен. Или опять же бабушка: разве в деревне кто-нибудь называет ее полностью — Серафима Константиновна? Нет, конечно. Потому что, пока все это полностью выговоришь, как раз ночь наступит. Даже на посидеть на лавочке и поговорить времени не останется. Вот все и зовут ее для удобства — Константиновна, Констинна, а кто и просто — Стинна. Бабушка ни на кого за это не обижается. А Санька, видишь ли, такая цаца, что ей уже и обидно!

* * *

Итак, Олег пришел домой от друга Вовки в приподнятом настроении. И вот он говорит своей младшей сестренке Саньке:

— Слышь, Акулявна, хочешь, я покажу тебе, где раки зимуют? И кузькину мать тоже могу показать, если очень попросишь.

Но Санька — она ведь дура дурой! Не хочешь — так и скажи: «Не хочу!» А то разинула рот шире ворот и орет как зарезанная:

— Я бабушке расскажу, как ты по кузькиной матери ругаешься! Она тебе еще не то покажет!

А что, собственно, бабушка может показать такого интересного, чего Олег ни разу не видел?

А противная девчонка вконец обнаглела, сидит на крылечке, на перилах, ногами болтает и рожицы корчит своему старшему брату. Может, она в ухо хочет?

Олег так и спросил:

— Санька, ты в ухо хочешь?

— Ах, ты так! Ты еще и драться! — верещит Санька, как будто кто-то и в самом деле собирается ее убивать. — Ну все, теперь ты точно получишь!

Санька показала Олегу язык и убежала в дом. Бабушке жаловаться, ясное дело, куда ж еще.

Санька убежала, а Олег остался. Сидит на крыльце, думает. «Сейчас, — думает, — бабушка прилетит... как аэроплан с моторчиком: жу-жу-жу, тыр-тыр-тыр! Или не прилетит? Вдруг у нее сегодня нелетная

погода...» Хотя у бабушки, когда ее Шунечку-Сашунечку обижают, нелетной погоды не бывает.

Но ведь, если разобраться, что он, Олег, такого сделал? Решил заняться воспитанием младшей сестренки. И нет в этом ничего плохого, скорей наоборот. Потому что от учения никакого вреда, кроме пользы, не бывает, и это понятно хоть кому, даже самой бабушке: ведь ее в свое время тоже учили. Института благородных девиц она, конечно же, не кончала. Но в церковноприходской школе бабушку учили целых восемь лет, так что и читать и писать она умеет. И именно это обстоятельство дает ей возможность каждый вечер на ночь перед сном читать толстую и жутко интересную книгу, которая называется «Сага о Форсайтах». Читает, читает, пока книжка не выпадет у нее из рук и не шлепнется на пол со страшным стуком. Тогда бабушка вздрагивает, открывает глаза и испуганно спрашивает: «А? Что?» Потом она поднимает книжку, находит нужную страницу и читает дальше.

А если бы ее никто никогда ничему не учил, в том числе и грамоте, как бы она тогда читала на ночь перед сном «Сагу о Форсайтах»?

Отсюда вывод: учиться никому не вредно. Особенно Саньке. И кто же с этим делом справится лучше, чем ее родной старший брат?..

Только бабушка — она ведь, известное дело, ничего не станет слушать. Просто ухватит Олега за шкуру и начнет трясти, как будто бы он и не мальчик вовсе, а какой-нибудь задрипанный коврик в сенях. Бабушка каждый день вытаскивает этот самый коврик на крыльцо и трясет его, трясет... Так что навык у нее в этом деле — о-го-го какой!

В общем, Олег подумал-подумал... и решил не сидеть тут дольше и не ждать неизвестно чего. Он встал, ловко перемахнул через забор и пошел играть с пацанами в лапту. А про Саньку подумал так: «Ну, погоди, ябеда-беда, тараканья еда, я тебе это припомню! Подкатишься еще ко мне: Олеженька, сделай мне из бумажки паровозик... Уж я тебе сделаю...»

Сколько хвостов у Паровозика

Но Санька и не думала ябедничать. Она просто вылезла через окно в своей комнате, посидела в теньке на завалинке, а потом пошла дрессировать Паровозика. Чтобы он был умным и все понимал.

Когда Санька вырастет большая, она, наверное, станет настоящим дрессировщиком, таким же настоящим, как знаменитый дрессировщик Дуров (совсем недавно дедушка читал вслух книжку «Мои звери» Владимира Дурова, родоначальника всемирно известной цирковой династии).

Санька ныряет под крыльцо и выволакивает из дальнего угла на свет божий рыжее и лопоухое существо. Щенок щурится с непривычки на яркое солнце, сопит и фыркает.

— Паровозик! — ласково, но в то же время строго и решительно говорит Санька. — А хочешь, я буду тебя дрессировать и учить разным полезным фокусам, совсем как в настоящем цирке? Хочешь?

Но Паровозик, который с утра еще был Вулканом, пока что сам толком не разобрался, чего именно он хочет от этой жизни, потому лишь продолжает бессмысленно сопеть и морщиться.

— Вот что я думаю, — так и не дождавшись ответа, говорит Санька. — Начинать будем с чего-нибудь несложного. Например, научимся сидеть. Это совсем легко. Просто легче не бывает. Вот смотри, я командую тебе: «Возя, сидеть!» Возя — это уменьшительное от Паровозика. Так надо: обязательно бывает уменьшительное имя, чтобы не выговаривать каждый раз большое имя целиком. Понятно, да? Я, значит, тебе говорю: «Возя, сидеть!» И ты тут же сразу же вот так вот — раз! — садишься и сидишь.

Щенок делает вид, что он все понял. А Санька командует:

— Возя, сидеть!.. Сидеть!

Но Паровозик почему-то не спешит выполнять команду. Игнорирует. Стоит себе как стоял.

Санька начинает сердиться.

— Это я кому говорю?! — сурово спрашивает она. — Сейчас же сидеть!.. Ну, сидеть же!

Она пытается усадить щенка, но тот взвизгивает и припускает что есть мочи к себе в будку.

— Ладно, так и быть! — Санька кое-как успевает схватиться за оттопыренный хвостик и вернуть беглеца на прежнее место. — Если тебе скучно просто так сидеть — не сиди. Кому это надо! Лучше вот что... учишь считать!

Правильно. Это и интересней в сто раз, и пользы не в пример больше!

— Для начала отвечай, сколько у тебя хвостов? — строго, как учительница в школе, спрашивает Санька. — Подумай как следует, не торопись!

Паровозик смущен. Он не знает. Он стоит и смотрит куда-то в сторону. Точь-в-точь как двоечник у доски. Очевидно, он совсем не умеет считать.

А Санька, несмотря на то что еще не ходит в школу, пойдет только на следующий год, считать умеет хоть до тысячи, хоть до двух тысяч... или даже до миллиона!

— Эх ты! — стыдит она Паровозика. — Тут даже и думать нечего. Ведь у тебя же всего-навсего один хвост, неужели не ясно? Так и надо говорить: один! То есть — гав! Понял, да? Просто — гав! — и все...

Просто-то оно просто, однако щенок, вместо того чтобы сказать «гав», широко разевает рот, высовывает язык и беззвучно зевает.

Понятно: сначала нужно научить Паровозика гавкать.

Санька становится на четвереньки.

— Гав! — говорит она. — Гав!.. Гав!.. Гав!.. Понял, как надо? Гав!

Щенок за свою короткую жизнь такого еще ни разу не видел. И потому не знает, как к этому отнестись. Ему страшно. Он на всякий

случай поджигает свой единственный хвост, похожий на обрывок ржавой проволоки, и медленно-медленно начинает пятиться, мечтая как-нибудь незаметно улизнуть восвояси.

И как раз в это время мимо идет Санькин дедушка.

— Англичане, как всегда, правы! — говорит он ни к селу ни к городу. — Стоит ли кормить собаку, если лаять все равно приходится самому?

Дедушка часто так говорит. В смысле — непонятно. К этому давно все привыкли и не удивляются. Никто. В том числе и Санька.

А между тем от Паровозика осталось торчать из будки наружу совсем мало: один поджатый хвост и одна задняя нога. Санька опять едва-едва успела за это ухватиться.

— И глупый же ты, Паровоз! — говорит она ласково, хоть и строго. Но ничего, подрастет — поумнеет.

Она долго гладит щенка по головке, а потом запихивает его в будку, вздыхает и уходит по своим делам. Ничего страшного: не получилось сегодня — получится в другой раз.

Печка

— Здравствуйте, баба Нюра! А Полина дома?

— Дома, дома. Вон они все, на полатях заседают. Лезь и ты.

Санька встала ногами на табуретку и полезла наверх, на печку. Отдернула пеструю ситцевую занавеску.

— Ура, наша Саша пришла! Сейчас будет сказку рассказывать! — сильно обрадовался Дрюнчик.

— Ты еще попозже-то не могла заявиться? — ворчит Полинка, но не сердито, а даже уважительно.

Санька неторопливо, соблюдая солидность, забирается на полати. Потому что если начать суетиться и спешить, то можно нечаянно уронить свой авторитет.

Ей сразу же уступают самое почетное место — у стенки, на мягком и лохматом овчинном тулупе. Санька сидит важно, как турецкий султан: ноги калачиком, руки на груди. Ждет тишины.

— А на чем же мы вчера остановились? Кто помнит?

— Погоди, а про что же ты вчера...

— Про Царевну-лягушку... как ее Серый Волк съел, — издевается Большой Андрей. Это у него манера такая противная — лишь бы поехидничать да выпендриться перед Веркой Линевой. — Но мне помнится, ты вчерашнюю сказку всю до конца рассказала, так что теперь начинай новую!

— Хорошо. — Санька делает вид, будто не замечает подковырки. — Про что бы такое рассказать... Про Ивана-царевича или про Ивана, вдовьего сына?

— Про Ивана-царевича... — тихо, заглядывая в глаза, просит Сашуля, маленький племянник Полинки и вредного Большого Андрея.

— Ладно... Жил-был Иван-царевич...

— А почему я не услышал «В некотором царстве, в Тридевятом государстве...»?²

Нет, ну до чего же несносный тип этот Большой Андрияха! Обязательно ему надо всунуться, где не просят. Он старше Саньки почти на четыре года и потому считает ниже своего достоинства, разинув рот, слушать какую-то там малявку.

— Ну и рассказывай сам! — надула губы Санька.

— Известное дело — в Тридевятом! — Полинка, добрая душа, пытается замять наметившийся конфликт. — Сань, он больше не будет. Рассказывай дальше!

А Саньке вдруг расхотелось про Ивана-царевича... Она вспомнила, что вчера вечером дедушка рассказывал ей сказку про сильно могучего богатыря Покатигорошка. Про то, как он спас своих братьев от ужасного и злого Кощея Бессмертного. Очень хорошая была сказка. Санька почти слово в слово запомнила то, как дедушка рассказывал. А рассказывал дедушка примерно так:

— Жили, говорят, да были одни-одинешенки в совсем стародавние времена дед да баба... Вот однажды идет баба с поля домой, а навстречу ей катится маленькая горошинка. Съела бабка ту горошинку, и родился у нее сыночек, Покатигорошек. А как только родился — сразу стал расти не по дням, а по часам. Рос, рос. Вырос до потолка и говорит: «Отчего же это, родители мои дорогие, нету у меня ни сестрицы, ни братика? Ни тебе поиграться, ни словом перемолвиться!..» — «Э-э, — отвечает старик. — Были у тебя братья, ажно целых три штуки. Да вот уж трижды по три года прошло, как ушли они, сердешные, незнамо куда...» — «Ну, положим, не трижды по три, а три с половиной! — уточняет старуха. — И куда ушли — тоже вестимо: за подвигами! А то, что братья у тебя были, это, сыночек, факт!» — и заплакала в платочек тихонько. Покатигорошек тоже заплакал, потому что был очень добрым и чувствительным мальчиком. А потом слезы рукавом вытер и спрашивает: «И что же, так с тех пор и нет от моих братьев ни весточки, ни привета?» — «Ни привета, ни весточки...» — вздохнул старик. А старуха опять заплакала... Три дня и три ночи сидел Покатигорошек, не пил, не ел, думу думал. А на четвертый день утречком встал со стула, умылся, причесался гребнем — и ну звать старика со старухой. «Думал я, думал, — говорит. — А чего надумал — щас скажу. Вот, значит, надену-ка я сегодняшним днем чистую, в синий горошек рубаху да пойду поищу братьев. Вы мне только обозначьте, будьте любезны, по какой дороге они, родимые, отошли?» Уж как кинулись тут дед с бабой рыдать да причитать да по земле валяться: «Что ты, что ты!.. Братья твои в Черный лес подались, а там такие страсти да ужаста кишмя кишат, что на ночь гляючи поминать — упаси господи! Так что и не проси: не отпустим мы тебя на прямую и верную погибель! И распроклятую ту дорогу, что за селом вторая слева, мы тебе нипочем не скажем! Вот такое

будет наше твердое родительское слово». А Покатигорошек им: «Ну, коль не скажете, то и не надо! Я тогда дорогу у соседев спрошу. Потому как сильно очень мне это дело загорелось...» Тут одолела стариков вовсе уж непосильная тоска. Повалились они оба враз на сыру землю и ну по ней кататься туда-сюда, стеноя да голося до хрипоты в горле. И убивались они так до тех пор, пока не закончилось у Покатигорошка все его терпение. Оторвал он тут родителей своих от сырой земли, поднял до своего уровня. А после облобызал обоих сразу и говорит ласково, но вразумительно: «И вас мне, нету слов, как жалко! Да только братьев — того пуще жальчей. Потому как вы тут в живом да здоровом благоденствии процветаете, а они, болезные, вообще незнамо где! А вдруг их какой злыдень изловил, изводит по сию пору страшными муками? Так что вы уж мне не пеняйте, окаянному, а только сил моих больше нету терпеть всю эту ужасно страшную неизвестность!» Старуха-то после этого завелась было: «Ты-де, мол, еще дите малое, неразумное! Вот подрасти сперва, умом доспей да окрепни, тогда уж и ступай хоть на все четыре стороны сразу...» А Покатигорошек в ответ: «Ну, это, мать, уж вовсе несерьезные пустяки. Росту во мне и так метра два с половиной будет. А возмужать да ума-разума поднабраться — это мне и по дороге не трудно! Так что лучше, маманя, собери мне чего-нибудь на дорожку, а не то я прямо как есть утеку...» Тут уж плачь не плачь, собрали старики богатырю Покатигорошку узелок поувесистей да и проводили за околицу. Облобызали еще раз на прощание свое героическое чадо, помахали вслед сыночку платочком и подались обратно до дому — горе мыкать да уповать на судьбу и на Бога, который высоко сидит и оттудова сверху все видит...

* * *

— А нету никакого Бога! — опять, чтобы только выпятить себя, встрял Большой Андрей. — Есть лишь одни буржуазные предрассудки и опиум для народа!

— А то я не знаю! — обиделась Санька. — Но это же тебе сказка все-таки, а не взаправду как есть!

— Конечно! А в сказках и не то бывает! — охотно согласился с ней Маленький Дрюнька, по природе своей склонный верить во что попало.

— А мне жалко, что Бога нет! — вздохнула Полинка. — Лучше бы он был! Тогда бы не было на белом свете столько всего несправедливого и печального!

— Ой, ну ты и дура! — искренне удивился сестре Большой Андрей. — У меня просто слов нет!

— Вот и помолчи, раз нет! — коротко огрызнулась Полинка. — Санька, давай дальше! И не слушай никого...

— Шурочка, тебя бабушка зовет, — говорит тетя Ира, Полинкина мать. — Велит домой идти, ужинать...

— Ну во-от... опять! И, как всегда, на самом интересном месте!

— А Покатигорошек нашел потом своих братьев? — Маленькому Дрюнчику страсть как не терпится узнать, чем там дело кончилось.

Саньке и самой охота рассказать всю сказку до конца. Про то, как Покатигорошек пошел к злому Кощею Бессмертному и спас своих братьев от лютой смерти. Но ничего не поделаешь, надо идти домой.

— Завтрадорасскажу... — обещает она, сползая с печки на пол.

Сказки

Ярко, совсем по-летнему светит майское солнце. Теплый воздух, пахнувший пылью и травой, затекает через открытое окно в большую комнату. Где-то тарахтит трактор; скрипит, проезжая мимо, нагруженная телега.

Санька вытащила из ящика все свои игрушки и играет.

Во дворце на троне сидит распрекрасная красавица принцесса. На ней алмазная корона (из бабушкиной самой любимой брошки), накидка (из куска тюлевой шторы) и длинное, аж до полу, голубое платье неопикуемой красоты. Но, несмотря на это, принцесса сидит на своем троне грустная-прегрустная, чуть не плачет.

Если очень долго глядеть на принцессу, можно ослепнуть — такая она красивая. Не зря же вокруг нее крутится столько всяких разных женихов, просто куча-мала какая-то, а не дворец! Каждый толкается локтями, лезет в драку. Каждый хочет непременно на ней жениться.

А принцесса любит принца. Она видела его один раз в жизни: принц спал мертвым сном в саду на клумбе с анютиными глазками. А перед этим был очень трудный неравный бой с врагами. Принц был смертельно ранен. И очень устал. Кровь запеклась у него на груди, кольчуга порвалась, меч поломался... Достаточно было взглянуть один раз на все это, чтобы сразу догадаться, какой принц храбрый, отважный и красивый.

Принцесса, как только увидела, тут же и влюбилась на всю жизнь. Она быстренько сбегала к источнику, принесла живой воды, полную чашку. А как только принц совсем ожил, она убежала и спряталась. Так было нужно...

И вот теперь принцессе очень грустно. Она не может забыть принца. А тут еще все эти женихи... господа, как они ей надоели! Когда у тебя так много женихов — это ужасно утомительно. Будь на то Санькина воля, она бы давно уж зачихала бы их всех обратно в большую картонную коробку из-под печенья, которую ей подарила продавщица тетя Оля из магазина. Но отец принцессы, царь-государь, велел пускать во дворец всех без разбору. Всех непременно с почестями приглашать в тронный



зал, поить лучшим вином и кормить как на убой, яблоками и шоколадными конфетами в красивых обертках.

Характер у царя не сахар, и вообще — он тиран и самодур. Лучше ему не перечить, а притворяться, что слушаешься и не возражаешь.

Однако надо же что-то делать, а не сидеть сиднем просто так на троне в алмазной короне и голубом платье до самого полу! Принцесса любит принца. Любит так сильно, что просто не может ночью спать ни одной минуточки. А он ничего об этом не знает. Может быть, даже собирается жениться на другой! По крайней мере, так говорят...

И вот она решается: как только наступит ночь и все во дворце уснут, надо тихонечко слезть со своего трона, переодеться бедной нищенкой и убежать куда глаза глядят. Искать принца. Она проскользнет незаметно мимо спящей охраны и уйдет одна скитаться по лесам, горам и болотам, чуть не погибнет от голода, холода, жажды и злых разбойников, но непременно найдет своего принца. И скажет ему все, что она о нем думает. Вот тогда дело закончится очень хорошо, просто замечательно!

Санька снимает с куклы тюлевую накидку, мажет ей лицо грязью из цветочного горшка. На голову, чтобы спрятать великолепные золотые волосы принцессы, натягивает свой дырявый носок. А прекрасное голубое платье прячет под старой дедушкиной портянкой.

Все это нужно для того, чтобы принцесса могла сначала узнать, может ли принц полюбить ее просто так, без титулов и нарядов. Потому что полюбить августейшую красавицу во всем ее блеске и великолепии — это любой дурак может, а ты попробуй — если, конечно, ты настоящий принц! — узнать ее, свою спасительницу, в таком вот жалком и неприглядном виде.

Конечно же, принц узнает и влюбится... хотя, может быть, не сразу. Сначала она покажется ему смешной и некрасивой. Но потом он поймет свою ошибку и исправится.

А принцесса простит его и даже не будет обижаться. Потом они оба поженятся между собой, будут жить долго и счастливо и умрут в один день.

Вот такая вот история.

Однажды дедушка сказал Саньке:

— Понимаешь, Александрина...

Когда-то давно, когда Санька была совсем маленькой девочкой, дедушка звал ее Шурочкой или Сашенькой. Как маленького ребенка. А теперь, когда ребенок уже совсем большой, дедушка придумал для любимой внучки такое вот торжественное и немного странно звучащее имя — Александрина. Впрочем, гораздо чаще он зовет Саньку чуть короче, хотя и не менее звучно: Сандра.

— Понимаешь, Сандра, — говорит дедушка, — у каждого есть своя сказка. И если ты знаешь, например, какая у человека сказка — ты знаешь о нем все. Потому что сказка — это и есть самая настоящая, самая истинная правда. А все остальное — так, шелуха...

Сандра-Александрина почти ничего не поняла, но дедушка объяснил:

— Возьми, к примеру, твоего медвежонка Филю...

Санька взяла.

Дедушка продолжил мысль:

— Кто-нибудь может подумать, что это просто старая, набитая ватой плюшевая игрушка, у которой шкура давно потеряла цвет, а вместо правого глаза — пуговица, пришитая крестиком.

Санька внимательно посмотрела на медвежонка: ну да, как дедушка говорит, так оно и есть — и шкура местами потерта чуть не до дыр, и вместо одного глаза — черная пуговица от штанов. Хорошо хоть лапу бабушка недавно пришила новую, из темно-коричневого драпа.

А дедушка смотрит куда-то мимо и говорит тихо, будто бы для себя самого:

— По ночам он вылезает потихоньку из ящика и забирается к тебе на кровать. Ему это очень трудно делать: кровать такая высокая, что он еле-еле может дотянуться до края твоего одеяла. Он пыхтит, сопит, срывается на пол, но продолжает карабкаться, пока наконец не заберется с ногами к тебе на подушку. Тогда он садится рядом с тобой и сидит так всю ночь, смотрит на тебя, мурлычет какую-нибудь песенку или просто отгоняет от тебя мух, комаров, а заодно и плохие сны, которые время от времени залетают к нам через открытую форточку. Когда вырастешь, ты будешь часто с теплой и светлой грустью вспоминать, как сладко, как беззаботно спалось тебе в далеком детстве. А ведь это в какой-то степени благодаря ему, твоему верному и преданному другу. Ну а под утро, как только начинает светать, он быстренько спрыгивает вниз и прячется опять в своем ящике для игрушек.

— Это правда? — почти шепчет изумленная Санька.

— Больше, чем правда. — Дедушка качает головой. — Это сказка медвежонка Филя.

Санька часто-часто моргает глазами. Ей и хорошо оттого, что у нее есть такой преданный друг, и жалко почему-то Филю... и стыдно, что она часто, просто так бросает медвежонка на пол, а иногда даже забывает его на несколько дней на улице.

Дедушка догадывается, о чем внучка думает, успокаивает:

— Да ты сильно-то не кисни. Игрушки так устроены, что всё и всегда прощают нам, людям. Они понимают нас так хорошо, как мы сами, наверное, не понимаем себя. Ведь они знают о тебе самое главное: они знают твою сказку.

Санька далеко не все поняла из дедушкиных слов, но крепче прежнего прижала к себе Филю и опять заморгала ресницами часто-часто, чтобы не заплакать.

А дедушка о чем-то задумался, замолчал. Санька тоже сначала молчала, молчала. Потом все-таки не выдержала и спросила:

— А у всех есть своя сказка?

— А как же! Конечно, у всех.
 — И у Паровозика — тоже?[?]
 — Это у нашего собачонка, что ли?[?] Он пока еще совсем маленький щенок. А вот немного подрастет — обязательно будет!

Санька еще немного посидела молча, не зная, что спросить. Наконец придумала:

— Деда, а у часов?[?]
 — Что?[?] — не понял дедушка.
 — У часов тоже есть сказка?[?]

Дедушка внимательно посмотрел на внучку, потом на ходики, висевшие на стене. И сказал очень серьезно:

— Есть. Да еще какая! Ты, Сандра, просто лопнешь от зависти!
 — Не лопну, не лопну! — обещает Санька. — Расскажи, дедулечка,

пожалуйста!

— Если не лопнешь, тогда слушай... Где-то на окраине Вселенной, в одной из бесчисленного множества галактик, летит и летит куда-то свет-ло-желтая звезда по имени Солнце. А вокруг нее вращается по слабо-выраженной эллиптической орбите маленькая голубая планета. Это наша Земля. Вращается планета Земля, уходит безвозвратно и теряется в не-бытии быстротечное земное время, разбитое на мелкие осколки: часы, минуты, секунды, месяцы, годы, века и тысячелетия... А маленькие, почти игрушечные ходики с гирьками на цепочке, они — тик-так да тик-так... Каждые полчаса из окошка выглядывает заспанная, осипшая кукушка: «Ку-ку! Ку-ку!» Ох уж эти забавные, смешные часики, они чикают своим крохотным медным маятником: тик-так... тук-тук... топ-топ... Они будто пытаются перебежать на другую сторону Вечности. Они не боятся захлебнуться в потоке времени. Они отважно ныряют в этот стремительный, все сметающий на своем пути поток. Они будто несут на своих хрупких плечах — бережно, боясь уронить, — несут и несут ничтожно маленькую человеческую жизнь...

Санька, разумеется, опять мало что поняла. Но сердце почему-то застучало быстро-быстро, будто она только что спрыгнула с высокого, очень высокого забора: вот это да!

Она смотрит на часы округлившимися глазами и старается не дышать громко, чтобы лучше слышать это самое «тик-так», «тук-тук», «топ-топ».

* * *

— Деда, а у тебя тоже есть сказка?[?]
 — А то как же! — улыбается дедушка. — Что ли, я самый лысый?[?]
 И уважительно гладит ладошкой свою плешивую голову.

— На скалистый пустынный берег, где гуляют холодные осенние ветры, упал с неба золотой солнечный луч. Неожиданно волшебный солнечный зайчик вскарабкался на колени усталого, больного, нелепого ста-

рикашки, который доживал уже свою жалкую, бесполезную, никому не нужную жизнь, сидя на этом пустом берегу, глядя в серое, промозглое пространство. И сразу все переменялось. Серое небо стало удивительно синим. Запели птицы, зашелестела молодая зеленая листва, ветер принес откуда-то запах роз и апельсинов. Зашумел прибой торжественно и призывно. И вот в ослепительно голубой дали, у самого горизонта, возникли вдруг белые, как облако, паруса. Жалкий и сгорбленный старикашка выпрямился во весь рост, и тут все увидели, что это отважный капитан, старый морской волк в полосатой тельняшке, серой зюйдвестке, в синем кителе, небрежно наброшенном на плечи... А белый корабль все приближался и приближался. И уже ни у кого не оставалось сомнений, чей это корабль и зачем он пришел сюда. Все понимали, что сейчас никому не нужный на этом берегу старик взойдет по трапу на палубу и навсегда уплывет отсюда далеко-далеко, в такие прекрасные страны, какие и не снились тем, кто остается здесь среди пыли и унылого хлама, среди суеты и бессмыслицы...

— Деда... — Санька чувствует, что-то мешает ей говорить громко. Что-то будто застряло у нее в горле, такое колючее, что даже слезы опять выступили на глазах. — Деда, а ты меня возьмешь... с собой?..

Лицо дедушки из задумчиво-грустного становится веселым и бесшабашным:

— А как же! Куда я без тебя, моя маленькая принцесса! Кому я, скажи на милость, буду рассказывать вот эти вот свои сказки? Русалкам? А может, акулам и осьминогам?

Санька тоже смеется. Ей весело.

— А у меня, а у меня... — Санька подпрыгивает на одной ножке от нетерпения. — А у меня тоже есть такая сказка?

— У тебя-то? А ты что, сомневаешься?

— Расскажи! Деда, пожалуйста!

* * *

Санька клянчила долго, но дедушка так и не стал ничего больше рассказывать. Сказал, что лучше нее самой этого никто не может знать. И что она, если, конечно, захочет, сама когда-нибудь расскажет дедушке свою сказку.

Крылья

И снится ей сон... Такой хороший, хоть не просыпайся!

Ей снится, будто бы она живет в самой чаще волшебного сказочного леса в небольшой, но очень уютной, освещенной солнцем пещере. Будто бы стены этой пещеры сплошь увиты цветущими лианами, пол устлан мягкой сухой травой, а вместо кровати — гамак, который висит подвешенный к высоким каменным сводам и качается, когда в него забираешься-

ся с ногами. Перед входом растут темно-зеленые елки, кудрявые белоствольные березы, а еще — огромные, ростом чуть ли не выше Саньки, цветы, крупные, ярко-розовые, почти красные. Что это за цветы, Санька не знает: наяву она их ни разу не видела.

Недалеко от пещеры, шагах примерно в ста пятидесяти, начинается обрыв к морю. А над морем высоко в небе висит разноцветная радуга. И висит она прямо над головой, а не так, как это бывает в настоящей жизни: в настоящей жизни радуга ведь всегда бывает где-то сбоку, далеко, за домами, за лесом.

Если идти от пещеры совсем в другую сторону, то очень скоро, сразу за большими красными цветами, начинается зеленая поляна. Через эту поляну течет чистый, прозрачный и очень звонкий ручей. Он стекает откуда-то сверху, со скалы, которая от старости покрылась уже вся клочковатым седым мохом, и только кое-где, местами торчат еще голые темно-синие камни.

Ручей огибает поляну по самому краю, так что получается кривая дуга, а потом впадает в озеро. Вода в озере голубая, теплая, как парное молоко, и такая прозрачная, что и на самой середине, где глубина такая, что просто жуть, видно дно: камни, золотистый песок, длинные водоросли и даже плавающие туда-сюда большие, ленивые рыбы.

А на поляне пасется серая в яблоках лошадь. Она качает большой, очень-очень умной головой, фыркает и смотрит на Саньку добрыми темно-коричневыми глазами.

А Санька... она будто бы уже и не Санька. Она, может быть, фея... или добрая колдунья, которая бегает вместе со своей любимой черно-рыжей собакой, которую зовут Волга. В настоящей жизни собака Волга недавно умерла, потому что кто-то злой бросил ей отравленный кусок хлеба и утром ее нашли лежащей возле будки, мертвой и холодной. Санька тогда долго плакала. А сейчас, во сне, Волга опять живая и веселая, потому Санька радуется и смеется, бегая с ней наперегонки по зеленому лугу.

Конечно, ни в одной сказке не написано, что волшебная фея носится по лужайке как угорелая. И пугает разноцветных бабочек, которые тучами поднимаются вверх и порхают, порхают над травой, а потом садятся тут же неподалеку на яркие цветущие ромашки, гвоздики и незабудки. Ну не написано. Ну и что теперь?

Саньке хорошо и весело. Особенно когда какая-нибудь неосторожная или очень храбрая бабочка задевает ее своим крылом. Или когда Волга, счастливая оттого, что все в этом мире так замечательно складывается, прыгает лапами на грудь, облизывает нос и щеки своей маленькой хозяйке.

А Санька вдруг легко отталкивается от земли и летит. Она плавно машет руками, как птица крыльями, и медленно, не торопясь взлетает. Сначала она поднимается до уровня разлапистых сосен, стоящих по краю поляны. Санька зависает над ними так низко, что чувствует запах разогретой на солнце хвои и даже трогает пальцами маленькие зеленые шишки. Потом она поднимается все выше и выше. Мимо нее, чирикающая от

удивления, пролетают разные пестрые веселые птички. И вот уже Санька поднялась почти до облаков и оттуда смотрит вниз на землю. А земля — такая большая, оказывается... Края ее уходят куда-то далеко-далеко.

Далеко внизу, на поляне, все еще пасется серая в яблоках лошадь. И бегаёт и скулит, беспокоится за хозяйку верная собака Волга.

Саньке становится стыдно, оттого что она бросила Волгу одну, а сама улетела. И она быстро-быстро начинает спускаться обратно. Даже ветер свистит в ушах. И вот земля совсем рядом, вот уже можно разглядеть бабочек и кузнечиков... Санька летит теперь низко-низко, задевая локтями и коленками шелковистую зеленую траву.

Давно уже Саньке так хорошо не леталось во сне. Почему-то в последнее время получалось взлетать только тогда, когда за ней гнался и даже почти что совсем догонял какой-нибудь ужасный злодей... или много злодеев. Вот-вот ее должны бы схватить, но в последнюю секунду ей удавалось-таки оторваться от земли и, судорожно махая руками, как обшипанными крыльями, улететь.

Это были плохие сны. Потому что потом, когда просыпаешься, помнишь уже не то, как хорошо лететь, а лишь то, как тяжело и плохо бежать, потому что ноги от страха — они такие тяжелые, ватные и непослушные.

Нет, конечно же, иногда летать во сне Санька могла и просто так, без погони. Но не с земли. Нужно было сначала залезть куда-нибудь повыше: на крутой обрыв, например, или на крышу дома... в крайнем случае на посудный шкаф, — а потом прыгнуть оттуда, замахать руками и постепенно, постепенно, набирая высоту, подниматься к небу, туда, где облака и чирикающие от удивления птицы.

Санька как-то спросила у бабушки:

— А почему я больше не могу во сне летать как раньше: просто оттолкнуться от земли — и все?

И рассказала бабушке про то, какие сны снились ей прежде и какие снятся теперь. Бабушка внимательно выслушал внучку и сказал так:

— Похоже на то, что у тебя выросли очень большие крылья. Как у стрижей.

— Как это? — не поняла Санька.

— Есть такие птицы стрижи. У них несоразмерно большие крылья. И они тоже не могут взлететь просто так, с земли. Им обязательно нужна хоть какая-то возвышенность.

— Ага... теперь все понятно, — кивает головой Санька.

В общем-то, все правильно. Наверное, так оно и есть. Хотя... кто его знает.

* * *

Раньше Санька верила, что может летать не только во сне, но и в правду. И даже не просто верила, а знала наверняка. Точно знала, что так оно и есть, даже не сомневалась. Она знала, что надо просто как следует оттолкнуться от земли, подпрыгнуть, замахать руками... и все.

Но все оказалось куда сложнее: сколько Санька ни подпрыгивала — сначала просто так, потом с табуретки, потом уже с забора и даже с крыши сарая — ничего из этого прыганья не вышло, только набила кучу шишек и изорвала платье. А толку?..

И тогда Санька поняла, что, увы, просто так, без ничего можно летать только во сне. А в жизни даже птицы просто так не летают. Даже им нужны крылья. Обязательно. По-другому — никак!

И она стала думать: а из чего, собственно, можно сделать эти крылья? Может, взять да и склеить их из настоящих перьев, например из куриных? А что, собирать побольше — вон их сколько валяется по деревне! Но потом она подумала хорошо и поняла, что нет, из этого ничего не выйдет. Во-первых, не так легко оказалось набрать нужное количество перьев. Во-вторых, с клеем тоже проблема: где ж его взять, если в магазине клея вечно не бывает и даже Олегу в школу на уроки труда мама приносит со своей работы совсем по чуть-чуть, а Саньке-то она уж точно приносить не станет, скажет только: «Глупости это всё, Александра! И не приставай, я и так устала как собака!» А в-третьих... и это самое главное: могут ли получиться настоящие летательные крылья из куриных перьев? Вот если бы курицы хотя бы уж летали, тогда бы можно было бы и попробовать. А так — никакого смысла.

Санька стала подумывать, не сплести ли ей крылья из чего-нибудь, из пикульки например. Ее вокруг растет столько, что рви — не хочу. А ведь из таких узких и прочных листьев запросто можно сплести что угодно, например ободок для волос. Но ничего, кроме ободка, сплести так и не удалось. И Санька поняла тогда, что решать эту проблему нужно как-то по-другому.

Она думала долго, почти полночи. Наконец поняла, что делать. Нужно притащить побольше ивовых прутьев откуда-нибудь, например с Песчанки или с берега Енисея. Согнуть их правильно, в форме крыльев. А потом обтянуть какой-нибудь плотной материей — хотя бы старым бабушкиным крепдешиновым платьем.

Веток Санька притащила целую кучу. Платье у бабушки выпросила и даже почти разрешила. А вот дальше дело почему-то не пошло: прутья никак не хотели принимать форму крыльев, сколько Санька с ними ни мучилась. Наконец она устала, пришла в отчаянье, опустила руки, уселась на крыльце и собралась заплакать. Она бы так и сделала — просто заплакала бы, и все. Но как раз в это время с работы пришел папа. Сначала он хотел поздороваться и пройти мимо, но как только увидел выражение Санькиного лица, так сразу остановился и сел рядом.

— И чего это ты, дочь наша, — говорит папа, — сидишь тут с таким видом, будто тебе вместо шоколадной конфетки дали бумажку, набитую хлебным мякишем?

Санька, конечно же, сразу все папе объяснила: обман с конфеткой — это бы еще ничего, это бы она пережила, не маленькая. Куда хуже то, что у нее крылья почему-то совсем никак не делаются.

- Совсем-совсем?
- Совсем-совсем...
- Ну... это бывает.

И папа рассказал интересную вещь. Оказывается, он тоже был маленьким и тоже очень хотел уметь летать! И у него, как сейчас у Саньки, ничего из этого не вышло. А уж как он старался, как старался!..

— Один раз я даже стащил у своей мамы (у твоей бабушки то есть) зонтик и прыгал с ним с высокого забора. Зонтик сломался. Сам я целую неделю ходил в синяках и царапинах. Да еще и ремня хорошего получил от твоего дедушки. Тем все и кончилось.

— Да уж... — понимающе вздыхает Санька.

— Уж да... Так что, опираясь на свой горький жизненный опыт, я тебе советую: брось ты это безнадежное дело и займись чем-нибудь попроще. Например, давай мы с тобой будем клеить замок из картона: я скажу нашей маме, и она принесет завтра с работы клей и картон — белый такой, гладкий. Хорошо?

— Хорошо. Только я все равно летать хочу...

— Тогда так: заканчивай школу, а потом иди учиться на летчика. Будешь себе летать на каком-нибудь реактивном самолете всем на зависть: вжик — туда, вжик — обратно! А что? Это, в конце концов, тоже выход. Потому что, как показывает научная практика, человеку проще всего летать именно на самолетах. И это понятно всем, в том числе и Пафнутию Сидоровичу, нашему огородному пугалу.

Санька, чтобы не огорчать папу, промямлила, что, конечно же, она непременно так и сделает, вырастет и станет летчиком... раз даже Пафнутию Сидоровичу понятно, как это здорово — летать на реактивных самолетах. А в душе — сильно опечалилась. Потому что одно дело летать в самолете от аэродрома до аэродрома, сидя в кабине. И совсем другое, если ты сама можешь лететь куда тебе вздумается: хочешь — низко-низко, как бабочка, над самой травой, а хочешь — высоко-высоко, под самыми облаками, вместе с птицами.

Подружки

Вика живет по улице Мичурина, которая пересекает улицу Фрунзе через квартал от Санькиного дома. И потом еще целых пять домов надо пройти от перекрестка. Это далеко, потому Саньку даже не всегда отпускают одну, когда она просится пойти к Вике в гости.

А тут как раз Санькин папа пошел к Викиному папе, дяде Мише, поиграть в шахматы. А заодно решил прихватить с собой и доченьку свою ненаглядную.

— Ну что, Алька, идешь со мной?

Санька так обрадовалась, что даже запрыгала на одной ножке.

И Вика, как только увидела, что к ней Санька пришла, тоже обрадовалась и тоже запрыгала на одной ножке.

Санька и Вика дружат уже давно, больше двух лет. Ровно столько, сколько Санька живет здесь. Сюда Санька приехала с Севера два с лишним года назад, вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и старшим братом Олегом.

Со стороны всем должно казаться, что Санька и Вика — совсем разные. Вика — маленькая (Саньке чуть не до подмышки), щупленькая и шустрая как веник. А Санька — она, наверное, больше на метлу похожа. Долговязая, худая и растрепанная, будто бы ей только что двор подметали. Санька даже, чтобы не казаться такой длинной на фоне Вики, всегда старается немного согнуться, ссутулиться и сделаться пониже.

Но это только на первый взгляд кажется, что ничего общего между ними нет. В действительности у Саньки с Викой общего много. Например, голубятня. Точнее сказать, голубятня-то у каждого своя. У Вики — коробка из-под конфет с нарисованным большим цветочком, а у Саньки — пустая папиросная пачка, на которой написано: «Казбек».

И голуби у каждой свои. Всякие разные. Есть белые-белые, пушистые-пушистые и такие легкие: чуть дунешь — они так и летят под самый потолок. А есть серые в крапинку. Правда, эти не такие летучие, но зато — ох и красивые!

А сегодня они покрасили голубыми чернилами целую кучу перьев, выдернутых из Викиной подушки, и положили их на солнышке во дворе сохнуть. Вот когда высохнут — будут еще и сизые голуби. Останется только поделить их по-честному.

Викина мама, тетя Варя, пришла с улицы, спрашивает:

— Кто это у меня, интересно, все чернила разлил? И откуда там, по всему двору, крашенные куриные перья летают?

Вика сразу подскочила:

— Ой, да ведь это наши сизые голуби! Бежим скорей ловить, а то они все улетят!

Тетя Варя пожала плечами, говорит:

— Вообще-то, сизые — это скорей серые, чем ультрамариновые...

Но Саньке так не нравится. И Вике тоже. Серые — это серые. А сизые — значит самые красивые. Зря, что ли, в кино про голубей, которое недавно показывали в клубе, все просто с ума сходили по этим сизарям!

А голуби, голубыми чернилами покрашенные, получились исключительно красивыми. Жаль, конечно, что совсем мало удалось их поймать: остальные и в самом деле разлетелись в разные стороны.

— А, ничего! — говорит Санька. — Пойдем новых поищем!

И они пошли.

Идут, идут... Вдруг перед ними прямо на дороге большая куча перьев. Будто бы кто-то специально их нащипал и положил тут для Саньки с Викой.

— Ура! — орет Санька.

— Чур, мое! — еще громче вопит Вика.

Впрочем, толкаться и отнимать друг у друга найденные сокровища нет никакой необходимости. Перьев на дороге столько, что не только на

голубей хватит, но еще и останется на маленькую подушку для куклы... или даже на перину. Похоже, что кто-то ошипал себе курицу на обед, а перья бросил прямо за забором.

Чтобы собрать все это богатство, никаких карманов, разумеется, не хватает. Так что приходится выбирать только самое лучшее, самое белое и пушистое. И складывать прямо в задранные подолы.

Оказалось, что теперь до Санькиного дома идти в два раза ближе, чем до Викиного.

— Айда ко мне! — говорит Санька.

Ну, айда так айда. Вика спорить не стала.

* * *

Санькина бабушка увидела их.

— Ой, — говорит, — вот и девки наши заявились. Да еще, никак, в подоле принесли! Ну-ка, показывайте, чего там у вас?

Санька с Викой показали. Жалко им, что ли... Пусть бабушка увидит, сколько они всего ценного нашли, и тоже порадуются!

Бабушка глянула.

— Фу, — говорит, а сама морщится. — И где вы этой гадости хватили? Не иначе... дохлую курицу ошипали, которая со вчерашнего дня на помойке валяется!

— Никого мы не общипывали! — мотает головой Санька. — Мы это совсем в другом месте, на дороге нашли. Они сами по себе валялись... просто так, без дохлой курицы.

Трудно сказать, поверила им бабушка или нет. Сильно ругаться она, в общем-то, не стала. Но зато все-все перья (а сколько их было, эх, и все такие красивые!) велела сейчас же пойти и выбросить в туалет.

Жаль, конечно, но что поделаешь, бабушку надо слушаться.

* * *

Санька пошла провожать Вику домой. Не тащиться же ей одной в такую даль.

Шли, шли... Потом Санька спрашивает:

— Ты, когда вырастешь, кем будешь работать?

— Я буду доктором, — отвечает Вика. — Буду всем температуру мерить, уколы ставить и лекарства выписывать. А ты?

— А я...

Санька еще никому этого не говорила, но, кажется, она уже точно знает, кем будет. Моряком!

Настоящего моря ей ни разу в жизни видеть не довелось. Но зато однажды, давно, когда ей было четыре года, она видела живого взаправдашнего моряка. И даже не одного! Все три моряка были в красивой морской форме, с большими синими воротниками. А на голове у каждого была надета белая бескозырка.

Бескозырка — это такая замечательная фуражка без козырька впереди (и не потому, что козырек оторвался, а потому что так надо). Зато сзади у морской бескозырки болтаются целых две ленточки с нарисованными золотыми якорями.

Санька тогда была в таком восторге от увиденного, что прибежала к бабушке и закричала. Точнее, не закричала, при посторонних-то она громко кричать стеснялась. Просто подбежала к бабушке, схватила ее за рукав и стала шептать громко-громко: «Баба, баба, смотли, там матлосики, матлосики!»

Бабушка, когда про тот случай из Санькиной жизни вспоминает, всегда смеется:

— И откуда только ты догадалась, что это «матлосики», а не марсиане, например? Ты же их сроду не видела!

Этого Санька не знает. Но думает, что ей сердце подсказало.

Хотя, может быть, все гораздо проще и прозаичней: когда-то в детстве, давно, еще на Севере, у нее была матроска — это такое платье синего цвета с большим воротником, красиво свисающим на спину. Маленькую Шурочку тогда все дразнили в шутку: «Моряк с печки бряк, растянулся, как червяк!» Сначала Санька обижалась, но потом дедушка сказал, что это они специально дразнятся, чтобы не лопнуть от зависти. И Шурочка успокоилась, стала носить свою матроску с гордостью и не обращала уже внимания на разные завистливые дразнилки.

Однако детская матроска так же похожа на настоящую морскую форму, как, скажем, походит игрушечный медвежонок Филя с пуговицей вместо глаза и криво пришитой матерчатой лапой на настоящего взаправдашнего медведя, живущего в лесу.

То есть получается, что все-таки сердце подсказало?..

— Я буду моряком, — сурово и твердо говорит Санька. — Я буду плавать на большом корабле по самому настоящему морю. Или даже... прямо по океану!

— Да нет, — трясет головой Вика. — Тетеньки моряками не бывают. Моряками только дяденьки работают.

Что бы она понимала в жизни, эта Вика! Санька почти сердится:

— Ну и что? А я все равно — буду!

* * *

Теперь Вике нужно провожать Саньку. Не тащить же той одной в такую даль.

— Ты в школу хочешь?

— Не знаю... — Санька пожимает плечами. Насмотрелась она на Олега, как он мучается. Чего он только ни делает, чтоб не ходить в эту самую школу... Однажды ему так не хотелось в нее идти, что он просто не знал уже, что и придумать. И стал маяться животом. Стонал так жалобно, что у Саньки просто сердце останавливалось. Она на мамином месте Олега пожалела бы и не стала бы отправлять в школу. Но мама — она и есть мама.

— Хватит, — говорит она сурово, — притворяться! Я эти твои штучки наизусть знаю. Опять, наверное, к контрольной не подготовился? А если живот и вправду болит, то бабушка прямо сейчас пойдет в аптеку и купит тебе большую клизму. И еще — касторки. Два литра. Ну что, идешь или остаешься болеть?

Разумеется, Олег предпочел идти в школу.

А в другой раз Олежка спрятал портфель. Да так здорово, что его битый час искали все кому не лень: и папа, и мама, и бабушка, и даже дедушка. Битый час — это потому, что Олегу здорово тогда влетело ремнем от мамы. И в школу все равно пришлось пойти. Мама взяла его, как маленького, за ручку и повела. Прямо как есть — без портфеля, без ручки, без тетрадок. Так что еще хуже получилось.

А однажды утром Олег от горя совсем с ума сошел: взял и вылил на себя целое ведро воды. Вроде бы как случайно: пошел попить, а ведро на него вдруг раз — и опрокинулось.

— Ой! — кричит. — Как же я теперь мокрый в школу-то пойду?

А на нем и правда ни одной сухой ниточки не осталось.

Но мама — она, как была железобетонной, так и осталась: откопала где-то прошлогоднюю Олегову форму, заставила его в нее переодеться (а она уже и мала ему, и заштопана местами) и выпроводила Олега из дому. Да еще и пригрозила в другой раз наподдать как следует за такие фокусы и отправить его на уроки в том, в чем он в первый класс ходил.

Нет, не очень-то Саньке хочется в школу!

— А я хочу... — вздыхает Вика. — Мы с мамой ходили в том году на первое сентября смотреть. Знаешь, как там здорово! В сто раз лучше, чем даже в детском саду!

Санька ничего возразить не стала, потому что Вике, наверное, видней: она-то в детский сад ходит, а Санька — нет.

* * *

А потом Санька идет провожать Вику. В самом деле, не тащить же ей одной в такую даль.

— А помнишь, как твоя мама парила тыкву для поросят? Вкусно было!

— Фи! — презрительно морщится Вика. — Нашла что вспомнить! Вот папа один раз привозил из командировки мармелад — это было да! Мармелад — он такой длинненький, плоский и весь волнами. И полосатый. А сверху еще и сахаром посыпанный...

— Ага, знаю, — соглашается Санька. — Нам мама привозила из Красноярска такой же. А один раз она ездила аж в самую Москву и привезла оттуда коробочку с леденцами. Коробочка такая красивая, железная. На ней Москва нарисована. А леденцы — разноцветные: желтые, зеленые, красные, фиолетовые... Вот уж где вкусно так вкусно!

— Ага... — вздыхает Вика.

* * *

Потом, когда Вика пошла провожать Саньку (не тащиться же той одной в такую даль, тем более что уже стало темнеть)... Так вот, когда Вика пошла провожать Саньку, они еще много чего хорошего вспомнили по дороге.

С Викторией вообще бывает очень здорово про что-нибудь вспоминать! Про что угодно. Например, про Новый год, когда бывает елка, а на елке игрушки всякие. А еще — бумажные фонарики, гирлянды и конфеты в блестящих обертках. Под елкой — Дед Мороз со Снегурочкой, очень красивые. Они сделаны из ваты, а сверху на них наклеены мелкие блестящие осколки разбившихся стеклянных елочных игрушек.

А еще всегда на Новый год бывают подарки. Это такие бумажные кулечки с картинками. Внутри кулечков чего только нет! И конфеты, и печенье, и яблоко, а то и настоящий мандарин, пахнущий так, что просто словами не передать. А уж какой вкусный!..

* * *

Но еще больше подарков бывает на день рождения.

Например, в четыре года Саньке подарили кремлевскую башню, большую, ростом чуть не с саму Саньку! Разборная такая башня, вся из деревянных разноцветных кружочков и цилиндриков, надетых на деревянный стержень. А на самом верху — красная пятиконечная звезда, прямо как настоящая, как в Москве. Сейчас эта башня, к сожалению, почти вся растерялась.

А в пять лет на день рождения подарков вообще была целая куча. Мама с папой подарили ей тогда легковую машину ЗИМ с дистанционным управлением. Дистанционное управление — это вот что: сзади за машинкой тянется длинный металлический шнур, а к нему на конце приделана такая штучка с ручкой. Ты вертишь эту ручку, и колесики у машинки сразу начинают крутиться. И она едет вперед или назад. Здорово!

Правда, с машинкой больше Олег играл. Пока она не сломалась.

Бабушка подарила внучке куклу Наташу, лебедя и формочки для пекла. Разноцветные. И у каждой формочки свой рисунок: цветочек, бабочка, вишенки, виноградная гроздь. А дедушка подарил Саньке три книжки: «Хари и Кари», «Слепой музыкант» и «Новый нечистый из Самого Пекла».

У последней книжки название было самое интересное, и Санька первым делом стала просить почитать ей именно эту книжку. Но бабушка только головой покачала, хмыкнула, проворчала на дедушку:

— Ты, старший дурень, пятилетнему ребенку еще бы из Карла Маркса что-нибудь прикупил.

На что дедушка почти не обиделся и ответил:

— Конечно, Сандра еще немножко не доросла до Таммсааре...

— Совсем чуть-чуть... лет эдак двадцать!

— Пусть даже так! — Дедушка опять нисколько не обиделся. — А только я вот что тебе скажу, Сима: подарить человеку хорошую книжку никогда не рано и никогда не поздно.

— Ну-ну...

А про слепого музыканта Саньке очень понравилось.

Но еще больше понравилась книжка «Хари и Кари». Там один индийский мальчик дружил со слоном. Хари — это мальчик, а Кари — его слон. Очень хорошая книжка, хоть и грустная. Жалко, что здесь, в Сибири, настоящие живые слоны совершенно не водятся. Зато игрушечный слоненок у Саньки такой, что любой может позавидовать! Он весь из себя красивый, белый, а на спине у него — золотая попона. А еще он умеет ходить, медленно, вразвалочку — совсем как живой. К хоботу у него привязана толстая нитка, а к концу этой нитки подвешен небольшой груз. И если поставить слоненка на стол, а груз свесить вниз, то слоненок начинает переступать ногами и потихоньку, не торопясь, двигается к краю стола. Но со стола он почему-то никогда не падает. Сам останавливается у края. Такой вот он умный.

Слоненка привезла мама из Москвы, специально к Санькиному дню рождения. Но это было уже этой весной. Тогда Саньке исполнилось шесть лет. И кроме слоненка ей подарили большую матрешку, в которой одна за другой помещалось семь матрешек поменьше. Ну и, конечно, куклу. Очень хорошую куклу, пластмассовую, в коричневом комбинезоне. Волосы у куклы короткие, так что из нее получился отличный принц.

Дедушка накупил кучу книжек. «Русские народные сказки», «Сказки бабушки Куприянихи», «Сказки Г. Х. Андерсена» и еще одну, которая называется «Маленький принц». Все книжки такие красивые, с картинками!

А Вике на день рождения (между прочим, хорошо, что от Санькиного дня рождения до Викиного всего-навсего семь дней, поэтому подарки им дарят почти одновременно и никому не бывает завидно) тоже чего только не надарили: и разных кукол, и кроватку к кукле, и посудку разноцветную. И еще — портфель — новенький, кожаный, с блестящим замочком и твердой широкой ручкой, чтобы его было удобно таскать. И настоящую школьную форму подарили: коричневое платье с белым подворотничком и такими же манжетами, а к нему два фартука — белый, праздничный, и черный, на каждый день. Так что у Вики уже есть почти все, чтобы идти в школу. Правда, случится это только на следующий год, осенью.

* * *

Наступила Санькина очередь провожать Вику домой. Куда же она потащится одна, да по такой темноте.

Но тут из дома вышла Санькина бабушка.

— Ага, вот вы где! Опять, значит, провожаетесь! Так я и знала.
 — Да мы... это... — объясняет Санька.
 — Хватит шляться, а то Бармалей утащит, — ворчит бабушка. — Он, конечно, как только разглядит, что за сокровище приобрел, сразу прибежит, обратно притащит: заберите, мол, за-ради бога! Понятно, кому ж такой подарочек нужен... Ладно, Вику я сама провожу. А ты — марш домой, там тебе мать-то наподдаст!
 Бабушка, ворча, уводит Вику. А Санька нехотя плетется в дом.

Баня

— Саша! — кричат с улицы. — Иди сюда, дело есть!
 Санька высовывается в окно:
 — Чего вам?
 — Айда с нами на Песчанку!
 — Ладно! Отпрошусь только...
 Санька бежит отпрашиваться.
 Бабушка в кухне укладывает в пузатый желтый баул два полотенца и чистое белье.
 У Саньки от огорчения сразу холодеет все внутри. Уже ни на что не надеясь, она бормочет:
 — Баба, можно я пойду на Песчанку? Все идут, я тоже со всеми...
 — А в баню кто пойдет?
 — Не хочу в баню... — пытается скулить Санька.
 — Вообще-то моется тот, кому почесаться лень! — сообщает бабушка.
 Бабушка и ухом не ведет:
 — Сегодня пятница. Я и постель уже сменила. Так что обождет твоя Песчанка.
 И продолжает равнодушно заворачивать мыло в мочалку.
 Ну вот, всегда так!
 Санька плетется к окну, безнадежно машет рукой:
 — Идите одни, у меня сегодня баня... чтоб ей развалиться! — И отворачивается, чтоб никто не видел, что она вот-вот заплачет...

* * *

Новую баню на берегу протоки построили не так давно. Из кирпича. А сверху оштукатурили и побелили. Теперь она стоит — красивая, большая, очень прочная... и в ближайшее время уж точно не собирается разваливаться.

Раньше в поселке баня была маленькая, деревянная, в одно отделение. Так что мылись по очереди: в пятницу — женщины, в субботу — мужчины, а в воскресенье — опять женщины. Санька сначала не могла понять, почему это женщинам одного дня в неделю не хватает, надо обязательно два. А потом догадалась, когда построили новую баню и в ней появилось

два отделения — мужское и женское, вследствие чего дедушка, бабушка и Санька стали ходить мыться в один день. Тут, в общем-то, и гадать сильно нечего, надо просто один раз посмотреть, сколько времени моется бабушка и сколько — дедушка. Дедушка успеет уже сто раз вымыться, напиток пива и даже выспаться на скамеечке, на берегу, где большие тополя и клумба с цветами. А бабушка все моется и моется, моется и моется...

* * *

В бане, конечно же, всегда полно народу. И, главное, жарко. Так жарко, что все тает. Санька не совсем хорошо представляет себе, как такое может быть, потому ей не по себе. Каменные скамейки, оцинкованные тазики с плоским дном, раскрасневшиеся от жары голые тетеньки и даже кирпичные стены — все это давно растаяло, остался только тот угол, в котором стоит бабушка и набирает воду из-под крана.

У Саньки перед глазами мелькают маленькие зеленовато-белые шарики, похожие на крошечные мыльные пузыри. Они кружатся и роятся, как мухи, их становится все больше и больше. Наверное, сейчас я тоже расту, с тусклым ужасом догадывается Санька. И чувствует, как медленно-медленно начинает растекаться по лавке.

Кажется, вернулась бабушка. Но Саньке уже совсем ничего не видно, кроме этих блестящих серебристо-зеленых кружочков.

— Баба, я таю... — жалуется она тянущимся, как резина, голосом.

И становится совсем темно. И все исчезает.

Потом в нос удаляет резкий, знакомый противный запах.

«Нашатырка!» — с отвращением узнает Санька. Она медленно и тяжело открывает глаза. Блестящие кружочки постепенно редеют, сквозь них проступает бабушка.

— Господи, как ты меня опять напугала! — охает она. — И что мне с тобой делать?

Бабушка заворачивает Саньку в большое китайское полотенце, на котором нарисованы красивые синие птички.

— И вот так чуть не каждый раз, — жалуется она кому-то, кажется банщице. — Просто наказание господне...

Санька осторожно приподнимается и садится. Оказывается, она уже в раздевалке. Покрашенный ярко-синей краской деревянный шкафчик, в который бабушка и Санька сложили свою одежду, уже открыт.

— Сейчас я тебя одену, — говорит бабушка. — И иди на улицу, жди меня там.

* * *

В раздевалку вваливается толстая солидная тетя.

— Ой, бессовестная, — говорит она нарочито громко. — Такая большая, а ее мама одевает!

— Не мама, а бабушка, — так тихо, что слышит себя только она сама, да и то с трудом, оправдывается Санька.

И какая же она бессовестная? Краска пятнами проступает у Саньки на щеках.

— Не обращай внимания на пустяки, — успокаивает Саньку бабушка. — На всякое чихание не наздравствуешься!

— Она тута нонича всех нас испужала вусмерть! — поясняет банщица. — Обморок у ней был, насилу отводились!

— Вот оно что! — радуется тетка. Она очень довольна, что эту большую девочку одевают не просто так, а по вполне уважительной причине.

Зато у Саньки совсем испортилось настроение. Да и кому может понравиться, если сначала ты от жары падаешь в обморок, тебе прямо в нос суют понюхать нашатырный спирт, который воняет так отвратительно, что и покойника заставит в гробу перевернуться два раза. А потом еще откуда ни возьмись заявляется какая-то очень правильная тетенька и начинает тебя при всех стыдить за то, что тебе плохо и ты даже не можешь одеться без посторонней помощи...

Впрочем, не все в этой жизни так уж плохо. Вот сейчас бабушка оденет Саньку и отправит ее на улицу, к дедушке.

Дедушка уже помылся и ждет их, сидя на скамейке, под окнами бани. Он даст Саньке денежку, и та пойдет в банный буфет купить себе морса. Морс такой красивый, ярко-красный. Клюквенный. Он налит в высокую узкую прозрачную емкость с краником внизу.

Тетенька в белом халате, сидящая за прилавком, берет у Саньки деньги, открывает краник. Морс тонкой алой струйкой течет в прозрачный граненый стакан.

И вот уже Санька, совершенно счастливая, пьет кисло-сладкий, прохладный, такой замечательный напиток. И постепенно забывает обо всех произошедших неприятностях.

Рождение радуги

— Эй, Акулявна, — зовет Олег. — Хочешь фокус-покус?

— Хочу! — подпрыгивает Санька и даже забывает обидеться за Акулявну.

— Тогда идем.

— Идем! А куда?

— Увидишь.

В комнате мамы и папы завешено окно. Папа всегда так делает, когда печатает фотографии.

Но сейчас вместо фотоувеличителя и ванночек с реактивами на табуретке стоит белая фаянсовая мисочка с водой. В миске — небольшое зеркало.

— Сейчас ты ее увидишь.

— Кого?

— Радугу.

— Настоящую?

— Да. Только имей в виду — она совсем маленькая.

Олег берет в руки фонарик, включает его и направляет луч прямо в миску с водой и зеркальцем.

— Смотри внимательно.

— Ага...

Сначала Санька ничего не видит, кроме света от фонарика. Но она очень старается, моргает и, не отрываясь, глядит, глядит...

И вдруг она ее увидела! Радугу. То есть это была не совсем привычная радуга. Просто крошечное светящееся семицветное пятнышко.

— Ой, — не удержалась Санька. — Это она?

— А то!

— Она только что родилась?

— Ну да.

— И теперь она будет расти, расти... И вырастет в большую-пре-большую? А потом будет висеть у нас над огородом, да?

Олег не ответил, промолчал. Решил не разочаровывать младшую сестренку.

А Санька подумала, что одну подростковую радугу она уже видела. Ту, что висела над бабушкиным тазиком с водой.

Значит, сначала радуга рождается вот такая, совсем крошечная. Потом она становится побольше, как та, что была на крыльце. А уж потом, через много-много времени, радуга становится такой огромной, что один конец ее свисает в Енисей, а другой — теряется где-то далеко, дальше Песчаной горки.



Станислав ЛИВИНСКИЙ

**«БЕЗ РАСТВОРА И ГЛИНЫ,
ПЕРА И БУМАГИ...»**

* * *

И солнце как солнце, и небо как небо,
и некому руку подать.

Ты скажешь: неплохо, хотя и нелепо,
банальна твоя благодать.

Но в этой бесхитростной, медленной жизни,
густеющей день ото дня,
есть некая тайна, надрежешь — и брызнет,
и нас обожжет без огня.

Как будто деревья на разных наречьях
о чем-то своем говорят.

И крот, не со зла огород изувечив,
уже перепрятал свой клад.

Пока в этом воздухе пахнет грозью
и резко пустеют дворы,
и ласточки сходят с ума над землею,
гоняя стада мошкары,

я сам с ними вместе схожу понемногу:
там — холодно, тут — горячо.

И лентой, как в песенке, вьется дорога.
А чем же ей виться еще?!

* * *

Как шумит перекресток и люди спешат,
и сменяются быстро картинки.
Как исходит слюной целой кузов солдат
и библикает шофер блондинке.

Черный выхлоп оставит угрюмый «Урал» —
никакого тебе романтизма.
Я когда-то и сам автомат обнимал
и строчил километрами письма.

То ли полупрозрачный на вид призывник,
то ли праздничный дембель на взводе.
А потом на гражданке полжизни тык-мык —
в таксопарке, на хлебозаводе.

Что ж ты, бедная память?! — из пули брелок
да истлевшая к черту парадка.
Сохранил и ее, сохранил все, что смог,
и занес поименно в тетрадку.

Но про армию — снова, когда выпивал,
доходя через раз до предела.
И дружок домогался: а ты убивал?
И я врал ему: было дело.

* * *

Трижды я или кто-то другой —
как писал сочинитель отпетый.
Бедный мальчик с подбитой губой,
чудо в перьях, кукушкино лето.

Не признаешься в этом себе.
Не найдешь подходящего слова.
Мы поедem на А и на Б,
и ничто под луною не ново...

Как эстрадная музыка сфер
зазывала тебя из шалмана,
или не выговаривал «р»
телефон на углу у фонтана.



Приподняться на локте, привстать
с койко-места, взглянуть незаметно.
Невеличка умеет летать,
хоть сама и не знает об этом.

Так смотри же, как прячут глаза
и любовь выпускают наружу,
как вишневый заброшенный сад
зарастает по самую душу,

как торопится солнце домой,
поджигая изнанку сюжета...
И пай-мальчик с подбитой губой
для чего-то запомнит все это.

Соринка

Я помню, как в восьмидесятом
году подрезали отца.
И мы в больницу вместе с братом
пришли прощаться. Два птенца
тряслись испуганно в сторонке,
а он в исподнее одет,
с дырой в боку, без селезенки...
Но выжил и судьбе в ответ
еще коптил семнадцать лет.

Две жизни: до и после, в сумме —
почти до пенсии доплыл.
Он со второго раза умер,
хотя еще не старым был.

Я помню все, что с нами было.
Как я в душе твердил «прости»
у свежерытой могилы,
не зная, как себя вести.

Как опрокинулась картинка,
и я взглянул в последний раз,
и сделал вид, что мне соринка...
соринка мне попала в глаз.

* * *

Узнай меня по шепоту шагов.
Вино с водой. Вкушающие тело.
Открой мне двери, ложе приготовь,
не говори, что жизнь осточертела.

Смотри, как загорается глагол.
Ну что еще скажу я в этой роли?!
Что ангел с неба вдруг ко мне сошел,
что чист лицом, но сросшиеся брови.

Что этот свет, нездешний, от окна,
нащупывает брошенные вещи.
Вернусь ли я, очнувшись ото сна,
с того на этот, словно перебежчик?

Вернусь ли я? В каком таком году?
Цветы цветов, трагическая завязь.
Не спрашивай, что я имел в виду.
Мне кажется, мы просто заигрались.

Я, словно в детстве, выйду из игры,
но это уж совсем другая сказка.
И предо мною встанет царь горы,
пропахший мирозданием и краской.

* * *

Здесь трава сухого цвета,
там два дерева срослись.
Повернешь и так и этак —
не поймешь, где верх, где низ.

Только видишь — снова осень
в суете своих сует.
Бестолковый ветер носит
целлофановый пакет.

Перевернуты скамейки,
громко хлопают зонты...
А в душе свои лазейки
и подземные ходы.



Сумка

Ремень потертый, с виду — крепкий,
собачка молнии со скрепкой,
приятный цвет морской волны.
Я в ней сдавал пустую тару,
возил кота к ветеринару.
Я с ней объехал полстраны.

Она, как верная подружка,
была вокзальною подушкой,
на полке в камере ждала.
Жила своим багажным веком,
а родилась бы человеком —
давно б на пенсии была.

Была б давно... Но ей безумно
не повезло родиться сумкой.
— И чо?..
— Да, в общем-то, ничо.
Живем как будто под диктовку.
Мне через час в командировку,
а ей — оттягивать плечо.

* * *

Молча вдали от столицы
сходишь по трапу с ума.
Площадь вождя, психбольница,
кладбище, церковь, тюрьма.

Раковый корпус завода,
тронутый ржавчиной весь,
но философское что-то
в этом решительно есть.

Шляешься, словно бездельник,
и, подпирая закат,
смотришь, как трубы котельной
делают вид, что дымят.

Пялишься в щелку забора,
с ним ощущая родство.
Как же назвать этот город,
чтоб не обидеть кого?!

Чтоб, отойдя от сюжета,
перемешать времена
и безучастным предметам
новые дать имена.

* * *

Венки и свечи — все по правилам.
Отпели, предали земле
и во дворе столы составили —
как будто свадьба — буквой «П».

Всего и слов-то, что старухою
безвредной, в общем-то, была.
Кто чем закусывал-занюхивал,
считай, из общего котла.

Как говорят в подобных случаях,
пусть будет пухом ей земля.
Не упрощай и не накручивай —
не начинать же все с нуля?!

Хоть мы и не читали Библию
и не умели жить и ждать —
налили с горкой, молча выпили... —
и все, и сразу благодать,

как будто солнышко за тучами.
И смерти нет, и страх исчез.
И ты, нарзанами измученный,
со всеми целоваться лез.

* * *

Без раствора и глины, пера и бумаги,
но сработал на совесть творец-самоучка.
По колено сугробы, березы в овраге,
и по снегу несутся смешные собаки,
назовем их по-нашенски: Бельчик и Жучка.

Или скажем — весна, оживление в парке.
Ты один у окна, как заложник простуды,
наблюдаешь за тем, как попрятались в арке
от дождя проливного и звери, и люди.

И курчавые мальчики, словно амурь,
только меткие стрелы у них на присосках.
И чем ближе конец, тем длинней перекуры,
неразборчивей речь и сильней отголоски.

Игорь КОЖУХОВ

ДЕДОВА ПРАВДА

Р а с с к а з

Вовка ехал к деду. Семидесятипятилетний Иван Демьяныч жил на одном из островов озера Чаны. В начале прошлого века прадедов переселили из Центральной России в эти места, где они и обжились. Именно здесь, вдалеке от цивилизации, жил Дунай Иван Демьяныч.

Ехал Вовка на день рождения. Прожорливое время, как говорил старик, съело его дни быстро и безвозвратно. Он не поддался на уговоры детей переехать в город, считая его какой-то бедой, где люди мечутся, не зная места. А он это место знает, на этом месте его дом, здесь он живет и работает. И вот теперь Иван Демьяныч вдруг написал письмо, в котором просил сына приехать в гости на скромное торжество. Но сын, врач по профессии, приехать не мог, поэтому к деду поехал внук.

Сам Вовка, двадцатилетний студент педагогического института, по деду скучал, поэтому раз, а то и два в год бывал у него. В детстве ему было интересно наблюдать за работой деда и его друзей-рыбаков, ловящих и потом сортирующих рыбу, или гонять по камышам на старой долбленке диких уток с утятами, а по вечерам слушать рыбацкий «треп», как говорила жившая тогда еще бабка. Треп был интересный, за рыбацкую трудную жисть, со всякими отступлениями о великих пойманных рыбах, о красивых русалках со щучьими хвостами и женскими грудями, зовущих рыбаков в камыши. Сказок и прибауток дед знал великое множество, и Вовка не мог понять, как же он никогда не повторяется, часами рассказывая их. А бабка, посмеиваясь над его удивлением, говорила, что хитрец сочиняет их сам. Но очень уж красиво и живо старик все описывал, как по правде, потому Вовка верил деду.

А год назад умерла бабушка Галя, или, как ее звал дед, Галка-птичка. Иван Демьяныч так распереживался после ее смерти и похорон, что сам чуть Богу душу не отдал. Вовка почти все лето провел со стариком, обросшим и потеряннным, ходил за ним по пятам — и теперь уже по-взрослому понял и зауважал этого жесткого, но по-своему доброго и хорошего человека. Поездке он обрадовался и по поводу дедова праздника решил пода-

рить ему свой CD-проигрыватель, устаревший для него, но наверняка диковинный для деда, и несколько неплохих, на его взгляд, видеофильмов.

Поездка в эти места была утомительна. Неблагонадежных в годы репрессий засылали сюда почти на верную погибель. Если еще учесть, что ехали со всем скарбом, с малыми детьми, на голодных, почти пропащих лошадях и, что самое главное, неизвестно куда, то тот факт, что они тут выжили и обжились — чудо.

На поезде Вовка добрался до областного города, затем на юрком пазике до бывшего центрального совхоза, а уж затем, на перекладных, через полуразрушенную дамбу на огромный, гектаров в двести, остров, где стояла дедова деревушка.

Деревня находилась в самом конце идущего на заужение острова, поэтому была в две улицы. Между улицами — магазин, небольшой старый клуб времен Хрущёва и семилетняя школа. С обеих сторон деревни расползлись огороды, в основном под картофель, и сразу через камыши — озеро Чаны. В конце деревни, на взгорочке, вставало вдруг кладбище, небольшое, огороженное прогнившим штакетником, с незакрывающимися, наклонившимися на обвисших столбах воротами. И именно здесь, неподалеку от этого совсем не радостного места, стоял еще добротный, построенный при последних коммунистах Дунаев форпост.

Вовка почти вбежал в знакомый дом.

Дед сидел на корточках у печки, а изба была полна синего, с пролесами, дыма. Увидев Вовку, Иван Демьяныч, как бы продолжая начатый разговор, стал объяснять:

— Тяги нет! Скоро холода. Думаю, зольники прочищу да испытаю, язвы ее... А она вовнутрь топится, будто трубы нет, — и, встав, с лукавой улыбкой обнял Вовку. — Уважил, внук, ну уважил старика на старости лет...

Вовка, нисколько не стесняясь, тоже крепко обнял пахнущего дымом и зольной горечью деда.

Вечером, напарившись в баньке, маленькой из-за отсутствия на острове вволю дров, но горячей, Вовка и Иван Демьяныч сидели за столом. Вовка рассказал все, какие знал, новости и вспомнил о CD-плеере.

— Дед, а давай я тебе кино хорошее включу! Красивое, про жизнь и любовь!

— Русское? — Тот, чуть-чуть хмельной, прищурил левый, с хитринкой, глаз.

— Нет. Но дублированный, как русский.

— А кто главный?

Дед имел в виду — кто в главной роли, и, поняв это, Вовка прочитал аннотацию:

— «Джек Николсон, один из самых скандальных актеров Голливуда. Желтая пресса приписывает ему сексуальные отношения с двумя тысячами женщин. Много семейных пар распалось из-за любви к актеру...» — Вовка не закончил.

— Каво ты сказал? — С благопристойного лица сошла ироничная улыбка, и дед приподнялся на кулаках над столом. — Сколько женщин? Я не ослышался по слабости слуха? Две тысячи?! — Старик осел. — Он что — конь, этот твой Николс? И кто у него со свечкой стоял, считая?

Дед смял рукой скатерку и в упор смотрел на внука. Вовка растерянно молчал.

— Был у нас в совхозе жеребец, медалист. Ему особых жеребух, молодых кобылок приводили. Дак тому-то что — стой, жри комбикорм, пей подслащенную водичку да жди! Подведут, ткнут носом, еще и подержат. Делай дела! А здесь же — женщины, не кобылы, как их может быть две тысячи?! С ними же пожить надо, узнать, полюбить. Ей же одной все огороды перетопчешь, цветы таская... Из-за нее морду тебе раз пять, а то и десять разобьют ухажеры ее... и ты им тоже. И пока она поймет, что не просто к ней, пока поймет, решится на шаг... Это сколько же ему лет, двести, что ли, Жеку твоему?

Вовка был обескуражен дедовым напором.

— Да ты не понял, у них все проще, там не надо шибко ухаживать, цветы дарить... Просто пробежала искра — и все... и это... в постель... — Вовка запутался, покраснел и замолчал.

— Не надо, говоришь? Значит, и впрямь, как у коней? А ты знаешь, что одной кобылке, Ивой звали ее, не понравился наш жеребец. Так она ни в какую! А он, в охоте, возьми да прикуси ее за холку. Только тут она изловчилась и так ему дала задними копытами, что отлетел наш производитель! И больше не подошел к ней. А ты говоришь — ухаживать не надо... У меня в жизни было три бабы. С двумя так намучился, столько крови пролил и зубов потерял, что, если бы не твоя бабка, птичка моя, погиб бы молодым. А она полюбила меня... и я ее. Полюбила и ждала из армии пять лет. И как в пятьдесят восьмом поженились, так и прожили вместе больше полувека. А ты говоришь — без любви, просто так... Гадство! — И дед сухо плюнул в сторону.

Пять минут стояла звонкая тишина. Дед налил полрюмки самогона, выпил, заел захрустевшим во рту огурцом и снова заговорил:

— А где он здоровье на них берет, скажи мне? На них ведь тоже здоровья надо немало. И спроси у него, сможет ли он машину дров за день изрубить, которую мне Гришаня, сосед, с Большой земли привез? Спроси! — И, убеждая Вовку, что не сможет, старик засмеялся. — А я за световой день ее сделаю, всю, до последней чурочки. И комельки подберу... И не лыбься! Завтра и начну! Посмотрим на силу, ихнюю и нашу... А то сказать-то можно всякое, а ответить за слова — вот что трудно.

Дед встал, чуть качнувшись, и, пожелав спокойной ночи, ушел в горницу.

Вовка еще посидел чуток, улыбаясь дедовому возмущению, и тоже засобирался спать. Завтра к обеду нужно быть в райцентре, чтобы к понедельнику — в институте.

Утром его разбудил дед.

— Вовка, болею что-то шибко сегодня с похмела. То ли самогон не удался...

Вовка открыл глаза. Напротив на кровати сидел его предок в старых китайских, с завязками, кальсонах, лохматый, с жалким лицом, обросшим за ночь седой щетиной.

— Так похмелись.

— Нет, отлежусь. Только ты это... давай спор перенесем на послезавтра, а?

— Какой спор?

— Про дрова. — И дед вытер дрожащей рукой слезящиеся глаза.

— Ты что, серьезно? Перестань! Через неделю приеду на выходных с другом — и переколем.

— А-а... ну ладно. — И Иван, облегченно вздохнув, лег лицом к стене и подогнул ноги.

Через час Вовка, попрощавшись с лежавшим дедом, уехал в город.

* * *

В понедельник вечером в квартире Вовкиных родителей зазвонил телефон. Мать, поговорив минут пять, крикнула сыну, чтобы он взял параллельный.

Взяв трубку, Вовка услышал деда:

— Слышь, внук, доколот я дрова. Сам доколот. За день, как и спорили. Так что позвони своему Жеку и скажи, что конем многие быть могут. Надо еще уметь быть мужиком... а этого-то он и не умеет. Так-то!

И дед положил трубку.



Олег ГОРШКОВ

ХЛЕБ ТИШИНЫ НАСУЩНОЙ

Стансы к августу

Привязываюсь к жизни все сильнее,
все сумасбродней, все непоправимей.
Блаженный август, что-нибудь соври мне
о сне легчайшем в миг прощанья с ней.
Хлеб тишины насущной все черствей,
и сумерки теснее в топком танце.
И все темнее лиственные стансы
в прерывистом дыхании ветвей.

И что с того? — хоть сколь-нибудь соври...
Цветет болиголов, пьянит цикута —
веди к ним, август, пастырь мой, покуда
ольшаники поют и пустыри.
Как зыбок под ногами шар земной,
где прах времен пророс травой сорной,
где с каждым вдохом вязкие просторы
все легче спутать с близкой западной.

И допоздна исчезнув в толчее
пожизненного душевного шанхая
своих сомнений, правду выдыхаешь:
не оправдаться — нечем и ничем.
И тут же правишь: значит, ни к чему —
чем ближе Бог, тем неисповедимей
пути и правды. Легион — им имя.
Их русла наполняют Леты тьму.

И августу по темным руслам трав
вот так же течь и становиться гуще,
пока он имя, запахи и сущность

не исчерпает, в осени пропав
и все-таки себя продолжив в ней.
И осень так сама впадает в зиму.
Так приблизишься к своей неумолимой,
незыблемой последней тишине...

Питерское

Здесь пришлый я, здесь вечер желт и желчен,
с усталым, воскового цвета ликом.
В слепых дворах, как в раковинах жемчуг,
как на погостах сонных землянику,
взрастило время свой туманный город,
в котором не сыскать покоя ветру.
Здесь первый встречный мне без разговора,
в глаза взглянув, протянет сигарету.
И мы закурим, ежась от прохлады,
смешав два едких дыма ожиданья,
и зыбкой болью тронет анфилады
заброшенных дворов, щербатых зданий.
И я пойму, я вспомню, что не вовсе,
не вовсе чужд был этой из-под спуда
сквозящей боли. Сыворотку вёсен,
ночей животворящие простуды
по вдоху, по глотку цежу, по капле,
заслушавшись дождя глухою гаммой.
И, видит Бог, один бы был — заплакал.
Конечно же, от дыма... Пусть богами
ручаться, знаю, гибельное дело,
но в этой нервной музыке есть что-то,
что даже нашим слухом неумелым
расслышать можно. Чуткое болото
качнется под мощеным переулком,
ведя меня по выступившей жиже
туда, где всадник, спетый медью гулкой,
взнуздal коня. И я тогда увижу,
как на Сенатской, погруженной в глянecь
непрочного небесного нефрита,
кругами бродит хмурый итальянец,
ворча на грубость камня: «Нон-финито».
И снова дождь, и музыка, и что-то
в ней чуждое мишурным переменам,
и вновь вода слой свежей позолоты
смывает напрочь, чтоб дышалось стенам...

* * *

С отчаяньем последних бунтарей
из всех прорех небесного ковчега
сквозит, сквозит, кромсая свет, борей.
Был человек — не стало человека.
Ты галочку поставишь, не застав
кого-то, кто в забытом захолустье
знал бормотанья ветра наизусть и
озябшим горлом пробовал состав
бессвязной этой речи — череду
фонем, лакун, глаголов, отрицаний,
заговорить пытаюсь черноту,
гремящую навстречу. Но лица не
закроешь, не упрячешь от нее.
И чье-то место в сквере, под листвою,
что треплет ветер, тут же пустотою
затянется. И нитями тенёт
рачительный вселенский арахнид
вновь примется латать худые сферы.
Вчерашний воздух даже хоронить
не требуется вовсе. Веры, веры! —
почуяв человеческое вдруг
в самом себе, заладит ветер, роя
кромешный свет с летучей мошкарою,
очерчивая свой бессчетный круг:
больничный сквер, часовня и погост,
и присный рай у пристани рыбацкой,
где тихий постоялец, грустный гость,
борею доверяя все по-братски,
рассказывал себя. В какую тьму
сметен он в одночасье? — нет ответа.
И даже вездесущий ветер этот,
и он не сторож брату своему...



ДРАМАТУРГИЯ

Серафима ОРЛОВА

ДЕРЕВО БЕЗ ЦВЕТОВ

Постсоветская пьеса

Действующие лица:

Володя Сергунов, первокурсник, 17 лет.

Олеся Ильсеньева (Леся), школьница, двоюродная сестра Володи, 15 лет.

Женька Каширин, первокурсник, друг Володи, 17 лет.

Настя Белодедова, третьекурсница, 20 лет.

Захарцев Олег Петрович, и. о. декана истфака, 40 лет.

Валентина Ивановна Белодедова (Ивановна), замдекана истфака, мать Насти, 45 лет.

Тетя Ира, учительница истории, мать Леси, 43 года.

Дина, секретарь деканата.

Голос Сергунова - старшего.

Голос женщины.

Голос мальчика.

Голос девочки.

Охранник.

Студенты.

Прохожие.

Время действия — начало XXI в., место действия — город на юге Сибири.

ПРОЛОГ

На полу в круге света стоит магнитофон. Обычный черный портативный магнитофон с выдвинутой до отказа радиоантенной. Чем ярче свет, тем яснее слышно радио: хрипы, свисты, помехи, сквозь белый шум прорываются обрывки фраз.

Голос мальчика. Папа, когда ты вернешься?

Женский голос. Он номер сменил.

Голос Сергунова - старшего. Есть момент, когда история еще не началась.

Женский голос. Я запрещаю тебе ему звонить.

Голос Сергунова - старшего. Времени мало, я улетаю в командировку. Куда? Вам и не снилось...

Голос мальчика. Папа, папа, алло!

Голос девочки. А дяди Васи нет дома. Хочешь, я расскажу тебе сказку?

Голос мальчика. У меня только пять минут...

Голос девочки. Я начну, а в следующий раз дорасскажу. Ты еще позвонишь?

Голос мальчика. Мне нельзя сюда звонить.

Голос Сергунова - старшего. До начала истории нет ни правых, ни виноватых. Нет войн. Нет искусства. Есть желание выжить. И тоска по красоте.

Голос Захарцева. Разве ты не получил все, что хотел?

Голос Сергунова - старшего. Наоборот, я от всего отказался.

Голос Захарцева. Ты не считаешь, что это предательство?

Женский голос. Зачем тебе знать историю?

Голос Володи Сергунова. Потому что я хочу знать причину всего.

Голос Сергунова - старшего. Пять минут в запасе, потом я пойду.

Кто-то с шумом бежит в темноте по авансцене. Два человека с дорожными сумками на долю секунды появляются в пятне света. Один из них подхватывает магнитофон. Убегают. Помехи перекрывает шум колес поезда. Слышно вокзальное объявление: «Поезд 389Е Новый Уренгой — Челябинск прибывает на второй путь. Посадка осуществляется через тоннель. Нумерация вагонов начинается с головы состава».

1. БУМАГА

Летний день клонится к вечеру. Желтые квадраты оконного света легли на мраморный пол вестибюля института. Охранник почти дремлет за столом. Мимо него проходят студенты, преподаватели, торопятся домой. Поток редет, наступает тишина. Вдруг входная дверь открывается, на пороге — двое парней с дорожными сумками: это Володя и Женька. Володя чуть повыше ростом, Женька в очках, живой и подвижный. Оба, не обращая внимания на охранника, проходят вперед.

Охранник. Куда с сумками?

Женька. А это не общага?

Володя. Мы только с поезда...

Охранник. Общага — девятнадцать «а».

Женька. Нет там «а».

Охранник. Выйди — забор обогни и направо.

Женька. Как все сложно. Спасибо! (Володе.) Че, потащились...

Володя. Да погоди ты. *(Опустив сумку на пол, приближается к стенду, рассматривает фотографии.)*

Женька. Почему столько Японии? Какие-то дни японской культуры, что ли, у них? *(Помедлив, тоже ставит сумку на пол и подходит вслед за Володей к стенду.)*

Володя. Я и не знал, что он успел побывать в Японии...

Женька. Ах, блин, это отца твоего? Я не понял...

Володя *(вглядевшись, читает хокку под картинкой)*.

Не из обычных людей
 Тот, кого манит
 Дерево без цветов.

Женька. Да... Восток — дело тонкое... Слушай, прости, я правда не понял...

Володя. Смотри, это тетя дала. Из семейного архива. Первый курс...

Женька. Такие взрослые... Может, вообще все люди тогда старше выглядели?

Володя. Это из-за усов. Отец всегда усы носил. И шапку эту мохнатую, помню ее. Наверное, с первого курса в ней и ходит... *(Осекся.)* Ходил.

Женька. А рядом — это кто?

Володя. Фиг знает. Друг какой-то.

Женька. А девушка?

Володя. Тетя Ира, скорей всего. Раз папа на первом, она, значит, уже была на третьем...

Охранник. Вы че там застряли?

Женька. Щас-щас! Уже идем! *(Володе.)* Пошли, нам еще коменданта искать.

Володя *(не двигаясь с места, продолжает смотреть на фотографию)*. Полтора месяца прошло уже... Я не смог на похороны приехать — ЕГЭ сдавал.

Входят Захарцев, Настя и Ивановна. Захарцев в рубашке и брюках, пиджак перекинут через руку, в другой руке — портфель. В очках, растрепанный, весь похож на сердитую, взъерошенную птицу. Ивановна — сухая тетка, одета строго. Также в очках. И пиджак через руку — в точности как у Захарцева. Настя — высокая девушка в белой футболке не по размеру, на которой логотип с надписью «Приемная комиссия». Футболка такая длинная, что почти скрывает шорты. Ноги у Насти очень изящные, Володя и Женька уставились на них и почти не обращают внимания на то, что говорят Захарцев и Ивановна.

Захарцев. Понимаете, Валентина Ивановна? Сейчас все только и будут говорить — при Сергунове не так было, Сергунов бы не так посту-



пил... А я что могу — если мне приказ сверху? Интересно, как бы Вася против министерства пошел? Липовые журнальчики бы сдавали?

Ивановна. Да, Олег Петрович. Прекрасно понимаю.

Захарцев. Невозможно каждый шаг контролировать, а то надорвешься. Но все равно приходится постоянно подгонять, объяснять, разъясивать, как будто все кругом непроходимо тупые и не понимают своих прямых обязанностей... *(Резко останавливается, смотрит на стенды выставки.)* Это еще что? Я вас спрашиваю — это что?

Настя. Вы ходите мимо полтора месяца и только сейчас увидели?

Захарцев *(Ивановне)*. Вот! Вот! Видите! Сейчас еще придется с любимчиками сражаться. На пустом месте задирается. *(Насте.)* Послушайте-ка, госпожа Анастасия Белодедова! Ваш сарказм — как подштанники на заборе. Глупо и совершенно не к месту. Я сам подал студсовету идею этой выставки. Я даже фотографию из своих архивов дал. *(Тычет пальцем в черно-белое фото, где изображены первокурсник Сергунов и тетя Ира. Теперь понятно, что друг Сергунова — это молодой Захарцев.)* И да — я уже давно хожу мимо и думаю: снимут ли через неделю, через две недели, не вечно же слезы лить! Перед сессией прошел конкурс плакатов на социальные темы, где результаты, где победители? Почему до сих пор не повесили? Доску почета почему не вернули?

Настя. Хорошо, я дам распоряжение...

Захарцев. Ах, она даст распоряжение! Госпожа Белодедова, давайте так: чем меньше людей мы задействуем — тем быстрее справимся с задачей. Картины снимать — не мешки ворочать. Зачем нам еще кто-то? Вы же здесь? Здесь. Выставки курировать — ваша обязанность? Вот и славно. Методический кабинет открыт, снимите все сами, своими ручками, и отнесите туда. *(Ивановне.)* Извините, что я при вас так вашу дочь воспитываю. Но невозможно же уже терпеть. Совершенно распустились при Сергунове.

Ивановна *(с холодком в голосе)*. Пожалуй.

Захарцев. Не отлынивать! Завтра проверю.

Настя. Я же в приемной комиссии...

Захарцев. В комиссии не вы одна, справятся пока и без вас.

Стремительно идет к выходу, хлопает дверью, Ивановна выскальзывает следом. Настя начинает снимать фото со стендов. Володя и Женька переглядываются, подходят к Насте.

Володя. Привет, Настюха.

Настя. Привет-привет. А ты с какого курса? Не помню что-то...

Женька. Обижает. Пятый, конечно.

Володя. Да врет он. Абитура мы.

Настя. А-а. Много вас тут ходит, всех не упомнишь. *(Володе.)* Что, на истфак, что ли, поступаешь?

Володя. На истфак.

Настя. Ну и дурак.

Володя. Конечно. Не юрист, не экономист — дурак, кто же еще?

Настя. Да погоди обижаться. Если б сейчас деканом был Сергунов, я бы первая сказала — молодец, чувак! Истфак и ничего больше, даже не думай! Но теперь-то у нас... темные времена... *(Приобнимает их за плечи, чтобы они придвинулись поближе, говорит вполголоса.)*

Теперь деканом будет Захер...

Женька. За что?

Настя. Вот и я говорю: за что?

Володя. Захер?

Настя. Вот и я говорю: захер нам Захер?

Володя. Злобный?

Настя. Не то слово. Да вот, вы сами только что видели. Захарцев Олег Петрович. Характер злобный, местами самодур. Они ж были враги с Сергуновым, обалдел ректорат, кого ставит на место декана, все его ненавидят, старшекурсники против, половина преподав тоже...

Володя. А Сергунов хороший человек?

Настя. О мертвых плохо не говорят, но не поспоришь — классный дядька. Простой такой, в джинсах всегда... Не ставил из себя ничего, не корчил... *(Щурится, глядя на Володю.)* Что-то мне лицо твое знакомо...

Женька *(хочет обратить на себя внимание, берет со стойки газету, показывает)*. У вас и факультетская газета есть, круто! А в ней первокурсников печатают?

Настя. Журналистом быть хочешь? Забудь. Редактор — моя мамочка. Ты ее видел сейчас.

Женька. Ну так замолви за меня словечко...

Настя. Да зачем тебе эта дрянь? *(Забирает у него газету.)* Бурда официозная.

Володя. Здорово. Столько всего узнали — и про себя, и про преподав, и про газету... а подошли вообще не за этим.

Настя *(иронически)*. А зачем? Телефончик попросить?

Володя *(подыгрывая)*. Лучше фоточку на память. *(Пауза.)* Но не твою. С выставки.

Настя. С выставки не дам. Это собственность факультета.

Володя. Ничего, факультет не осудит. Скажешь, сыну отдала.

Настя. Какому сыну?

Володя. Сергунов моя фамилия.

Настя *(не сразу, изумленно)*. То-то я гляжу, брови какие-то знакомые, и рот... Но у него же не было детей! Он жил с сестрой и племянницей, я точно знаю...

Володя. Родители развелись, когда я мелкий был. Отец сразу уехал, мы и не общались совсем.

Н а с т я. Да-а... Дела... Раз так, бери, конечно...

Володя забирает фотографию, где втроем стоят Сергунов,
Захарцев и тетя Ира.

Ж е н ь к а. Ну, мы пошли! Чао, бамбино!

Н а с т я. Счастливенько. *(Провожает взглядом Володю.)*

Володя и Женька выходят на высокое крыльцо.

В о л о д я. Странно.

Ж е н ь к а. И правда, странно. Странно ты себя ведешь.

В о л о д я. Я?!

Ж е н ь к а. Чего не взял телефончик?

В о л о д я. Задумался.

Ж е н ь к а. О чем ты только думал? Я как на эти ножки глянул — вообще про все забыл.

В о л о д я. Ножки ничего, меня другое заинтересовало.

Ж е н ь к а. «Другое» тоже ничего себе.

В о л о д я. Да заткнись! Откуда она знает, что отец не был женат?

Ж е н ь к а. Откуда? Не смейся меня. Они, наверное, знают даже, что он ел на завтрак и ужин. А ты что хочешь, бабье царство, гуманитарный корпус... Вот поступим — будем как козлы в огороде!

В о л о д я. Я что-то беспокоюсь, не был ли папа таким же веселым козликком...

Ж е н ь к а. Может, и был. А может, и не был. Чего прошлое ворошить?

Они идут по зеленым переулкам, проходят насквозь большие зеленые дворы, движутся мимо облупленных пятиэтажек, залитых вечерним солнцем, которое скрашивает бедность, старость, а выгоревшую краску превращает в произведение искусства. Окна по летнему времени открыты, на балконах сохнет белье, откуда-то слышатся слабые звуки фортепиано, постепенно они все громче и отчетливее. Становится ясно, что это не запись: невидимый исполнитель то начинает и обрывает музыкальную композицию, то берет несколько аккордов, то пробегает пальцами хроматическую гамму...

В о л о д я. Блин, и тут забор. Хренов джиписэс...

Ж е н ь к а. Слушай, мы уже полчаса шаримся. Может, общага не девятнадцать «а»? *(Смотрит в телефон, пытается определить положение.)*

В о л о д я. Мы, наверное, сильно вправо забрали. *(Остановливается.)* Видишь номер дома?

Ж е н ь к а. Не. Тут, по-моему, все номера перепутаны. *(Присматривается.)* А зато вижу, что там на дереве кто-то сидит.

В о л о д я. Где?

Женька показывает пальцем.

Володя. Опа... *(Замирает, пытаюсь понять, не обознался ли.)*
 Хм... Она, не она... Не могу понять... Леся! Леська!

Леся *(высунувшись из ветвей)*. Тихо! Тсс!

Володя *(счастливо)*. Ну ты не узнала меня, что ли?

Леся. Володька-а-а-а!.. *(Спрыгивает с дерева, бросается ему на шею, хохочет. Володя вертится, пытается стряхнуть ее.)*

Володя. Ну хорош, хорош, слезай! *(Со смехом.)* Слезай, говорю, тяжелая! Тебе ж не десять лет!

Леся. Пятнадцать!

Женька. А на вид так все восемнадцать.

Володя *(стучит пальцем Лесе по лбу)*. Дури много для восемнадцати.

Леся. И ничего это не дурь! Ты думаешь, я просто так, а я музыку слушаю.

Женька. А зачем на дереве?

Леся. Так лучше слышно.

Володя. Музыку можно и дома послушать.

Леся. Можно. Но тут особый случай. Знаешь, я раньше, сколько ходила по этой улице, и не слышала, чтоб кто-то играл. Я тут рядом живу, вы же к нам шли?

Володя *(замявшись)*. Ну, я думал заглянуть.

Леся. Сейчас пойдем. Вот, так о чем я... А полтора месяца назад мне было очень плохо... Ну, понимаешь сам, несколько дней после похорон... *(Пауза.)* И я иду тут вечером, слышу — играют. Вроде ничего особенного. Но меня зацепило почему-то... Стояла и слушала. На следующий день иду — тишина. Несколько раз походила — тишина. А вот недавно опять, и сегодня... Я пытаюсь с дерева высмотреть, кто это, но шторы задернуты.

Володя. Наверное, какая-нибудь училка музыки.

Женька. Ага. На пенсии, скучает.

Леся. Да без разницы, кто. Я так хочу спасибо сказать, а некому.

Володя. Высчитай квартиру по окнам и позвони в дверь.

Леся. Я пробовала, никто не открывает.

Володя. Тогда письмо напиши. Бумажное.

Леся. А это мысль... Слушайте, как мы удачно встретились! Тут же всего несколько кварталов — и вот он, наш дом.

Володя. А общага знаешь, где?

Леся. Общага вон там. *(Показывает на соседнюю многоэтажку. Смотрит на Володю, понурившись.)* Ты что, не будешь жить с нами?

Володя. Я не хочу вас стеснять.

Женька. Детка, ты не понимаешь! Жизнь в общаге — это же благо для человека. Друзья, вечеринки...

Леся. Угу... Пьянки-гулянки... *(Володе, обиженно.)* Ты лучше с ним в общаге жить будешь, чем с нами дома? Променял нас с тетей Ирой на какого-то очкарика... *(Женьке.)* Ты кто такой? Откуда взялся?



Володя. Это мой друг, мы вместе приехали поступать.

Женька. Евгений Каширин. Очень приятно. *(Протягивает руку.)*

Леся *(не берет руку Женьки. Грустно, Володе)*. Мама... то есть тетя Ира очень тебя ждет. Она вещи хотела передать кое-какие. Ей одиноко... как дяди Васи не стало...

Володя. Вещи я и так возьму, я же все равно собирался сегодня в гости прийти. Вот только сумку кину — и сразу приду. Ну, обезьянка, не расстраивайся.

Хочет погладить Лесю по голове, но Леся увертывается. Отворачивается и, скрестив руки на груди, стоит к ним спиной. Володя трогает за плечо, она дергает плечом, дуется.

Володя *(хмыкнув)*. Ха! Ну, вот что с ней делать? Жека! Может, пошли к ним, а? В общагу успеем до вечера.

Женька. Протянем, опоздаем, потом придется на улице спать...

Володя. Зачем на улице? Тетя Ира к себе пустит.

Леся *(возмущенно)*. Э! На него мы не договаривались!

Володя. Места всем хватит. Не хватит — я себе на полу постелю.

Леся. Для тебя уже комната дяди Васи готова.

Володя. Мне там, наверное, будет неудобно.

Леся. Да ты ее даже не видел!

Володя. Все-таки... Только полтора месяца прошло...

Леся. Суеверный, что ли?

Володя. Как-то это неуважительно.

Леся. Он бы только обрадовался.

Женька. Я-то не суеверный, если что.

Володя. Тебе там спать необязательно.

Женька. Да оба на полу поспим, что ты переживаешь?

Володя. Ладно, пошли.

Уходят.

2. БУМАГА

Квартира Ильсеньевых. Комната, в которой когда-то жил старший Сергунов: по ее внешнему виду сразу понятно, что бывший хозяин — историк и увлечен Востоком: шкафы ломятся от научных сборников, на полках экспонаты личной коллекции — статуэтки и черепки, но немного, в остальном комната вполне аскетическая. На стенах висят маски, над кроватью — большая фотография: студенты и преподаватели на раскопках. Входят Володя, Женька, Леся и тетя Ира. Тетя у Володи маленького роста (Леся на нее здорово похожа), очень веселая, кудрявая, внешне — характерный типаж учительницы.

Володя. А можно Женьке тут сегодня остаться? А то в общежитие тащиться...

Леся. Мам! Скажи, что нельзя! *(Делает страшные глаза.)*

Тетя Ира. На полу могу постелить. *(Женьке.)* А ты не испугаешься тут спать?

Женька *(с восхищением рассматривая маски)*. Я сам испугаю кого хотите. Вон — она уже боится. *(Кивает в сторону Леси.)*

Леся. Ничего я не боюсь.

Женька. Это театр кабуки?

Тетя Ира. И он тоже. Некоторые Вася сам делал, другие настоящие. Угадаешь?

Володя. Сам делал? *(Снимает маску со стены, рассматривает.)*

Тетя Ира. Он вообще любил мастерить.

Володя. У нас дома его полки до сих пор висят. Но чтоб маски...

Тетя Ира. Он вечно с какими-то поделками возился. Я так жалею, что тебя мать к нам не отпускала...

Володя. Она принципиальная.

Тетя Ира. Гордая.

Володя подходит к фотографии, которая висит на стене.

Тетя Ира. Это позапрошлым летом, на раскопках. Его студенты.

Володя. Вот эту девчонку встретил сегодня. *(Показывает пальцем на Настю на фотографии. На фотокарточке Настя смеется, Сергунов-старший обнимает ее за плечи.)*

Тетя Ира. Она даже к нам в гости ходила. Нынешний третий курс, его любимцы. На похоронах рыдали хуже, чем я. *(Пауза.)* Сейчас не заглядывает что-то, стесняется... Настя ее зовут, кажется.

Володя. Угу.

Тетя Ира. По-моему, она была немножко влюблена в него.

Володя. Н-да?

Пока они рассматривают фотографию, Леся устроилась за письменным столом. Вытащила из ящика синий конверт и лист бумаги, корябает письмо. Женька вертится возле нее, заглядывает через плечо.

Женька. Давай пиши! *(Диктует.)* Да-ра-гой вир-ту-оз! Вы поразили мое воображение, и я вся... трепещу... ай! *(Увертывается, потому что Леся собралась его треснуть.)*

Леся. Мам! Пойдите чай попейте, а?!

Тетя Ира. А ты что там пишешь?

Леся. Подружке.

Женька. Ага. Интернеты-то у нас еще не изобрели. Почтовым голубем отправлять...

Л е с я. Мам, ну убери его!

В о л о д я. Теть Ира, пойдем, я еще потолковать хотел. С глазу на глаз. *(Идут все втроем на кухню.)*

Т е т я И р а. С глазу на глаз? А этому глазу можно? *(Показывает на Женьку.)*

В о л о д я. Да можно. Он сам видел. Тут какая-то история с фотографией. *(Вытаскивает из коридора дорожную сумку, вынимает оттуда фотографию с выставки.)* У тебя есть такая?

Т е т я И р а. Нет. Где ты взял?

В о л о д я. Я же говорю, я в корпусе был. А там выставка. Я и прикарманил. Мне эта Настя фотографию отдала.

Т е т я И р а. Ну, я догадываюсь, кто ее на выставку повесил. Грехи замаливает.

В о л о д я. Захарцев?

Т е т я И р а. Ну конечно. Это же он. Они с твоим папой однокурсники. Когда-то мы все втроем дружили.

В о л о д я. Потом раздружились?

Т е т я И р а. Потом я вышла замуж за военного, бросила аспирантуру и моталась по гарнизонам. Твой папа женился и уехал на Север. Деньги зарабатывать.

В о л о д я. Его надолго не хватило.

Т е т я И р а. Ну да, не выдержал. Сюда вернулся, его взяли преподавателем... Он сразу в гору пошел, он не мог без науки, твой отец. Есть такие люди.

В о л о д я. Ну ясно, призвание и всякое такое, дальше. Этот-то что?

Т е т я И р а. Захарцев? А ничего. Дружба врозь. Он карьерист... А руководство твоего отца больше выделяло. И командировки ему, и в Японию, и гранты, и то, и се. А потом вообще деканом выбрали. И все, совсем разругались.

В о л о д я. А теперь, значит, раскаивается.

Т е т я И р а. Внешне. А внутренне рад, наверняка. Теперь ему никто палки в колеса не ставит. *(Внимательно смотрит на Володю.)* А ты отца не прощаешь...

В о л о д я. Мама не прощает. А я... не знаю.

Т е т я И р а. Его все очень любили.

В о л о д я. А он... любил?

Т е т я И р а. Он нас очень любил. Меня и Леську. Студентов любил своих.

В о л о д я. Только не надо говорить, что он любил их, как отец.

3. ШОРОХ

Вестибюль гуманитарного корпуса, осеннее утро. Свет в окнах холодный, на улице пасмурно. Буфет работает, только что кончилась лекция, первокурсники толпятся у окошка. Володя и Женька пытаются форсировать очередь, но ничего не выходит, и они пристраиваются в хвост. К ним подходит Настя.

Настя. Здорово, перваки! Что, к посвящению-то готовы или как?

Володя. А чего там готовиться? Я видел, как филологи посвящались.

Женька. Ага, по всему корпусу бегали. Их подушками били, мукой посыпали...

Настя. Не дождетесь. Захер отменил эстафету.

Женька. Захер?

Настя. Затем, что это «грязный балаган».

Женька. А что же мы будем делать? Танцевать менуэт? *(Делает благостное лицо, исполняет несколько па.)*

Настя. Менуэт не менуэт, а номер готовьте для концерта.

Женька. Тогда хип-хоп. *(Танцует.)*

Настя. Лучше, если побольше народу будет задействовано. Вы же команда... типа.

Женька. Ну, я захвачу кого-нибудь в рабство.

Володя. Чего уставился? На меня не надейся.

Женька. Я его уломаю, только время нужно.

Настя. Время поджигает. Неделя осталась. Я думала — пока декана не утвердили, будут и с посвящением тянуть, а нет. Он уже расслабился. Не боится, что мы чего-нибудь вытворим...

Володя. Кто — мы?

Настя. Мы — старшие курсы.

Володя. А вы на самом деле что-то придумали?

Настя. Да, только это большой секрет. Но тебе могу сказать, как сыну...

Женька. А мне? А мне?! Как другу сына?!

Настя. Не, никакого блата. *(Отводит Володю в сторону.)* У нас остались записи лекций Сергунова...

Володя. Ага, и что?

Настя. На концерте в какой-то момент включится запись. Будет похоже, будто мы спрашиваем, а Василий Владимирович... ну, отвечает. Мы составили ответы из кусочков. *(Беспокойно смотрит на него.)* Если ты скажешь, что это кощунство, мы не будем...

Володя. Не, почему. Делайте. Хорошо придумали. Я не помню его голоса...

Настя. Понятно... *(Нервно улыгнувшись.)* А представь, как Захер обозлится! Он уже прочел вам первую лекцию?

Володя. Угу.



Н а с т я. И как тебе?..

В о л о д я. Ну, читает нормально. Только рывкает все время.

Н а с т я. Он на всех рывкает. Никого не уважает.

Ж е н ь к а (*не выдержав, подходит к ним*). А мальчишник будет?

Мне старшаки говорили...

Н а с т я. Мальчишник... Мальчишник тоже Сергунов изобрел.

Ж е н ь к а. Так что — не будет? Мне-то расписали, как это все круто, типа, собираются парни-первокурсники, истфак, филфак, весь гуманитарный корпус... Закрытая вечеринка, диджей, коктейли, девчонки самые отвязные...

Н а с т я. При Захере — держи карман шире. Никакого тебе мальчишника. Будем все строем ходить, как пионеры с барабанами.

В о л о д я. А тебе бы пошел пионерский галстук.

Н а с т я. Не думаю. Я не люблю ходить строем. (*Собирается уйти.*)

Ладно, давайте там креативьте, думайте, как себя представить.

Ж е н ь к а. Мы станцуем в пионерских галстуках.

Н а с т я. Не стоит. Разве что на вас будут только одни галстуки...

(*Подмигивает Володе, уходит.*)

Ж е н ь к а. Видал?! (*Володя хмыкает, пожимает плечами.*) Чувак, ты должен танцевать! Если тебя рядом нет, она на меня не смотрит даже...

В о л о д я. Брачные танцы — не мой профиль.

Ж е н ь к а. Если не умешь, так даже лучше! Я буду выгодней смотреться...

В о л о д я. Вот уж спасибо.

Ж е н ь к а. Шучу! Да соглашайся ты, я же вижу, она тебе нравится.

Это будет честное состязание.

В о л о д я. Ага, честное. Я танцевал последний раз в детском саду на утреннике.

Ж е н ь к а. Можешь надеть заячьи уши, если тебе так спокойнее.

Уходят.

4. ЦВЕТЫ

Ясный осенний день, бабье лето. Пыльный подъезд, фикусы в горшках, косые лучи солнца падают на лестницу, на стену с почтовыми ящиками. Над ящиками наклеено объявление: «Не мусорить». В подъезд заглядывает Л е с я, заходит и внимательно смотрит на ящики.

Л е с я. Открыто, повезло! Сорок пять... (*Засовывает синий конверт в почтовый ящик.*) Что бы еще такое сделать?

Леся убегает, возвращается с букетом последних осенних цветов. Пробует пристроить букет в почтовый ящик, но стебли распадаются, оказавшись в щели. В конце концов она решает просунуть пучок в петлю, на которой должен был висеть замок, и ей это почти удается, только один цветок еще надо протолкнуть — и получится прекрасная композиция. Но кто-то вошел в подъезд вслед за ней, некоторое время стоял за спиной незамеченным, а потом изо всех сил хлопнул по железной крышке прямо у Леси над головой.

Захарцев. Читать не умеем, значит? *(Тычет пальцем в табличку.)*

Леся. Это не мусор. Это цветы.

Захарцев. Цветы вон — в горшках. А это мусор. Засохнет через час.

Леся. Вам жалко, что ли? Это ваш ящик?

Захарцев. Мой.

Леся. Ой. Наверное, я ошиблась квартирой.

Захарцев. Уверен просто.

Леся. А скажите тогда, где живет пианист?

Захарцев. Какой пианист?

Леся. Не притворяйтесь. Он почти каждый вечер играет.

Захарцев. Ах, этот! Да какой он пианист — лабух.

Леся. Вы разбираетесь в музыке?

Захарцев. Просто у меня есть вкус. Который у тебя, видимо, отсутствует. *(Вытащил букет из петли, с презрением встряхнул.)* Забери, пожалуйста. Тут даже молочай.

Леся. А что? Молочай тоже растение. *(Протягивает руку к букету, но медлит.)* Почему вам не нравится эта музыка?

Захарцев. Спать мешает.

Леся. В восемь вечера спать ложитесь? *(Берет букет, смотрит выжидающе.)*

Захарцев. Я тебя не задерживаю.

Леся. Я вас тоже.

Захарцев. Ты здесь не живешь.

Леся. Почему вам знать, вы ж не общаетесь с соседями.

Захарцев. Нечего тут отираться.

Леся. Я уже неделю, как к этому дому хожу. Даже окно знаю, где играют. Жалко, шторы всегда задернуты. *(Отступает к входной двери.)* Я на дерево забираюсь, чтобы лучше слышно было.

Захарцев. Ты не пробовала, я не знаю, на концерты ходить? Плеер купить?

Леся. А на дереве бесплатно. *(Открывает подъездную дверь.)*

Захарцев. Забесплатно полиция с дерева снимет.

Леся. Вы скажите пианисту, чтоб он не грустил так. Музыка красивая, но очень грустная. *(Выходит из подъезда, дверь захлопывается.)*



5. ШОРОХ

Сцена актового зала гуманитарного корпуса. Полным ходом идет посвящение истфака. Шуточки ведущего, сценки, зажигательные танцевальные номера, песни... Перед сценой стоит стол с ноутбуком, звукооператор, тоже из студентов, быстро переключает треки. В какой-то момент группа танцоров прерывает выступление: один из них тормозит, выходит из рисунка танца, машет руками, чтобы другие остановились.

Первый старшекурсник. Пойдите, пойдите. Вот мы тут пляшем-пляшем, а я забыл спросить...

Второй старшекурсник. На место вернулся! Это еще что?

Первый старшекурсник. Я спросить хочу.

Второй старшекурсник (*в зал*). Он нам номер срывает!

Первый старшекурсник. Один маленький вопрос: а разрешение-то у нас есть?

Второй старшекурсник. Какое еще разрешение?!

Третий старшекурсник. Тихо, это прикол. Он притворяется, что память потерял. Для тех, кто в танке: у нас праздник. Посвящение первого курса.

Первый старшекурсник. А этот праздник не занесен в реестр запрещенных праздников?

Второй старшекурсник. Запретить посвящение? До такого даже наш деканат не додумался.

Третий старшекурсник. Тогда уж и вступительные экзамены давайте запретим.

Первый старшекурсник. Вы точно знаете, что все в порядке?

Третий старшекурсник. Ну хочешь, сейчас у руководства спросим. (*Задирает голову, кричит.*) Василий Владимирович!

Свет мигает, становится синим, таинственным.

Первый старшекурсник. Василий Владимирович!

Второй старшекурсник. Василий Владимирович!

Третий старшекурсник. Василий Владимирович, а мы спросить хотели...

Голос Сергунова-старшего (*запись лекции, слышны постукивания, переговоры студентов*). У кого какие вопросы — задавайте, пять минут в запасе!

Первый старшекурсник. Почему только пять?

Голос Сергунова-старшего. Времени мало, я улетаю в командировку. Куда? Вам и не снилось, куда.

Первый старшекурсник. Я знаю, давайте спросим, у кого какие отметки будут в эту сессию!

Второй старшекурсник. Зачем, мне и так все понятно. У меня по истории отечества точно пересдача будет.

Первый старшекурсник. Почему?

Второй старшекурсник. Потому что Василий Владимирович уже не сможет прочитать мне этот курс.

Третий старшекурсник. Василий Владимирович, вот вы улетаете, а как мы без вас-то будем? Что станет с факультетом?

Голос Сергунова - старшего. Вы знаете, этот вопрос я предлагаю перенести на следующий раз. Сами поймете почему, тема большая и неприятная... Как это — какая? Вы чем слушали, когда я диктовал? Смутное время будет. Народные волнения, супостаты на троне, в общем, вашим языком говоря, всякий треш.

Саркастический хохот зрителей.

В зале возле стола звукооператора внезапно появляется Захарцев.

Голос Сергунова - старшего. Мне тут вспомнилась одна восточная мудрость, да, да, я знаю, дурацкая, пошлая привычка — так завершать выступление, но вы уж мне простите эту привычку сегодня...

И тут запись обрывается. Захарцев оттолкнул старшекурсника, сидящего за нотбуком, выключил звук. Зал возмущен, студенты орут, свистят, топают ногами.

Володя, услышав, что голос отца стих, бежит к звукооператору.

Захарцев (*звукооператору*). Вы что творите? Посмотрел бы Сергунов на своих любимцев...

Звукооператор. Но это ж...

Захарцев. Просто шутка, хотите сказать? Это не шутка. Это надругательство над образом покойного.

Володя. Надругательство — это то, что вы сейчас сделали.

Они молчат, смотрят друг на друга.

Захарцев. Хорошо тебя обработали.

Володя. Отойдите от пульта.

Захарцев. Ты еще не понял, что тобой управляют?

Володя. Это наш праздник.

Захарцев. Пляски на костях? (*Уходит, отодвинув Володю плечом.*)

Володя (*звукооператору*). Врубай.

Старшекурсники в растерянности покидают сцену, звучит бравурная музыка, появляется Ведущий. На его лице некоторое замешательство, которое быстро проходит.

Ведущий. Ладно, все, что мы хотели — мы узнали, а чего не узнали — то всем и так понятно. (*Смешки в зале.*) Думаю, время первому курсу показать себя!

Женька высовывается из-за кулис: времени осталось всего чуть, а напарник где-то шляется. Володя взбирается прямо из зала на сцену; Женька, не выдержав, подбегает к нему.

Ж е н ь к а. Ты где был?!

Володя только отмахивается.

Звучит музыка ответного выступления первокурсников...

6. ДЕРЕВО

Осенний вечер, уже почти стемнело, фонарь возле подъезда загорелся, освещая облупленную дверь. Дерево с голыми ветвями темным силуэтом виднеется на фоне стены; в ветвях кто-то устроился. Во дворе лают собаки, пискнула сигнализация машины. Случайные звуки. Окно на втором этаже, там, где шторы задернуты, светится ярче других, будто разгорается, как фонарь. Наконец послышались слабые звуки фортепиано, но тут же стихают. За х а р ц е в раздергивает шторы, видит на дереве Л е с ю.

За х а р ц е в. Немедленно слезай оттуда. Я тебя предупреждал, уже звоню.

Л е с я. А вы мне наврали.

За х а р ц е в. Я звоню уже.

Л е с я. Пока они приедут, я десять раз успею слезть.

За х а р ц е в. Я скажу, что ко мне пытались влезть в окно. И приемы опишу.

Л е с я. Вы наврали мне. Зачем? Я хотела спасибо сказать за музыку.

За х а р ц е в. Это не музыка. Набор звуков. Играю, чтоб расслабиться. Сосредоточиться.

Л е с я. Как Шерлок Холмс. Я все фильмы смотрела.

За х а р ц е в. Лучше б книги читала.

Л е с я. Я читала.

За х а р ц е в. Те, кто читает книги, по деревьям не лазают.

Л е с я. Как раз наоборот: те, кто читает книги, не гоняют людей с деревьев почем зря.

За х а р ц е в. Ты нарушаешь личное пространство.

Л е с я. Так не видно ж ничего, шторы же задернуты.

За х а р ц е в. Убирайся. *(Захлопывает окно, задергивает шторы.)*

Л е с я. Фу, как невежливо. *(Хочет слезть, но почему-то ловкость ей изменяет, и она с шумом падает с дерева. Окно распахивается, опять высовывается Захарцев.)*

За х а р ц е в. Доигралась?!

Л е с я *(морщится)*. Ничего, забейте. Фссс...

Леся пытается подняться, шипит от боли. Окно опять захлопывается.

Л е с я. Сволочь.

Леся поднимается, ковыляет к скамейке. Распахивается дверь подъезда, выскакивает Захарцев. Помогает Лесе добраться до скамейки.

Леся. Чего это вы прискакали? Подумаешь, ж... ударила.

Захарцев. Выбирай слова. *(Усаживает на скамейку.)*

Леся. Как есть, так и говорю.

Захарцев *(пытаясь осмотреть ее ногу)*. Ничего не сломала? Ребра...

Леся *(шлепает его по руке)*. Все сломала! Все ребра в ж... сломала!

Захарцев. Ненавижу детей.

Леся. Я тоже.

Захарцев. Сколько тебе лет?

Леся. Вам зачем?

Захарцев. Пытаюсь понять, акселератка ты или просто дура.

Леся. Просто дура. Мне семнадцать.

Захарцев. Врешь.

Леся. Вам какое дело?

Захарцев. До дома-то дойдешь?

Леся. Доковыляю, не бойтесь.

Захарцев. У тебя с коленки кровь льется. Пойдем, хоть перебинтуешь.

Леся. Заманить к себе хотите?

Захарцев. Ты вроде сама рвалась.

Леся. Не дождетесь.

Захарцев. Не дури, пойдем.

Леся. А чаем напоите?

Захарцев. Да разве от тебя отвяжешься? Напою.

Уходят.

7. ДЕРЕВО БЕЗ ЦВЕТОВ

Квартира Захарцева. Мебель обычная и даже безликая, по ней нельзя сказать, чем занимается хозяин — разве что видно, что он очень аккуратен, до щепетильности. Глухие шкафы, стол, кресло, диван. Из общей тривиальной обстановки выбивается только фортепиано. Шторы задернуты, все залито желтым светом от люстры.

Леся. А можно пианино посмотреть?

Захарцев. Фортепиано. *(Ведет ее в комнату, сажает на диван и начинает искать в шкафу аптечку.)*

Леся. Вы только для себя играете, да?

Захарцев. Очень неуклюжий намек. Только для себя. *(Находит аптечку.)* Вообще-то ненавижу играть.

Леся *(растерянно)*. Да?



Захарцев. А ты представь. Пять лет музыкальной школы, меня туда чуть не палкой загоняли. Родители. Чтоб был культурным. Вот я и стал... культурным.

Леся. Зачем же вы играете, если вам так противно?

Захарцев. Условный рефлекс. Как только происходит в жизни что-то мерзкое, сразу хочется поиграть. Что смотришь? Шутка. Когда не из-под палки, мне, конечно, нравится музыка. Но все равно, не люблю, если слушают.

Леся. Я случайно...

Захарцев. И на дерево случайно залезла? *(Идет на кухню, возвращается с двумя чашками и чайником.)*

Леся. Нет, на дерево нарочно.

Захарцев. Да ты и свалилась нарочно.

Леся. Вы что думаете, мне себя не жалко?

Захарцев. Я думаю, что ты очень хитрая.

Леся. А вы не жадничайте. Не могут же люди затыкать уши, проходя мимо вашего дома. Вы письмо мое читали?

Захарцев. Читал. Зачем ты подписалась «Три икса»?

Леся. А зачем вам мое имя...

Захарцев. Чтоб я знал, кого благодарить... за внимание.

Леся. Вам же не нужно внимание. Или нужно? *(Пауза.)* А можно еще написать?

Захарцев. Ну напиши.

Леся. Нет, без «ну».

Захарцев. Пиши.

Леся. Буду писать. От трех иксов. А можно еще прийти?

Захарцев. Ну приходи.

Леся. Без «ну».

Захарцев. Липучка.

Леся. Не обзывайтесь.

Захарцев. Это кличка. Три икса — вульгарно, буду звать тебя Липучка.

Леся. Так еще вульгарней. Меня Леся зовут.

Захарцев *(едва сдерживая смех)*. А меня — Олег Петрович.

8. ШОРОХ

Крыльцо гуманитарного корпуса, серый день поздней осени. Холодно и промозгло, падает снег и кое-где забелил землю. Толпа перед корпусом, в основном третьекурсники. Шум, гам, кое-кто уже развернул плакаты, кое-кто ждет условного сигнала. Передают друг другу термос с горячим чаем. Настя рассказывает с мегафоном, греет дыханием замерзшие пальцы. Володя дает ей кружку с дымящимся чаем.

Володя. На, время пока есть.

Настя. Сейчас уже начинаем. (*Отхлебывает.*) Где Жека?

Володя. Побоялся, наверное.

Настя. Чего бояться? Ну вызовут в деканат, будут «воспитывать».

Не ходи, и все.

Володя. Может, и схожу, ради интереса.

Настя. Да поверещат и перестанут. Никто вас не исключит. (*Из корпуса доносится звонок.*) Пора.

Настя отдает в мегафон команды. Студенты строятся с плакатами перед корпусом, начинают выкрикивать лозунги. Настя, стоя над ними, на ступеньках, руководит. Володя рядом, держит термос. Плакаты — всякая мелочевка: «Верните мальчишник!», «Мы за свободное посещение лекций», «Против рейтингов», «И. о., Вам здесь не рады», а самый главный плакат вопрошает огромными буквами: «ЗАХЕР?». Какое-то время нет никаких помех, потом из корпуса выходит охранник, но, не вмешиваясь, встает в стороне. Появляется Захарцев в накинута пальто, делает знак охраннику, подходит к Насте.

Захарцев (*вполголоса, спокойно*). Мегафон отдай.

Настя. Не дам.

Захарцев неожиданно больно сжимает ей запястье, Настя вскрикивает, выпускает мегафон из руки, Захарцев его подхватывает. Толкает Настю в спину, так что она теряет равновесие, по инерции спускается на несколько ступенек, машет руками, чтобы не упасть.

Захарцев (*в мегафон*). А теперь послушали все! (*Студенты гневно гудят, поднимают плакаты, но Захарцев их перекрикивает хорошо поставленным преподавательским голосом.*) Вы что, в демократию решили поиграть? Так идите к пятому корпусу, там ректорат. Убедите ректора, что у вас плохой декан!

Голос из толпы. Ректор тоже козел!

Захарцев. Ах, и ректор не подходит? Тогда у министерства митингуйте. Только вам разрешения не дадут. Интересно, а сейчас оно есть? (*Насте.*) Где документы? (*Нет ответа.*) Тьфу, детский сад. Вы сообщаете, что делаете? Один мой звонок — полфакультета заберут куда надо.

Настя. Вам это не надо.

Захарцев (*опустив мегафон*). Ты права, я не за этим пришел. Я хочу знать: чем вы так недовольны? Тем, что сергуновские пьянки убрали, вроде мальчишника? (*Студенты опять угрожающе загалдели. Захарцев перекрикивает.*) Что это вообще значит — свободное посещение лекций? Я что, должен перед пустой аудиторией надрываться? Я зря работаю, что ли? И все преподаватели зря работают? За что мы зарплату получаем?

Голос из толпы. Слыхали мы эту песню!

Захарцев. Да не слышали вы ничего, я вас ни разу на лекции не видел. Пересдачу хотите, наверное.

Голос из толпы. Писец, испугали! *(Взвизг, дикий хохот присутствующих.)*

Захарцев. А, нет, я ошибся, вы вообще в армию хотите.

Голос из толпы. Да лучше в армию! Там не будут рейтинги считать-вывешивать, кто лучше портянку завернул!

Хохот.

Захарцев. Юморист! Чего вы так взъелись на эти рейтинги? Боязно? Пригрелись на бюджете, потерять не хотите? Так учитесь лучше. Привыкайте к конкуренции, потом пригодится. *(Гоготание.)* Вы думаете, я все это изобрел? Чтобы вас пытаться? Это реформы образования. И я поддерживаю обеими руками. Потому что надоело. Лучше пусть будет втрое меньше студентов, зато нормальные все. За что мы надрываемся? Кого мы выпускаем каждый год? Лоботрясов, которые потом все равно переучиваются. На продавцов и мерчендайзеров. На каких-нибудь менеджеров среднего звена. *(Гул усиливается, его слов почти не слышно в общем шуме.)* Идите подготовьтесь лучше. Я вижу, тут в основном триста вторая и триста третья группы, вы не забыли, что у вас контрольный срез?

Захарцев уходит, забрав мегафон. Студенты провожают его свистом и выкриками. Считая, что акция удалась, начинают сворачивать плакаты. Володя стоит в задумчивости. Настя подбегает к нему.

Настя. Ты почему мегафон не забрал?

Володя. Я растерялся.

Настя. Нет чтобы помочь! Смотри, как он меня схватил! *(Демонстрирует синяки на запястье.)*

Володя *(виновато)*. Больно? *(Касается ее руки.)*

Настя. Уйди, не тронь!

Володя. Слушай, он так говорил... Он же не дурак вообще-то.

Настя. Володя, очнись! Это же Захер! Дело даже не в реформах, он просто мерзкий тип! Ты же сам слышал, как он на лекциях, как он с людьми! Твой отец бы не допустил такого...

Володя. Я — не мой отец.

Настя *(с расстановкой)*. Да уж я вижу! Нечем гордиться! *(Повернулась, чтобы уйти, остановилась.)* Через неделю ректорский совет... Что хотите делайте, а я позабочусь... Если даже выберут — так чтоб эта тварь долго на деканском месте не просидела. Понял меня?

9. ДЕРЕВО БЕЗ ЦВЕТОВ

Квартира Захарцева. Тот же день поздней осени. За окнами падает снег. Леся и Захарцев пьют чай. Общаются очень уверенно, видно, что они уже давно на короткой ноге. А с Лесей иначе и не получается.

Леся. Сегодня у вас опять мерзкое настроение?

Захарцев. Было мерзкое.

Леся. А теперь лучше?

Захарцев. Чуть лучше.

Леся. Потому что я пришла?

Захарцев. Много на себя берешь.

Леся. Может, все-таки немножко мерзкое? Вы бы тогда поиграли...

Захарцев. Хватит выпрашивать.

Леся. Зачем музыка, если никто не слушает?

Захарцев. Все-таки ты липучка.

Леся. Я не липучка. Не хотите сами — поучите меня играть!

Захарцев. Во-первых, я не учитель... (*Запнулся.*) музыки...

Во-вторых, тебе уже поздно учиться.

Леся. Почему? В школе говорили, у меня есть слух.

Захарцев. Это как балет. С определенного момента учить уже поздно. Руки жесткие...

Леся. Кстати, я всегда думала, что у пианистов длинные пальцы. Помните, я вам писала в третьем письме?

Захарцев. Ну.

Леся. А у вас не длинные.

Захарцев. Я и не пианист. И вообще ногти грызу.

Леся. Нервная работа?

Захарцев. Есть немного.

Леся. Вы врач?

Захарцев. Врачи не грызут ногти.

Леся. М-м-м-м... Учитель?

Захарцев. Не совсем.

Леся. Как интересно. А можете меня по математике подтянуть?

Захарцев. Проблемы с математикой?

Леся. Ненавижу цифры и числа. Меня от них тошнит. Особенно в математике, там одни цифры. Еще тошнит от истории.

Захарцев (*посмеиваясь*). Меня тоже иногда тошнит от истории.

Леся. Почему?

Захарцев. В истории слишком много дураков заслужило вечность.

Леся. Это точно... Ладно, не будем о неприятном. Ну правда, поучите лучше меня музыке. Я же не отстану. (*Открывает крышку фортепиано, нажимает.*) Это какая нота?

Захарцев. Ре.
 Леся. А эта?
 Захарцев. Соль.
 Леся. А эта?
 Захарцев. Тоже ре. Диез.
 Леся. Диез — это черная, значит. А можете не подсматривая?
 Захарцев. Валяй. *(Отвернулся. Леся нажимает клавиши.)*
 Ми. До. Фа-диез. Или соль-бемоль. Без разницы.
 Леся. Так диез или бемоль?
 Захарцев. Без разницы, говорю же. Долго объяснять.
 Леся. Да. Сложная штука музыка. Мне бы только одну песню научиться играть, и все... *(Тихонько напевает.)*
 Захарцев. Ну-ка отойди, я подберу. *(Садится к фортепиано.)*
 Леся. Ага, попались! Вы же не любите, когда слушают...
 Захарцев. Сейчас я слушаю, пой. Что ты там мычала только что?
 Леся. Я не мычала!

Леся напевает уже погромче, они вместе подбирают мелодию,
 песня звучит все сильнее и увереннее.

10. БУМАГА

Квартира тети Иры. Все тот же день. Окна уже темные, на столе торшер. Леся под лампой устроилась писать очередное письмо, мурлычет песенку под нос. Входит Володя, кидает мокрую куртку на диван, мрачен.

Леся. Ты чего такой? Опять ваш декан настроение испортил?
 Володя. Да нет, так... поспорился кое с кем. *(Вынимает из рюкзака листки с набросками, бросает на стол.)*

Леся. Почему ты так поздно?
 Володя. В общаге был, у Жеки. Вон, проект делали. Жека нарисовал карикатуры. Надо клеить-красить... Стенгазета будет... *(Леся берет карикатуры, внимательно рассматривает, лицо у нее становится очень серьезным.)* Прикольно, да? Мне вот эта нравится, как ропись на греческой вазе.

Леся. Прикольно...

Входит тетя Ира, в руках пакет с тетрадями на проверку. Кладет их поверх газеты, снимает плащ, вешает на вешалку. Забирает куртку Володи и тоже вешает.

Тетя Ира. Что у вас тут? Подпольная типография?

Володя. Стенгазету готовим.

Тетя Ира. Вы поаккуратней. Захарыч такого юмора не понимает.

Володя. Может, на второй раз поймет.

Тетя Ира. Ну, ты же не думаешь, что он сам уйдет?

Володя. Нормальный человек ушел бы сам.

Тетя Ира. Допустим, даже и уйдет он, а на его место кого посадят? Ты не подумал, что еще хуже может быть?

Володя. Будет хуже — мы не промолчим.

Тетя Ира. Ох, Володька, доиграешься! Видно, у нас это семейное... Нас с Васей в студенческие годы тоже чуть не вытурили.

Володя. За что?

Тетя Ира. Да за стенгазету как раз. Там было что-то политическое, я сейчас и не помню. А помню, что за нас весь факультет горой стоял. Меня потащили в деканат разбираться, а я уже тогда с химией ходила, кудрявая была, как сейчас, даже еще сильнее. И была немножко похожа на эту правозащитницу американскую, чернокожую, ты, наверное, не знаешь, о ком я... На Анжелу Дэвис.

Володя. Знаю. Борец за права женщин.

Тетя Ира. Да, черная она была... Меня и прозвали Анжелой Дэвис за эту химию. И вот представь: я в деканате сижу, мне уже исключением грозят, а за дверями весь факультет собрался, с плакатами, и кричат: «Свободу Анжеле Дэвис! Свободу Анжеле Дэвис!» Всех-то не исключишь... Газету сняли, конечно... Но и нас оставили в покое.

Леся. Свободу Анжеле Дэвис! Свободу Анжеле Дэвис! *(Прыгает вокруг стола.)*

Володя. Свободу Анжеле Дэвис!

Они оба подбегают к тете Ире, хватают ее за руки и кричат вместе: «Свободу Анжеле Дэвис! Свободу Анжеле Дэвис!»

Тетя Ира *(смеется)*. Ох, ребята, шутки плохи!

Володя. Все хорошо будет! *(Звонит мобильный телефон, Володя смотрит на дисплей, обрадованно берет трубку.)* Да, Насть! *(Идет в другую комнату.)*

Леся *(берет карикатуру, показывает тете Ире.)* Мам, это их декан, да?

Тетя Ира *(смеется)*. Да, и ведь как похож! Вот Женька зараза!

Леся. А он умеет играть на пианино?

Тетя Ира. Кто — Женька?

Леся. Декан.

Тетя Ира. Вот ты спросила, не знаю... *(Задумалась.)* Вроде Захарыч окончил музыкальную школу, да. И пианино дома стояло, если не продали... Только он его терпеть не мог. Говорил, что в музыкалку его чуть ли не кнутом загоняли.

Леся. Понятно. *(Складывает карикатуры на столе в аккуратную стопку. Видно, что ей не по себе.)*

Тетя Ира. А ты почему спрашиваешь?

Леся. Не знаю. Мне кажется, он похож на музыканта. Ты видела, пианисты, когда играют — волосы вот так отбрасывают... *(Махнула головой, показывая.)*



Тетя Ира. На Бабу Ягу он похож, честно-то сказать. *(Смеется.)*
И по характеру такой же. Он ухаживал за мной на третьем курсе, ужас!

Леся. А ты только папу любила?

Тетя Ира. Только папу. Я всегда мечтала замуж за военного, они такие подтянутые, правильные...

Леся. Правильные-правильные, а нас оставил...

Тетя Ира. А что делать, это жизнь, тут не угадаешь.

Тетя Ира выходит. Леся смотрит на стопку карикатур.

Леся. Что же делать-то... Что же делать...

11. БУМАГА

Квартира Захарцева. Снова зимний день. Леся звонит в дверь, Захарцев открывает ей — вид у него почему-то довольно нарядный, новый галстук, только что выглаженная рубашка.

Леся. Ух ты, вы нарядились. Для меня?

Захарцев. Много на себя берешь...

Леся. Вы всегда так говорите.

Захарцев. Просто сегодня важный день.

Леся. Вас выдвигают в депутаты?

Захарцев. Не дай боже.

Леся. А что тогда? *(Проходит в комнату, садится в кресло.)*

Захарцев. Может исполниться одна старая мечта. Правда, не знаю, порадует ли меня это теперь. Пять минут в запасе. Потом я пойду.

Леся. Дядина фраза.

Захарцев. Что?

Леся *(отчаянно)*. Дядя так говорил студентам. Они приходили в гости, а ему на вечернюю лекцию. Так и шли до корпуса кучей.

Захарцев. Твой дядя — преподаватель?

Леся. Был.

Захарцев. Был... Так...

Долгая пауза.

Леся. Я вашу музыку услышала как раз весной. В мае. Вам, значит, тоже было очень-очень плохо. Значит, не так уж вы его ненавидели?

Захарцев. Так ты Ильсеньевская дочка... Я должен был понять. Ты на нее похожа. Я тебя, может, даже видел в детстве... *(Долго молчит, отвернувшись к шкафу. Леся обеспокоенно привстала в кресле, но он опять говорит, и голос странно изменился.)* Ну и сколько тебе лет на самом деле? Тринадцать? Четырнадцать?

Леся. Я... я же говорила уже, что семна...

Захарцев. Не прикидывайся! Будто я не знаю, когда Ирка родила!

Леся. А я думала, у меня проблемы с математикой!

Захарцев. Четырнадцать или пятнадцать, не больше! Да, нечего сказать... Хитер твой братец...

Леся. Что? При чем тут Володя?

Захарцев. Да уж конечно ни при чем! Знаю я, как эти дела обдываются... Подсылают такую акселератку, хрен поймешь, ей пятнадцать или двадцать лет! Потом люди всю жизнь отмыться не могут...

Леся. Что за бред? Вы о чем?!

Захарцев. Зачем ты пришла?

Леся. Я...

Захарцев. Да не трудись, не выдумывай. Брат надоумил, сама бы ты не догадалась. Ну, Сергуновы! Сынок-то далеко пойдет! *(Громко, глядя в потолок.)* Слышишь, Вася? Далеко пойдет! Ты хоть его бросил, не воспитывал совсем, а он все равно в твою породу вышел! Готов сестрой пожертвовать, лишь бы меня подставить! *(Лесе.)* Что смотришь? Убейся отсюда!

Леся. Я никуда не пойду!

Захарцев. Вон!

Леся. Не орите на меня!

Захарцев. Ты думаешь, я тебя выталкивать буду? А мне потом припишут еще какие-нибудь побои средней тяжести. *(Идет к столу, садится, повернувшись к ней спиной.)* Я с тобой не буду разговаривать.

Леся. Раз я такая опасная, бегите, запирайтесь от меня в кабинете! Или прыгните из окна, сломайте ногу. Тогда никто не подумает, что вы ко мне приставали! *(Захарцев молчит.)* Не дождетесь. Не уйду я никуда. *(Снова садится в кресло, нога на ногу, выжидаяюще смотрит.)*

Захарцев. Уходи.

Леся. Не уйду.

Захарцев. Уходи.

Леся. Не уйду.

Захарцев. Шантажировать будешь? Так тебе нечем...

Леся. Как вы можете?!

Захарцев. Что тебе надо? Что ты прицепилась ко мне?

Леся. Я... я, наверное, вас люблю.

Долгая пауза.

Захарцев. Еще не хватало. Фантазерка.

Леся. Вы думаете, я вру? Я не знала сначала, что вы декан. Володя вас ненавидит, это правда. Но, даже если б я знала, что вы — это вы, я бы все равно пришла.

Захарцев. Если б я знал, что ты — это ты, думаешь, я б тебя впустил? Да никого бы не впустил! *(Крутит пальцем у виска.)* Я, наверное, с ума сошел...

Леся. Это сейчас вы с ума сошли! Раньше доверяли, а теперь как с цепи сорвались!

Захарцев. Да почему я должен тебе доверять? Ты мне врала, что тебе семнадцать.

Леся. А какая разница? Семнадцать, пятнадцать — все равно несовершеннолетняя! И я не виновата, что вы там навоображали у себя в голове...

Захарцев. Кто — я навоображал?! Нет, деточка. Это ты все придумала. Ты сама заварила кашу. Посмотри на меня внимательно — что тут любить?!

Леся. Сейчас вы очень стараетесь, чтобы нечего...

Захарцев. Ты пойми! Я у тебя в голове — не я, а образ, который ты придумала, как друг твой воображаемый... Романтический отшельник, ученый, я не знаю, что там... (Леся сидит в кресле, окаменев.) Умная девочка... Вся по уши в книжных бреднях... (Леся молчит.) Ты долго еще будешь тут сидеть?

Леся молчит. Захарцев делает к ней шаг, в бешенстве разворачивается и выходит в другую комнату, хлопнув дверью.

12. ШОРОХ

Вестибюль гуманитарного корпуса. Идет пара, поэтому пусто. Охранник опять хлопает носом. Настя и Женька осторожно выглядывают из коридора, оценивая обстановку. У Насти в руке свернутый рулон — стенгазета.

Настя. Спит?

Женька. Ну, практически. Главное, не зашуршать.

Настя. Оперативно: ты четыре кнопки и я четыре.

Почти бесшумно прикалывают стенгазету. Охранник дремлет. Вдруг слышатся шаги, мимо пробегает Ивановна: вид у нее совершенно отсутствующий, пальто расстегнуто. Женька и Настя пытаются спрятаться, но Ивановна их даже не замечает.

Женька. Куда это она?

Настя. Так совет еще не начался. Захер до сих пор не появился. У меня был расчет, что он зайдет и увидит газету.

Женька. Уже на двадцать минут задержали.

Настя. Он вообще никогда не опаздывает, тем более на ректорский совет... Знаешь что? Последи за ней, она, наверное, к его дому пошла. А я тут побуду — может, они просто разминутся.

Женька. Так пошли вместе!

Настя. Она меня прибьет, если увидит, что я за ней слежу. А тебе ничего, ты и на митинге не был...

Женька. Щас, я за курткой.

Н а с т я. Да выходи так, времени нет!
 О х р а н н и к (*встрепенувшись*). А? Что?
 Н а с т я (*сладким голосом*). А Олег Петрович пришел уже?
 О х р а н н и к (*листая журнал*). Нет.
 Н а с т я. Понятно. Подождем...

Женька, ежась, идет по улице вслед за Ивановной. Она торопится, оскальзывается на подтаявшем снегу, бежит наикратчайшей дорогой к дому Захарцева, причем возле уха у нее постоянно телефон: набирает, ждет, сбрасывает, потом опять набирает... Добирается наконец до подъезда, звонит в домофон. Никто не отвечает.

Ивановна звонит в соседнюю квартиру.

И в а н о в н а. Здравствуйте, вы не могли бы открыть? Человеку плохо... Не открывает... Сорок пятая... Да какие наркоманы, у вас тут притон, что ли?

Сигнал отключения домофона. Ивановна звонит в другую квартиру, ждет, никто не берет трубку. Женька подходит.

Ж е н ь к а. Валентина Ивановна, что-то случилось?
 И в а н о в н а. Похоже, что да. А вы почему без куртки?

Ж е н ь к а. Да я из общаги... вышел в магазин.

И в а н о в н а. Не открывают. Все на работе, одна бабка сумасшедшая...

Ж е н ь к а. Давайте я. (*Набирает номер бабушкиной квартиры.*)
 Здравствуйте, это полиция. Собираем показания. Кто у вас в соседнем сквере лампочки повыкручивал? Я понимаю, что вы ни при чем. Бабушка, откройте, я поднимусь. По домофону неудобно писать. Да, да, наркоманы повыкручивали. (*Писк открывающейся двери, Женька распахивает створку.*) Оп-ля!

И в а н о в н а. Пойдемте, поможете мне. Может, дверь придется ломать.

Ж е н ь к а. А какая там дверь?

И в а н о в н а. Железная.

Ж е н ь к а. Хе, это только автогеном...

И в а н о в н а. Ну мало ли что потребуется! Вы принципиально идти не хотите?

Ж е н ь к а. Да я помогу, конечно. Не нервничайте так...

Входят в подъезд.

13. БУМАГА

Квартира Захарцева. Леся сидит в кресле, смотрит исподлобья на дверь. Бесконечно долго звонит мобильный Захарцева, брошенный на столе. Потом начинает доноситься из прихожей сигнал домофона. Леся поднимает голову.

Л е с я. Может, подойдете? А то сейчас дверь будут ломать.

Захарцев входит в комнату, берет мобильный со стола, смотрит пропущенные вызовы.

Леся. Из вуза? (Захарцев едва обозначил кивок.) Волнуются за вас. Думают, вдруг сердце, у дяди Васи тоже так было.

Захарцев (шипит). У дяди Васи...

Леся. А вы их впустите, пусть увидят, что все в порядке.

Захарцев. Никого я больше не впускаю. И ты уходи. (Роется в ящике стола, находит письма в синих конвертах.) Вот, забирай и уходи. (Протягивает письма.)

Леся. А вы не боитесь отдавать? Вдруг я их покажу кому-нибудь? (Пауза.) Вы мне все-таки верите. Просто очень боитесь.

Захарцев. Мне надоели твои домыслы.

Леся. Вот что: можете верить, можете нет. Я правда не знала, что вы декан. Я догадалась очень поздно. И не потому, что дура. Просто то, что о вас говорят, и вы... Совсем непохоже.

Захарцев. Да уж представляю, что говорил твой дядя.

Леся. Дядя вообще никогда ни слова не говорил про вас.

Захарцев. Совсем ничего?

Леся. Он зла не держал.

Захарцев. Еще бы он зло держал, всю жизнь мне испоганил.

Леся. А когда-то вы были друзьями...

Захарцев. Друзей не подсиживают. (Пауза.) Я должен был стать деканом. Я, а не Вася, еще пять лет назад. Он не администратор, никогда им не был. У него мама анархия, папа стакан портвейна. Он документы чуть ли не левой ногой писал. Развел бардак на факультете. Сейчас вот он умер, а бардак никуда не делся. Особенно в головах.

Леся. Его выбрали, потому что все его любили...

Захарцев. Эта любовь один вред принесла.

Леся. Ну да. От любви вообще один вред. Вот вы на встречу опоздали.

Захарцев. Я опоздал, потому что твой братец подложил мне свинью.

Леся. Свинья — это я, стало быть.

Захарцев. Стало быть.

Леся. Чудесно. Вы мастер комплимента.

Захарцев. Не жди, что буду извиняться.

Леся. Мы вроде договорились, что Володя ни при чем. Что я сама пришла.

Захарцев. Зачем? Зачем ты пришла?

Леся. Я же сказала уже.

Захарцев. Я тебе не верю.

Леся. Что, доказательства надо?

Захарцев (с иронией). А храбрости хватит?

Леся. Хотите, чтоб я с моста прыгнула?

Захарцев. Зачем же, есть способы и получше. Раздевайся.
 Леся (через паузу). Вы что, уже не боитесь скандала?
 Захарцев. Ты же меня любишь. Ты же никому не скажешь.
 Леся. Вы что-то совсем...
 Захарцев. Я так и знал. Пошла вон.

Леся с письмами в руках выбегает в прихожую; всхлипывает.

Захарцев. И чтоб я тебя больше не видел.

Леся замирает, услышав это, потом швыряет на пол письма; срывает с вешалки свою куртку; разрыдавшись, выскакивает на лестничную площадку, сталкивается лицом к лицу с Женькой и Ивановной.

Женька. Ты че реवेशь? Ты че тут делаешь?! (Хочет схватить ее за руку, Леся вырывается, сбегает вниз по лестнице. Женька хочет бежать за ней, но Ивановна тормозит его.)

Ивановна. Каширин, вы куда?
 Женька. Это Володькина сестра!
 Ивановна. Вы мне еще понадобитсяь.
 Женька. Но там же...
 Ивановна. После разберемся.
 Женька. Что она тут забыла?!

Входит вслед за Ивановной в незапертую квартиру. Осторожно переступает через письма, разбросанные на полу в прихожей. В комнате Захарцев открыл дверцы в шкафу-стенке, достал стопку, поставил на стол, вынул было и бутылку коньяка, но, услышав в прихожей шаги, быстро спрятал бутылку обратно, захлопнул дверцы.

Захарцев (думая, что Леся вернулась). Да что ты лезешь со своей любовью! Сказал же, видеть тебя не хочу!

Входят Женька и Ивановна. Женька сразу же замечает фортепиано...

Захарцев. А, это вы...
 Ивановна. Принесла вашу почту и еще кое-какие бумаги. Посмотрите, есть срочное.
 Захарцев. Зря с совета ушли. Могли бы секретаря отправить.
 Ивановна. Совет перенесли. На следующий понедельник. (Помолчав.) Честно говоря, вы меня поставили в очень неловкое положение. Я думала, вы на больничном, а вы...

Женька (указывая на неубранную рюмку). А вы тут квасите...
 Захарцев (прячет рюмку). Каширин, выйдите.
 Ивановна. Он не мешает.
 Захарцев. Мешает. Я вообще к себе не пускаю студентов.
 Женька. А школьников?
 Захарцев. Каких еще школьников?

Женька. Из вашей квартиры только что выбежала школьница. Вся в слезах. Как вы это объясните?

Захарцев. Валентина Ивановна, я не собираюсь выслушивать всякий бред. С вами я буду говорить, а его уберите.

Ивановна. Евгений, подождите меня у подъезда, пожалуйста.

Женька. Если что — звоните.

В прихожей Женька собирает письма с пола. Быстро выходит в подъезд.

Захарцев. Зачем вы его привели?

Ивановна. Просто подвернулся под руку.

Захарцев. Терпеть не могу таких. Лезут не в свое дело, вынюхивают...

Ивановна. А ему есть что вынюхивать?

Захарцев. У меня безупречная репутация.

Ивановна. Что это за девочка выбежала нам навстречу?

Захарцев. Ну, только не начинайте тоже.

Ивановна. Это выглядело странно, согласитесь.

Захарцев. Моя личная жизнь никого не касается.

Ивановна. У вас появилась личная жизнь?

Захарцев. Вас-то это почему интересует?

Ивановна. Все знают, что вы сухарь. От вас и жена ушла.

Захарцев. От женщин одно зло.

Ивановна. Спасибо на добром слове.

Захарцев. Вот зачем вы притащились? Тут и без вас хватает...

Ивановна. Женщин?..

Захарцев. Идиотизма. *(Опять вынимает из шкафа коньяк.)*

Хотите?

Ивановна *(холодно)*. Спасибо, воздержусь.

Захарцев. А я уже не могу воздерживаться. Свихнусь, наверное, скоро.

Ивановна. Похоже на то.

Захарцев. Простите, что вы сказали?

Ивановна. Мне очень жаль.

Захарцев. Чего жаль?

Ивановна. Не чего, а кого. Вас жаль.

Захарцев. Так вы пожалеть меня пришли? Думали, я тут весь больной, с градусником валяюсь?

Ивановна. Ничего я не думала.

Захарцев. Вы, если меня жалеете, выдайте замуж дочь свою, ради бога.

Ивановна. А что, есть кандидаты?

Захарцев. Да полный корпус кандидатов.

Ивановна. Ей доучиться надо.

Захарцев. Она, по-вашему, учится? Дурью мается. На преподавателей вешается.

Ивановна. Позвольте, я уйду.

Захарцев. Идите-идите.

Ивановна выходит, Захарцев не провожает ее.

14. БУМАГА

Крыльцо дома, лавочка у подъезда. Женька только что вышел из подъезда, держит в руках письма, перебирает. В процессе медленно подходит к лавке, высыпает на нее добычу.

Женька (*напевая*). Вот эта улица, вот этот дом... И дерево то самое, кривое... Как я сразу не узнал... Вот эта улица, вот этот дом... Пианист, пианист... Блин, я прямо същик. (*Осторожно вытаскивает за уголки из стопки одинаковые синие конверты, распределяет перед собой на сиденье.*) Семнадцатого числа... А это от двадцать пятого...

Из подъезда выходит Ивановна.

Женька пытается спрятать письма в сумку, но не успевает.

Женька. Быстро вы! Он выгнал вас, да? Ах-хах... Я так и думал... Вот сволочь... (*Смущен, пытается затолкать письма в сумку. Ивановна с подозрением смотрит на него, делает шаг и хватается за письма, Женька вцепляется с другой стороны, идет борьба.*) Дайте... ну, дайте!

Ивановна (*вырвала письма, выронила одно, Женька попытался подхватить, Ивановна наступила на письмо ногой*). Что это такое? Будьте добры объяснить.

Женька. Что объяснять-то, это м-мое, мне... девушка писала. А вы бросаетесь, как...

Ивановна. Какая у вас романтическая девушка. Бумажные письма пишет. (*Смотрит на адрес.*) А зовет-то как ласково — Олег Петрович... (*Женька бросается коршунном. Ивановна отталкивает.*) Зачем вы их взяли?

Женька. Это улики.

Ивановна. Улики чего?

Женька. Вы сами видели. Школьница выскочила нам навстречу, вся в слезах...

Ивановна (*прячет в сумку письма*). Ну и что? Видно, девица нервная попалась. Нервным даже репетитор не поможет.

Женька. Репетитор?!
Ивановна. Ну конечно. Олег Петрович репетиторствует. Иначе бы откуда школьнице взяться в его квартире? Вы головой-то думайте.

Ивановна. Ну конечно. Олег Петрович репетиторствует. Иначе бы откуда школьнице взяться в его квартире? Вы головой-то думайте.

Уходит. Женька бежит за ней.

Женька. Это вы думайте головой! Какой на хрен репетитор?



15. БУМАГА

Квартира тети Иры. Кухня. Тетя Ира готовит, придерживая плечом мобильный телефон возле уха, говорит с кем-то без умолку. Тут же, на холодильнике, работает телевизор, который ей приходится перекрикивать. В кухню входит мрачная Леся, идет к холодильнику.

Тетя Ира. Что-то вид у тебя смурной. Два получила? Тань, я не тебе. Да нет, Леська пришла из школы, лицо какое-то...

Леся. Нормальное лицо!

Тетя Ира. Тань, я перезвоню. *(Бросила мобильный на стол.)* Что стряслось? Опять физик? *(Леся мотает головой.)* Химичка? *(Леся мотает головой.)* Историчка?

Леся. Истеричка. *(Находит в холодильнике шоколадку, распечатывает.)*

Тетя Ира. Не порти аппетит. И поговори со мной нормально.

Леся. Не хочу. *(Жует шоколадку, направляется к выходу из кухни. Тетя Ира ее останавливает.)*

Тетя Ира. Ну-ка посмотри сюда. Плакала, что ли? *(Пауза. Леся изо всех сил старается сдержаться, морщится, но наконец ее прорывает, и она плачет. Тетя Ира прижимает ее к себе.)* Ну-ну-ну. Ну-ну. Подумаешь, двойка.

Леся. Да какая двойка...

Тетя Ира. С мальчиком поссорилась?

Леся. Да с каким мальчиком...

Тетя Ира. Ну что я, слепая, что ли? Ты последнее время как не в себе... ну все, думаю, влюбилась. Он-то хоть знает? *(Леся всхлипывает, кивает головой.)* Дай угадаю. Призналась в любви, да? *(Леся кивает, закрывает лицо руками.)* Э, дорогая, это ты напрасно. Мужчины вообще таких слов боятся. И сами сказать боятся, и когда женщина говорит. Так, сказала ты ему, и что?

Леся *(снова начинает всхлипать)*. А он... а он говорит: раздевайся...

Тетя Ира. О, и ты из-за такого козла плачешь! Ну перестань, моя милая. Перестань, деточка. Мальчишки в этом возрасте — у них же одно на уме.

Леся *(рыдает)*. Ма... ма... ты не понимаешь! Все еще хуже!

Тетя Ира. Еще хуже?

Леся. Он ведь это сказал... раздевайся... не потому, что хотел... чтобы я правда... Он нарочно... он хотел, чтобы я обиделась и ушла!

Тетя Ира. И ты обиделась и ушла? *(Леся кивает головой, открывает к спинке дивана, плачет.)* Вот и молодец. Правильно сделала. А он не просто козел. Он еще и манипулятор. Вообще, что-то не похоже на ребенка. Он тебя старше, наверное?

Л е с я (*опомнившись*). Не, он... из нашей школы... с параллели. Мам... да я, может, даже не хотела, чтобы он меня любил-то... Я хотела, чтобы он меня понял...

Т е т я И р а. У-у-у, родная, ну ты хватила! Вот если мужчина тебя любит — вот тогда он, может быть, постарается тебя понять. Может быть. А если не любит... о чем тут говорить...

В прихожей шум — вернулся В о л о д я. Он входит в кухню, смотрит на плачущую Л е с ю, на лице странное выражение.

Т е т я И р а. Володя, хорошо, что вернулся пораньше. У нас тут, видишь, трагедия мирового масштаба. С мальчиком поругалась...

В о л о д я. Я этого... мальчика... мокрого места не оставлю.

Л е с я смотрит на Володю с ужасом.

У Володи звонит мобильный, он берет трубку.

В о л о д я. Да, Насть. (*Выходит из кухни, Л е с я бежит за ним. Володя сердито машет рукой, чтоб она ушла. В трубку.*) Не нашла? Поищи хорошо, а? Не знаю, где конкретно! Я, что ли, там живу?

Л е с я. Володя...

В о л о д я (*в трубку*). Ну в шкафах посмотри! В книгах! Сумки проверила? Тогда, значит, на работе их оставила! Завтра будем искать. (*Нажимает на кнопку сброса.*) Чего тебе?

Л е с я. Не тронь его. Это я виновата.

В о л о д я. Да уж конечно, ты его еще покрывать станешь.

Л е с я. У нас не было ничего. Он вообще меня прогнал.

В о л о д я. Что прогнал — я догадался, мне Женька рассказал. А вот было что-то или нет...

Л е с я. Ты мне не веришь?

В о л о д я. Зачем ты вообще к нему полезла?!

Л е с я. Не знаю.

В о л о д я. Он зато знал, что ему надо.

Л е с я. Я тебе говорю, не было ничего.

В о л о д я. А что вы делали? Чаи вместе гоняли?

Л е с я. Разговаривали.

В о л о д я. О чем ему с тобой говорить?

Л е с я. Ты считаешь, не о чем?!

В о л о д я. Да брось ты. Уйди с глаз вообще. Я как подумаю, что он мог... Уйди, пожалуйста.

Л е с я. Я ему наврала. Сказала, что мне семнадцать.

В о л о д я. Да какая разница. Он преподаватель. Соображать должен.

Л е с я. Он выгнал меня.

Володя. Сразу надо было выгонять. Если не сразу, значит, хотел чего-то.

Леся. Пожалуйста. Ради меня.

Володя. Уходи.

16. БУМАГА

Деканат истфака. Высокие шкафы, стол секретаря, на столе монитор, папки, мелкая копировальная техника. Жалюзи, большое окно, зимний день. Падает снег. За дверью возятся, скребет в замке ключ. В деканат вваливаются Володя и Настя.

Володя. Так! Сколько у нас времени?

Настя. Минут семь. Она в буфет пошла, а секретарь на кафедре. Я взяла ключ, сказала, что мама просит.

Володя. Жека на стреме?

Настя. Скинет маячок, если что. Так, давай сначала тут посмотрим. *(Начинает выдвигать ящики.)*

Володя *(помогая)*. И зачем она письма на работу утащила... Ты точно хорошо искала?

Настя. Да точно! Может, они с Захером поцапались и ей возвращаться не хотелось... Может, сама хотела проверить... Вчера вечером лезла ко мне с глупыми вопросами. Не приставал ли он ко мне.

Володя. Кто?

Настя. Да Захер. Типа, вдруг я его из-за этого ненавижу. Тихо! *(Хватается за карман, где телефон.)* Маячок...

Володя *(шепотом)*. Что-то быстро она поела!

Настя кидается к двери и запирает ее изнутри на ключ.

Ивановна *(дергает дверь)*. Дина! Дина, что случилось?

Настя *(хихикая, шепотом)*. Дина — это секретарь. *(Володе.)* Давай ищи быстрее!

Дина *(выходя из правого крыла)*. Валентина Ивановна, я здесь!

Ивановна. А кто же тогда заперся? Настя, это ты?

Настя. Упс...

Ивановна. Настя, открывай. *(Трясет дверь.)*

Настя. Черт... она сразу все поймет... что мы тут рылись... Надо как-то отвлечь ее... О! *(Подбегает к Володе и смачно целует его, размазывая помаду по себе и по нему.)* М-м-м-м!

Володя. Ты че?!

Настя. М-м-м! М-м-м-м! *(Зверским шепотом — Володе.)* Стони, пусть она думает, что мы тут сексом занимаемся!

Володя. М-м-м!

Настя *(шепотом)*. Громче! Чтоб разозлилась и вообще про письма забыла! *(Вслух.)* М-м-м! О да! *(Подбегает к Володе, начинает*

растегивать ему ворот рубашки. Шепотом.) Ты слишком аккуратный!

Володя. М-м-м! Уфф! (*Шепотом.*) Рубашку не рви!

Настя (*шепотом*). А ты не пыхти, как тюлень! (*Громко.*) Ох... (*Оббегает стол с другой стороны, проверяет ящики, продолжая стоять. Володя ей вторит.*)

Ивановна. Настя,пусти меня немедленно!

Володя (*отыскав в ящике письма*). М-м-м! (*Машет письмами, показывая Насте, прячет их за пазуху.*)

Настя. М-м-м! (*Шепотом.*) Запускаю, готовься.

Володя. М-м-м! (*Взявшись за столешницу, расшатывает стол. Шепотом.*) Ты-то своя тут. А меня не исключат за то, что я в деканате имитирую?..

Настя. М-м-м! (*Взявшись за стол с другой стороны, помогает шуметь. Шепотом.*) Лезь в окно, тут пожарная лестница рядом.

Володя. Уфф! (*Шепотом, через стол.*) Я же навернусь!

Настя (*шепотом*). Второй этаж. Знаешь, что восточная мудрость говорит?

Володя. Что?

Настя. Не ссы! (*Громко.*) М-м-м! О да!

Ивановна. Настя! Впусти сейчас же!

Володя (*шепотом*). До скорого. (*Выбирается в окно.*)

Настя дождалась, чтобы он благополучно спустился на землю, потом растегнула две пуговицы на блузке, взлохматила волосы, глянула в зеркало и отперла дверь. Ивановна вваливается внутрь, за ней в проеме появляются любопытные лица студентов.

Ивановна (*увидев распахнутое окно*). Сбежал!

Настя. Что такое? Подумаешь, взяла ключ.

Ивановна. Кто это был? Сейчас же отвечай, кто?

Настя. Какая разница? Много их тут ходит...

Ивановна с размаху дает Насте пощечину.

Настя. Мама... Мама, мы пошутили! Пошутили!

17. БУМАГА

Володя входит в вестибюль. Женька подбегает к нему.

Володя растрепан, перепачкан.

Женька. Ххах... Ты че такой?

Володя. Из окна прыгал.

Женька. Да у тебя морда в помаде! (*С завистью.*) Вы чем там занимались? Письма хоть наши?



Володя. *Щас разберемся. Мне надо себя в порядок привести. А то Ивановна увидит — писец будет. (Прячется в преподавательский туалет, запирается.)*

Женька *(кричит, стоя у туалета)*. Ты только не думай, что ты особенный! Это все адреналин! Экстрим! *(Понизив голос.)* Идиот, прозевал такой шанс... Надо было самому в деканат идти...

Володя *(из-за двери)*. Ты еще погромче покричи!

Женька *(саркастически)*. Извини! Не буду мешать!

Женька отходит, садится на скамейку, опускает голову на руки, взлохмачивает пальцами шевелюру. Сидит так какое-то время, потом поднимает голову, смотрит на дверь туалета.

18. БУМАГА

Служебный туалет. Володя умывается. Отфыркивается, смотрит в зеркало, снова наклоняется над раковиной, из-за пазухи вываливается одно из писем, падает на мокрый кафель. Володя подхватывает с полу письмо — конверт уже вымок. Сминает конверт, кидает в унитаз. Письмо хочет спрятать обратно за пазуху и вдруг выхватывает взглядом какие-то строчки.

Володя *(читая письмо)*. Чего... чего? *(Углубляется в письмо, брови потрясенно хмурятся.)* «Чтобы хорошо запомнить кого-то, достаточно его обнять. Будто впечатываешь в себя. Лицо со временем забывается. Близкий человек умер, и я не могу представить себе лицо без фотографии. Немного стыдно даже. А объятия помню как вчера. Это и запах, и тепло, и вся жизнь человека в твоих руках, он тебе доверяет свою жизнь и остается в тебе навсегда». *(Торопливо разворачивает письмо, читает с другой стороны. Комкает письмо и бросает в унитаз. Смывает.)* Это не для следствия. *(Достает из-за пазухи другое письмо, читает.)* «Руки говорят о человеке больше, чем лицо, потому что не умеют притворяться. Вы ногти грызете, как школьник... Я увидела, потому что сразу посмотрела на пальцы — говорят, у пианистов длинные пальцы, а они обычные, только ногти обкусаны. Я стараюсь не грызть, только на контрольных иногда не выдерживаю, нервничаю...» *(Бросает письмо в унитаз, смывает.)* Чужь какая-то! *(Разворачивает следующее письмо, читает.)*

Женька. У тебя запор, что ли?

Володя. Это у тебя понос! Словесный. *(Тщательно рвет на мелкие клочки письмо, бросает в унитаз, смывает.)*

Женька. Ты в порядке?

Володя. Я сейчас выйду. *(Быстро просматривает следующее письмо, рвет, смывает.)*

Женька. Быстрее выходи.

Володя. Да все уже, все. *(Прочитывает последнее письмо, рвет, бросает в унитаз, смывает. Моет руки, плещет водой в лицо. Распахивает дверь.)* Успокойся, а?!

Женька. Где письма?

Володя. Где надо.

Женька. Да что ты говоришь. И куда ты их девал?

Володя. В надежное место.

С лестницы спускается Настя.

Женька. Настя. У нас дела.

Настя. Что такое?

Женька. Он, походу, письма... потерял.

Настя. В снег уронил? Когда лез? Чего смотрите, искать пошли!

Володя. Не надо искать ничего.

Пауза. Вдруг Женька бегом бросается к туалету, распакивает дверь, замирает в дверном проеме и сразу же возвращается.

Женька. Я так и знал. Концы в воду, да?

Володя. Эти письма ничего бы не доказали.

Женька. А ты эксперт, что ли?

Настя. Володя, где письма?

Женька. В параше письма! Ключки прилипли! Иди посмотри!

Настя. Володя, зачем?!

Женька. Какой компромат!

Володя. Тебе лишь бы компромат. На людей насрать.

Женька. А ты огласки боишься! *(Хочет ударить Володю.)*

Настя. А ну харэ! *(Володе.)* Зачем?

Володя. Да не было у них ничего.

Настя. Откуда тебе знать? Она могла сказать все, что угодно!

Володя. Я-то ее знаю. А ты слепая. Ты же сама любила моего отца. Первый курс, тебе было семнадцать лет.

Настя. Ей пятнадцать!

Володя. У них не было ничего. А вы и на раскопки вместе ездили...

Настя замахивается на него, но рука застывает в воздухе.

Настя. Ну и что?

Володя. Если ты видишь во мне отца... Но я — это я. Если только отца, то — не нужно.

Пауза. Володя, помедлив, направляется к выходу.

19. ДЕРЕВО БЕЗ ЦВЕТОВ

Вокзал, поздний вечер. Падает снег. У входа зябко переминается с ноги на ногу
 Л е с я. К ней подходит За х а р ц е в.

За х а р ц е в. Как ты узнала, что я уезжаю сегодня?

Л е с я. Позвонила в деканат.

За х а р ц е в. Не понимаю, зачем трагедию раздувать? Я еду в область. К тетке. Старая она уже. Побуду с месяц, решу, что делать... Ну вот зачем ты пришла?

Л е с я. Мне там сказали, что вы уезжаете на Север.

За х а р ц е в. Ну да, деревня на севере.

Л е с я. Олег Петрович...

За х а р ц е в. Что?

Долгая пауза. Двери вокзала открываются и закрываются, люди движутся мимо, проходят между Лесей и Захарцевым.

За х а р ц е в. Ладно, давай...

Поворачивается, чтобы уйти, но Леся догоняет его, обнимает. Захарцев останавливается. Какое-то время они остаются неподвижными в потоке, проходящем сквозь двери.

За х а р ц е в. Пообещай мне одну вещь... Никогда не выдумывай людей. Они от этого, может, страдают еще больше, чем ты сама. Прощай.

Захарцев освобождается от объятий Леси, исчезает в дверях вокзала.

Леся стоит и смотрит вслед. Сзади подходит Ж е н ь к а .

Ж е н ь к а. Романтично-то как, чтоб мне сдохнуть...

Л е с я (*гневно*). Ты?!

Ж е н ь к а. Да не злись ты так. Я тоже позвонил в деканат.

Л е с я. Зачем?

Ж е н ь к а. Хотел извиниться.

Л е с я. Будто это чем-то поможет.

Ж е н ь к а. Он же сам сказал — в область едет, к тетке! Поварится там и вернется. Что ты переживаешь-то?

Л е с я. Дурак. Дебил.

Ж е н ь к а. Ну давай, ударь меня. (*Леся замахивается, но, помедлив, опускает руку.*) Ударь, тебе легче будет. Хочешь, снегом закидай. Я считаю, что все сделал правильно. Неизвестно, до чего могло бы дойти.

Л е с я. Да уж это не твое дело! (*Начинает закидывать его снегом, засовывает за шиворот. Женька вертится волчком.*) Как вы меня задолбали все... Нравоучители хреновы! (*Зло кидает в Женьку снегом — еще, еще.*) Вот тебе! Надо было и ему снега за шиворот...

Ж е н ь к а (*хохочет*). Давай, давай! Давай за шиворот! Нефиг тут поучать!

Они закидывают друг друга снежками. Леся попадает снежком Женьке в лицо.

Женька. Ой! В глаза-то зачем? *Щас, погоду, протру окуляры...*
(*Снимает очки, его толкает сумкой проходящая тетка, Женька падает в сугроб, по-дурацки задрав ноги. Леся, неожиданно для себя, начинает хохотать, и смех не злой. Женька возится, пытается встать.*)
Где очки? Блин, очки посеял. Поищи, а?

Леся. Может, здесь?

Задыхаясь от смеха, Леся шарит руками в снегу. Женька хватает ее за руку, тянет на себя, Леся с визгом падает на него.

Женька. Теперь ты их точно расплющила!

Леся. Зачем ты меня уронил? (*Хочет, не может встать.*)

Женька. Я уронил? Ты сама себя уронила! Падшая женщина!
(*Оба так сильно смеются, что не могут встать.*) Давай снежного ангела сделаем! Будешь тогда падший ангел! (*Делают «снежного ангела», встают, смотрят на результат.*) Это каракатица. Какие мы все-таки идиоты!

Леся. Нет. Это дерево.

ЭПИЛОГ

Вокзальные объявления: «Поезд отправляется...» Помехи, шумы, хрипы. Сквозь белый шум прорываются голоса. Они продолжают звучать, пока свет медленно гаснет.

Женский голос. Не надо ему звонить.

Голос девочки. Хочешь, я расскажу тебе сказку?

Женский голос. Он сменил номер.

Голос девочки. Папа, когда ты вернешься?

Голос Сергунова - старшего. Пять минут в запасе, потом я пойду.

Голос Володи. Я до сих пор не знаю причины.

Женский голос. Зачем тебе знать?

Голос Захарцева. Легче зачеркнуть человека.

Голос Сергунова - старшего. Ты все выдумал.

Голос Захарцева. Надо платить по счетам.

Голос Сергунова - старшего. До начала истории нет ни правых, ни виноватых.

Голос Захарцева. Откуда ты знаешь, когда все началось?

Занавес

Георгий ПАНКРАТОВ

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Данный текст представляет собой подборку заметок, прямо или косвенно касающихся темы креативного класса. Большая часть была написана еще до событий на Украине, остальное — уже под впечатлением от них. Но разделять этот текст надвое было бы неправильно: в данном случае мы имеем дело с явлением целостным и практически не подвластным изменениям — Украина лишь высветила некоторые черты, не столь заметные прежде, но отнюдь не отсутствовавшие. Поскольку именно креативный класс сыграл ключевую роль в том, что в XXI веке стало возможным немислимое безумие, творящееся в «отдельных регионах Украины» и отдельных головах, я вновь возвращаюсь к этой теме в попытке понять: кто эти люди, как они устроены?

Считаю важным уточнить, что я не исследователь, а писатель. Всем, кому интересно научное исследование креативного класса, рекомендую замечательную аналитику Маринэ Восканян (работы которой в свою очередь отсылают к российским и зарубежным исследователям «креаклов»). Предлагаемый текст — мое частное мнение, мнение эмоциональное и предвзятое, т. к. для меня важна моральная, а не экономическая сторона вопроса. Я не выступаю от лица какой-то общественной группы, литературного или иного объединения, участие в которых меня никогда не интересовало. Это мысли человека, проезжающего в поезде жизни, как водится, от рождения к смерти и глядящего, за неимением другого, на то, что эта жизнь показывает в окне.

* * *

Впервые слово «креативный» я услышал в начале нулевых, в компании подруг с подготовительных курсов: любое новое слово «обкатывалось» в компаниях, пробовалось на вкус и слух. По любому поводу продвинутые девушки говорили «креативно», и я, к стыду своему, слова не знавший, спросил одну из них: а что же оно означает? «Как, ты не знаешь? Креативное — это значит все, что имеет отношение к творчеству». «Творческое, значит?» — простодушно спросил я. «Ну, не совсем», — замялась девушка. Однако принципиальной разницы между творчеством и креативом объяснить так и не смогла.



Признаться, я никогда с тех пор не пользовался словом «креатив» в повседневной речи. Не делаю этого и сейчас, когда слово стало неотъемлемой частью языка, да и самой жизни, где ты обязан быть «креативным» просто для того, чтобы выжить — даже если ты грузчик или продавец-консультант (мне повезло познать прелести обеих профессий, и не исключено, что посчастливится вновь). Возможно, потому, что теперь понимаю отличие творческого человека от креативного: если первый действительно создает что-то, повинувшись единственной цели — создать, ибо иначе не может, то второй имитирует творчество при отсутствии его внутреннего содержания.

Для чего? Для создания непонятого и ненужного продукта, который в свою очередь служит удовлетворению чьих-то не очень осознанных потребностей. Творчество — мучительная и долгая работа, креатив — имитация деятельности; творчество в основе своей бескорыстно, креатив может быть только коммерческим. «Креатив — это глупое слово, употребляется в ироническом смысле. Так называют результат чудовищных усилий крохотных мозгов», — разъясняет неформальная интернет-энциклопедия «Луркоморье» (Lurkmore), популярная как раз у креативного класса. «Креативненькие» — блестяще характеризует их журналист Леонтьев, приближая семантически к юродивым, дурачкам.

Креативный класс и политика

Само понятие «креативный класс», если уж на то пошло, не содержит в себе никакой «избранности», это класс исполнителей, обслуживающий персонал, в большинстве своем занятый объяснением, продвижением чужих целей и решением чужих задач. Результат этой деятельности не нужен и не интересен никому, кроме самого «креативщика» и его заказчика, да и то взаимоотношения между ними зачастую происходят ради имитации какой-то деятельности, а не достижения практически полезных целей. Тем не менее, получая за свою имитацию в разы больше денег, нежели множество людей в стране, «креативщики» возгордились, мысленно ответив на собственный же вопрос: «Кто на свете всех нужнее, кто на свете всех важнее?» — конечно же, мы любимые.

Разумеется, подобная работа и подобный образ жизни имеют право на существование, а люди, занятые ей, — на самоопределение, но вот эта их претензия на «избранность» совершенно глупа и неуместна. Более того, в само понятие «креативный класс» заложены тонны пафоса и презрения к окружающим, а также вызов обществу и социальная агрессия: только мы умные, только мы способны мыслить, только мы имеем право хорошо зарабатывать, и только под нас должны быть заточены условия жизни в стране. А все, кто «некреативны», — лузеры, грызите банан.

Того, что «расцвет» креативного класса произошел во многом благодаря Путину, представители этой прослойки общества стараются не замечать. Но не будь проклятой «путинской стабильности» — не было бы и спроса на их деятельность, стране бы требовались совершенно другие услуги, которые завсегда набившего информационную оскомину московского кафе «Жан-Жак» (этакого Смольного для креаклов) никогда не смогли бы предоставить. Живя

лучше большинства людей в стране, они непрерывно сокрушаются, что им не дают «свободы», хотя на самом деле недовольны они тем, что страна не признает их исключительности, не молится на них, не боготворит их.

Когда начались первые протесты на Болотной площади, вся эта публика показала свое истинное лицо. До этого, начитавшись их постов в Facebook, можно было строить какие-то иллюзии насчет честных людей и «рассерженных горожан», но стоило им выйти из виртуального мира в реальный — и все иллюзии развеялись. Они мнят себя «совестью нации» и отождествляют себя с русской интеллигенцией, являясь в действительности лишь ее подделкой, максимум демоверсией. Начнем с того, что сериалы, кофейни, велосипеды, интернет-мемы, новомодные гаджеты, из которых «чуть более чем полностью» состоит жизнь современного «креативщика», никогда, ни в каком страшном сне не могли бы стать предметами интереса настоящего русского интеллигента. Академик Сахаров — это совсем не то же, что Pussy Riot, ведь в отличие от них он известен не только «репрессиями» и ссылкой. Солженицын для подавляющего большинства этих людей — всего лишь знакомая фамилия, годная к использованию в протестном креативе, преимущественно в связке с «неполживостью», поэтому представить их читающими «Архипелаг» или «Красное колесо» невозможно.

Слепое поклонение Западу, ориентир на «евроценности» также никогда не были отличительной чертой русского интеллигента, который в горестях ли, в радостях, но до последнего был со своим народом.

«Креативщик» свой бедный народ искренне ненавидит. Любой, кто поддерживает в Facebook «белую ленту» и «едину краину», имеет в ленте собственной пару обязательных постов «про русское пьяное ленивое быдло». Каждый, кто занимается не художественной фотографией и не веб-дизайном, на креативном языке именуется Шариковым: вообще, произведение Булгакова идеально вписалось в эту концепцию ненависти к «простому», «некреативному» человеку, несчастный Полиграф Полиграфович стал одним из самых ярких ее символов. Но любой интеллигент считал своим долгом просвещать народ, а не втаптывать его в грязь...

Исключительные человеческие качества — ум, честь, совесть — по совершенно непонятным причинам креативный класс присвоил себе, установил свою на них монополию. Хотя совершенно очевидно, что на улицы их выгоняют вовсе не эти качества, а простое желание более комфортной жизни да хулиганское намерение «покреативить», потому что жизнь этого класса, лишенная возвышенной цели, как ни крути, скучна. Благодаря своему креативу, они сразу же превратили митинги в клоунаду, на которую стыдно и больно смотреть, дискредитировав само понятие митинга.

И это неудивительно. Ведь если вы хотите революции, помните: революционеры всегда романтики, движимые идеей всеобщего счастья, а не отстаивания мелочных интересов узкой социальной группы. Революционеры — творцы, а не «креативщики». Света из Иванова, с которой «болотные» во времена зарождения протеста активно ассоциировали путинский электорат, всем смешна, но в ее речи, выложенной на Youtube, есть пронзительная и правильная мысль: «Как нормальный человек вообще может называть себя хомячком?» Они —



могут, более того, им не стыдно выходить против власти в костюмах хомяков, а лидеру оппозиции, к персоне которого я еще вернусь, — в окружении этих хомяков фотографироваться. Своей иконой они выбрали омерзительных Pussy Riot, чье «деяние» не имеет никакого отношения ни к творчеству, ни к протесту — только к откровенному скотству. И — куда ж без него — к креативу.

Уже по итогам первых «болотных» сборищ можно было с уверенностью говорить, что именно безудержный «креатив» похоронил идею протеста в России. На фоне умопомешательства, демонстрируемого «креативненькими», Путин волей-неволей стал единственным гарантом рассудка. Карнавал, который устроила оппозиция вместо заявленной борьбы (именно потому, что в сердце этой борьбы был помещен тот самый «креатифф»), достоин только одного — быть высмеянным. Чем и занялся Путин в своем известном комментарии про презервативы и «борьбу со СПИДом».

Умные люди массово отворачивались от оппозиции, которая открыто противопоставила себя любому проявлению разумной, деятельной мысли. И были правы: протестуя против чего бы то ни было, не нужно превращаться в клоуна. У клоуна задача — развлекать народ, а не вести его за собой. А если ты этот народ еще и ненавидишь, то развлекать остается только самого себя. Это и есть в двух словах то, чем занимаются лучшие умы креативного класса, полагая, что именно такая деятельность называется политикой.

Креативный класс и журналистика

Если не самая большая количественно, то уж точно самая громкая и по аналогии с клопами «вонючая» часть креативного класса занимается журналистикой или, как и в случае с политикой, — полагает, что занимается ей. Правда, здесь уже задумаешься, прежде чем произнести «лучшие умы».

Я глубоко убежден, что журналистика как профессия испытывает глубокий кризис. Собственно, этим утверждением я не открываю Америки: оно высказывается сегодня многими, аргументированно, последовательно, а главное — профессионально обосновывается. Я же хочу остановиться только на двух аспектах.

Первый — это доступный любому офисному работнику новостной агрегатор «Яндекс. Новости», на который, минуя Facebook и информагентства, заходят люди, не имеющие отношения к СМИ, чтобы узнать текущую повестку дня. «Яндекс. Новости» устроены таким образом, что информация попадает в топ (то есть на главную страницу Яндекса) в том случае, если она публикуется информационными пролетариями в просторных ньюсрумах со скоростью, не позволяющей даже осмыслить содержание самого текста, не то что проверить его на фактические ошибки — о грамматических я уж молчу, они давно норма. Речь об элементарном соответствии текста действительности — то есть с некоторых пор (не берусь говорить точно, но замечать подобное лично я начал около двух лет назад) стало совершенно неважно, произошло событие на самом деле или нет.

Принцип стихийных публикаций, обеспечивающий возможность прицепиться мидией-прилипалой к гигантскому кораблю агрегатора, который, соб-

ственно, и удерживает на плаву самих информационных пролетариев, устроен так. Появляется срочное сообщение: «Случилась некая фигня». Все существующие СМИ и опоздавшие агентства, соревнуясь друг с другом в секундах, чтобы занять строчку в агрегаторе повыше, спешно перепечатают: «Некая фигня случилась», «Произошла такая-то фигня». Спустя час (два, три часа, сутки) появляется срочное же опровержение: «На самом деле фигни не было», и мидии-прилипалы срочно лезут в админки и бешено стучат по клавиатурам: «Никакой фигни не происходило», «Нам натрындели», «Вас обманули». Действительно, зачем тратить драгоценное время на подтверждение информации, если потом ее можно запросто опровергнуть? Вот и читаем опровержения каждый день: да ладно, ребят, ну оказалось, что все не так, да не парьтесь. Вот только первые вспомнившиеся примеры: матч звезд УЕФА (который и не планировался), Порошенко предложил Путину забрать Донбасс (вряд ли нуждается в пояснении), корейского министра расстреляли из зенитки (вообще молчу). Вот вторые: дилеры опровергли запрет на продажи подержанных авто с рук, СКР опроверг информацию об отказе от иска к Евгении Васильевой. Новости, начинающиеся словом «опроверг», скоро будут составлять половину информационного потока, а топ-5 новостей Яндекса вполне рискует через пару лет превратиться в топ-5 опровержений.

Второй аспект важен как сам по себе, так и тем, что отчасти объясняет, почему стал возможен первый. Однажды я затронул его в одном из своих старых текстов. «Целые редакции журналов ничего не делают, а только ищут, с чего бы поржать», — писал я. И ошибался: фраза «ничего не делают» была лишней. Ржать целыми днями для многих и есть дело, работа. Это стиль жизни. Это требование к соискателю. Это, в конце концов, призвание. Существуют и целые ресурсы, посвященные самым отвратительным новостям со всей России. Что и говорить, тот же «Лайф.ру» — уже классика, профессионалы поиска всякой дряни по всему свету. Либеральные СМИ также очень жалуют подобные разделы: это доказывает их любимую теорию о быдле и сверхэлите, а также дает возможность приличным и рукопожатным людям подивиться ужасам «этой страны». Всем была хороша интеллектуальная «Русская жизнь» — первая, еще печатная, — но даже там присутствовала характерная рубрика «Анекдоты», полная историй о сельских матерях, топящих в чанах новорожденных детей.

Если, например, в 1990-х журналистика в общественном сознании была прочно связана с «чернухой», а журналисты, соответственно, только и делали, что копались в грязном белье и выискивали ужасы (по представлению обывателя), то журналисты 2010-х — это те, кто все подвергает осмеянию. «Ржака» воспринимается основной составляющей журналистской (редакторской) работы, а безудержное, граничащее с безумием чувство юмора — чуть ли не главным мерилом профпригодности. В соцсетях страницы таких профессионалов ежечасно обновляются новыми ссылками на «ржаки», собственными наблюдениями-«ржаками», под которыми незамедлительно начинают упражняться в остроумии профессионалы-френды с абсолютно идентичными «ржако»-аккаунтами.

Главный источник ржаки — это какое-либо событие, как правило, произошедшее в провинции, главный объект — это, конечно же, бестолковый простой



народ, ее населяющий. Популярный «Омич против томича» (своеобразный виртуальный турнир мерзостей, проводимый между соответствующими городами, — откуда придет больше дряни), описание скудных развлечений сельской молодежи, конкурсы от компаний-производителей популярных у небогатых слоев населения продуктов («Роллтон»), в которых принимают участие обыватели, фото русских свадеб и застолий — все сгодится для знатной «ржаки». Популярное ныне в креативной среде дурацкое словообразование «мы про...» позволяет описать тенденцию коротко и емко: современная журналистика — это про ржаку.

«Москвич украл из храма Покрова Богородицы в Покровском-Стрешнево медальон с мощами святых Петра и Павла, чтобы исцелить ими жену», — смеется в Facebook Павел Пряников. Издание «Лента», пригласившее его на работу, в «золотые» свои времена куражилось над обывателем в видеопроекте «Lenta.doc». Так, для репортажа с фестиваля «Нашествие» из трехсот (или сколько там было) тысяч посетителей они выбрали троих ушлепков (действительно забавных, но безобидных) и, мастерски смонтировав ролик, выставили их объектами презрения.

Но хуже другое. Иногда журналист в ситуации острой нехватки «ржаки» начинает выносить в открытый доступ на суд френдов и подписчиков личную переписку. Кандидаты присылают резюме редактору — скорее ржать. Написал журналист текст, не подходящий редакции, — недостаточно просто отклонить его, указав на ошибки. Нужно высмеять публично. Кстати, подобные редакторы ответственны и за появление целой категории журналистов, полагающих, что если ржать не над чем, то и писать незачем: темы нет.

С некоторых пор очевидно, что в современной России есть настоящая взрослая журналистика (надеюсь, что мой текст никак не задевает профессионалов — военкоров, рискующих жизнью на Донбассе, например), а есть дети, играющие в редакционных работников.

О том, как зарождалось мировоззрение, определяющее сегодняшнюю журналистику, пишет Сергей Чупринин в книге «Критика — это критики. Версия 2.0»: «Да что вы, дяденьки-тетеньки <... > зачем уж так серьезно ко всему относиться? <... > Увлекательная и азартная игра в политику, веселая игра в культуру, игра во взрослую жизнь, где только все прикидываются взрослыми, а покажи палец — расхохочешься». Чупринин пишет о «Коммерсанте» начала 1990-х, пишет без осуждения, с пониманием. Вот только серьезным и умным людям совершенно незачем перенимать повадки детей.

К сожалению, подвержены всему вышеописанному не только малоизвестные труженики московских редакций, но и весьма уважаемые персоны вроде одного главного редактора патриотического ресурса, которую всегда интересно читать, за исключением тех случаев, когда она постит очередное «письмо в редакцию» с сопроводительным насмешливым комментарием, или известного писателя (а по совместительству редактора и много кого еще), не стесняющегося выкладывать в соцсети рассказ о том, что «прислал один автор для журнала». Не стану называть их имена.

...Как-то глупо объяснять взрослым людям, что существует тайна переписки: она остается личной в любом случае, ведь письмо написано вам, резюме



адресовано вам, текст отправлен вам, причем не именно вам как человеку, а вам как представителю издания, то есть изданию в лице вас.

Современным журналистам, колумнистам, редакторам — плоти от плоти креативного класса — пора переставать считать себя «королями мира». Тем более мира, королями которого они могли бы себя считать, больше нет.

Война, как поет Скляр, на пороге, огромные тектонические плиты истории сдвигаются со своих мест, требуя осмысления, время ускоряет свой бег, требуя действий, люди, судьбы — все валится в водоворот разверзающегося ада, а вы все ржете над тем, как семейная пара отправила свою фоточку на конкурс фирмы «Роллтон» — глупые людишки «сделали ваш день». Смех, да и только.

Креативный класс в городской среде

Существует точка зрения, что креатив — это когда нет денег на стиль. Иными словами, все эти бесконечные хенд-мейды, антикафе, коворкинг-центры и кластеры создаются потому, что нет возможности нормально отдохнуть и нет желания нормально работать. Так это или нет — вопрос спорный, хотя на уровне рядовых «креаклов» и кандидатов в «креаклы» это вполне вероятно. Порой «креативные вещи» оцениваются самими «креативщиками» в такие суммы, что быть стильным в классическом понимании, кажется, проще. В любом случае, хотя и вкусы, и запросы этой публики странны, это вопрос их выбора. Но проблема в том, что представления «креативщиков» о прекрасном агрессивно навязываются и остальным группам населения.

За приобщение молодежи к креативному классу отвечают несколько СМИ — «Кольта», «Слон» и «Афиша», а также ряд мелких изданий, созданных по образу и подобию. У них большая аудитория, которой они успешно впаривают как образец утонченного вкуса настолько ужасающую и однообразную музыку, что волосы встают дыбом (справедливости ради стоит отметить, что встречаются и достойные примеры, но значительно реже).

С бесконечными, опять-таки однотипными сериалами, которые так любят «креаклы», можно смириться, образ жизни и отдыха, который они продвигают на страницах своих изданий, вызывает интерес, правда, только со стороны — интерес наблюдателя.

Однако совершенно непонятно, на каких основаниях креативным классом захвачено городское пространство — и почему именно он занимается оформлением тех же городских парков, хотя гуляют в них все и далеко не всем по душе то безобразие, в которое превратили сначала парк Горького, а теперь вот, похоже, отыгрались на ВДНХ.

Да, парк ВДНХ возродили, вдохнули в него вторую жизнь, отреставрировали или просто покрасили павильоны, но и опошлить в своем креативном стиле тоже не забыли. Вместо возрождения великолепных старых ресторанов наспех сколачиваются временные кафешки-антикафешки, где тесно, дорого, в меню одна-две позиции, но креативно. Территория парка наполняется какими-то синими черепашками, разноцветными гусями, невнятными деревянными кон-



струкциями, «пиксельными человечками», которые на фоне величественной, строившейся на века грандиозной выставки смотрятся просто омерзительно.

Вот как пишет об этом Маринэ Восканян: «...сделали ставку на превращение в cool cities — то есть на создание городской инфраструктуры, привлекательной для креативного класса. Эта инфраструктура включает в себя офисы, клубы и кафе, расположенные в переделанных исторических зданиях, дизайнерские рестораны, множество псевдодемократичных элементов — велосипедные дорожки, размещение на улицах и в парках арт-объектов современного искусства и другие детали».

Все это поощряется властями Москвы, на арт-объекты выделяются гранты, которые немедленно осваиваются и реализуются вот в таких вот синих черехаках и гусях. Надежда на одно — страсть креативного класса к временным конструкциям вполне может символизировать временность самого этого класса. Временно, впрочем, все. И, может быть, даже хорошо, что все эти конструкции ненадежны и недолговечны — когда-нибудь убирать будет проще.

Предпочтения креативного класса в искусстве, как, наверное, знают все, — это разнообразные инсталляции и перформансы. Стоит отметить, что я не отождествляю все современное искусство с креативным классом и не выступаю с резким его неприятием. В креативном классе ведь страшно не то, что он креативный, а то, какое применение находит креатив и какой он приобретает заряд, а это почти всегда заряд отрицания, протеста, то есть фактически — антиобщественный заряд.

Для примера посмотрим, что же предлагает креативный класс на праздники населению. Случайно ознакомился с программой мероприятий, запланированных на 1 Мая в московском парке «Сокольники». Организаторы, похоже, избегают слова «труд» как огня, а если упоминают его, то лишь как в названии вечернего шоу: «День труда в другом контексте». Несмотря на неполитический характер праздника, подчеркивают организаторы, у него будут свои лозунги: «Клерки — не мы! Мы — творцы!», «Труд без творчества в лес не убежит!» и прочие, подобные им. Таким образом, даже в увеселительных мероприятиях, ориентированных, как и положено в народный праздник, на всех, изначально заложено противопоставление одних другим, неприятие чьей-то деятельности.

Запланирован и «митинг против бытового хамства». Идея замечательная, но как понимают хамство в сегодняшнем обществе? Если простой продавец на кассе не так ответит креативной покупательнице в норковой шубе — это хамство, а вот если она ему — это всего лишь «жалоба на некачественный сервис».

Хамство для «креакла» вообще ключевое понятие во взаимоотношениях с остальным, некреативным миром. При этом данное качество, помноженное на заносчивость, вообще свойственно креативному классу больше, чем какому-либо другому.

Феномен успеха Навального, завладевшего умами и сердцами «креаклов», лежит совсем не в области политики, а именно здесь: он «такой же». Показателен случай локального конфликта креативного политика с одним из журналистов (либеральных, кстати, то есть Навальный не сдерживается даже «в кругу друзей»).

Но то, что Навальный, как мне кажется, очень похож на базарного хама, никогда не отталкивало его аудиторию, потому что она в большинстве своем из подобных граждан и состоит. Повторюсь, речь Навального и стилистически, и содержательно вполне естественна для той прослойки общества, на которую он опирается. Если мы послушаем речи других креа-политиков, фирменный стиль которых — хамство (при этом перемежаемое обвинениями в хамстве в адрес оппонента), то легко убедимся, что Навальный — один из самых сдержанных и вежливых. Каков поп, таков и приход, говорят в народе, но в данном случае ситуация скорее обратная.

Чего у «креативщиков» не отнять — так это жизненной активности, а вернее гиперактивности. И эта активность проявляется в любой среде, где они оказываются, зачастую становясь для этой среды разрушительной. Переизбыток энергии тратится на то, чтобы привить остальным свое представление и о вкусе, и о сложности, и о правильном применении и выражении интеллекта.

Мне категорически не нравятся их рассуждения о вещах, в которых они мало смыслят, не нравится засилье всего этого «хенд-мейда», не нравятся концепции образа жизни, отдыха, музыкальные пристрастия, навязываемые ими, не нравится подмена творчества «креативом». И главное — мне не нравится их активное противопоставление себя всему остальному. Но благодаря своей кипучей энергии они вытесняют все, что мне дорого и приятно, но что не столь энергично, и заполняют все вокруг собой и своими синими черепахами.

Креативный класс и свобода

Однажды мне довелось спорить с яростным «белоленточником» в Сети: увидев мою ссылку на Михаила Леонтьева (а я в те дни еще сидел в Facebook, по наивности считая его чем-то вроде Дома знаний), он принялся писать мне в личку оскорбления в духе «православная путинская шляха», перемежаемые угрозами выселить из снимаемой мной комнаты в тот же вечер — деятель был знаком с хозяевами квартиры.

«Я свободный человек, у меня масса технических и творческих достижений, — писал мне мыслитель. — А ты жалкий путинский раб».

Я смотрел на его фотографию и все пытался вспомнить, где и когда я мог видеть этого человека. Пока наконец не вспомнил: я видел его однажды днем в компании хозяина квартиры, безработного и сильно пьющего музыканта, жившего на средства жены-редактора. Продумав план «как достать на бутылку», они направлялись домой, пока жена была на работе, в надежде найти и выкрасть отложенные ей на что-то деньги. И, надо сказать, вечерний скандал убедил меня в том, что затея увенчалась успехом. Вспомнив, я стал раздумывать: к какому виду достижений это можно отнести — чисто техническому или все-таки творческому?

А спустя некоторое время я понял, что отношения «креативных» с государством похожи на эту историю с деньгами жены. Пока оно существует, те преспокойно пользуются его благами и против него же вопиют. Но если вдруг не станет этого государства, они просто пропадут в темном лесу анархии, как заблудившиеся дети.

* * *

Главные враги «креакла» — менеджер и рабочий, это объекты самых злых насмешек. Первый может зарабатывать сколь угодно денег, но быть «лохом по жизни», второй много денег заработать не может и в дополнение к другим признакам «лоховства» лох еще и поэтому. Нельзя оскорбить «креакла» страшнее, чем назвав его обывателем. При этом сами представители креакласса не только не лишены буржуазности, но и порой насковзь буржуазны. Об этом говорит их самоидентификация как Бобо (bohemian bourgeois, после выхода соответствующей книги «Бобо в раю» Дэвида Брукса).

Я убедился в этом, запомнив характерный случай, произошедший однажды со мной. После закрытого концерта одного малоизвестного музыканта я познакомился с парой хипстеров и отправился к ним в гости, где мы, в общем, неплохо проводили время, но на определенном этапе между нами возникло непонимание. Во-первых, я совершенно не интересовался видеоиграми. Во-вторых, я не поразился дороговизне и эксклюзивности велосипеда, что по-настоящему обидело хозяев дома (а точнее, съемной квартиры). Ну а третий момент так и вовсе чудесен: хвастаясь спальней с балдахином, они практически хором произнесли, вспомнив музыканта (оказывается, их давнего знакомого): «У него-то такой никогда не будет». По части тонкости восприятия творчества мне было глупо дальше соревноваться.

* * *

«Креативный класс» очень любит деньги — уж точно не меньше, чем чиновники и «воры», которых они облачают. Разница лишь в применении этих денежных средств, как говорят сейчас — в освоении. Та же Васильева, поэтесса и по совместительству женщина Сердюкова, раздражает весь креативный класс своей пошлостью, стилистическим несовпадением, но отнюдь не материальным положением и происхождением ее богатств. В известном клипе она предстает как обычная русская женщина, дорвавшаяся до счастья, не боящаяся быть смешной и счастливой.

«Креаклы» хотели бы видеть себя в других клипах, благо в режиссерах среди них недостатка нет. Дело за малым — найти финансирование. А если свергнуть «преступную власть», разогнать «кровавый режим», «спасти страну» — вот тогда... А что, вариант!

При этом проблемы нищего народа не интересуют «креаклов», их волнует, что клип не снять, как Васильева, да чтобы смотрели все — и завидовали.

* * *

Чтобы не выглядеть простым человеком, обывателем, «креакл» готов на все — если не сделать самому, так поддержать, расшарить, репостнуть, лайкнуть. Вспомним акцию некоего Петра Павленского с мнимым прибавлением мошонки к брусчатке Красной площади (сам Павленский в свою очередь поддерживает любую мерзость, например нижегородца Москвина, коллекционировавшего у



себя дома трупы девушек, наряженных в кукольные одежды. Интересно, что и кого поддерживал Москвин?) — так вот, эта акция всего лишь часть игры под названием «война с кровавым режимом».

Потому что акция эта вовсе не антиправительственная, а прежде всего антинародная (это следует из текста заявления Павленского: «метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества»). При этом сам по себе шаг, конечно, требует определенной смелости: что-то ведь должен человек в себе пересилить, преодолеть, решив сидеть голым на Красной площади с «прибитой» мошонкой. Мы видим, как напряжены все его мускулы, как он сосредоточен (как будто картину рисует!). Безусловно, на такое — как ни оценивай саму задумку — нужно решиться.

Но те, кто восхищаются этим шагом, почему же не восхищаются обыденной смелостью шахтера, отправляющегося в забой, каждый раз не зная, вернется ли он живым? Почему не восхищаются матерью, работающей в ночную смену и затем еще на двух работах днем, чтобы прокормить ребенка? Скорее всего, потому что скучно.

Но почему все свои усилия человек, прибывающий собственные гениталии, направляет именно против этих людей, за что именно их он так ненавидит? А главный вопрос: какое имеет право? Говоря их же протестным языком: что делает его странную выходку легитимной?

Но вот для креа-СМИ такого вопроса не существует, как не существует и самого народа. Потому что есть более важные вещи: есть переписки на страницах изданий под прикрытием великих и модных брендов, а народ — это скучно, неинтересно, это не like, не share и не crosspost. Это «темное быдло», «путинский электорат».

Поэтому наши прекрасные креативные мыслители всегда будут писать о тех, кто что-то прибывает к брусчатке Красной площади, и при этом будут — кто бы что ни говорил — их соучастниками, вдохновляясь ими и вдохновляя их. И чем больше будет чего-то и где-то прибито, тем больше и с большим остервенением станут писать.

Пусть в Новодвинске Архангельской области, где умирает градообразующее предприятие и людям вскоре в буквальном смысле (в отличие от Павленского) будет некуда деть себя, или в башкирской Агидели, где на самые грязные и низкооплачиваемые вакансии конкурс 25 человек на место, — пусть-ка там народ подивится, как смелые столичные художники борются с проклятой диктатурой.

* * *

Удивительной чертой «креаклов» является трепетное отношение к 1990-м годам, романтизация артефактов, образов и типажей того времени. На первый взгляд, это странно: ведь правила бал в 90-х суровые и дикие люди окраин, завидев которых даже на светлой улице днем «креакл» быстренько перебежит на другую сторону. Но стоит вспомнить, что эти самые люди окраин — вовсе не рабочие и не служащие и не прочие законопослушные (то есть, по мнению «креаклов», быдло) граждане, а отморозенные на всю голову бандиты, жившие одним днем.



90-е годы в понимании «креаклов» (как и отморозков) — это время, когда «можно было все». И потому чиновники и бизнесмены, наворовавшие у обнищавшего народа капиталы в первые годы «демократической России», вызывают у «креаклов» восхищение (всего добились сами в условиях свободы; вот что рассказывает Шендерович о своем знакомом олигархе: «В итоге он вошел во владение химическим комбинатом, который немедленно разорил, продал, вывел 20 миллионов в офшор и разбогател, о чем и рассказывал мне в очень неплохих жилищных условиях»). И потому так ненавистны им чиновники сегодняшние (наживаются в условиях тотального подавления и кровавых репрессий). Хотя явления, если вдуматься, одного отвратительного порядка.

Культурные центры и галереи спешат откликнуться на новый запрос «мыслящей прослойки». Так, экспозиционно-мемориальный отдел Музея современной истории России на Делегатской предлагает театрализованное представление: 90-е здесь представлены сценой покупки «выродковой» шапки на вещевом рынке и инсценировкой популярных анекдотов про «новых русских».

«Как я люблю 90-е, — шепчет один студент другому. — Конечно, мы были бы там лишними, но... Какое же было время!»

Это мероприятие так называемой «Ночи музеев» — популярной в последние годы акции свободного доступа к культурным центрам. Люди с повышенной неполживостью традиционно собираются в этот день в общественном центре имени Сахарова. Экспозиция «Путь ГУЛАГа» бережно хранит для нового поколения предметы того времени — бытовую утварь заключенных, лагерные заметки, таблички с надписью «Выхода нет»; и все это в сопровождении хронологии протестного движения в СССР вплоть до последней даты — «Развал Советского Союза». Публика, склонная считать нынешнее время логическим продолжением этого репрессивного маршрута, собирается в сквере неподалеку послушать современных музыкантов, выражающих протестную позицию: «Вокруг все так необычно, / Год за годом, мода за модой. / Но нас не возьмут с поличным, / Им не расшифровать наших кодов». Зрители вяло аплодируют.

Креативный класс и Украина

Украинский кризис послужил новым витком к пониманию явления с названием «креативный класс»: до событий на Майдане оно представлялось кому-то забавной, кому-то непонятной, кому-то органичной и даже вполне симпатичной частью современной действительности. Но выяснилось, что «креакл» не так уж безвреден и безопасен.

Еще задолго до провозглашения в соседней стране новой власти «Лента.ру» — наиболее агрессивное издание того времени — уже вовсю пиарила «Правый сектор» и крымских проукраинцев.

«В российских СМИ есть внешняя цензура — по звонку, а есть внутренняя — не писать о чем-то, чтобы друзья не обиделись», — сообщает теперь госпожа Тимченко, бывший главный редактор «Ленты», ныне руководитель нового креа-проекта «Медуза». Согласиться с ней сложно: внутренняя цензура в

«Ленте» не позволяла сказать слова плохого про Pussy Riot, Навального или Ходорковского... Когда «Ленту» прикрыли, «креаклы» завопили: закрыли свободную журналистику, душат «все интересное».

Вот только непонятно, почему это «интересное» — культура, книги, фестивали, кинообзоры, «городская среда» и проч. — отныне стало подаваться исключительно в комплекте с жесткой антироссийской позицией.

Это новый знак «креаклов» и их новая тактика: «культурной приманкой» увлекают думающих, незрелых людей — преимущественно совсем молодых. Если редакция вытаскивает на свет божий какого-нибудь художника, музыканта — то обязательно с заголовком, что «в Крыму после аннексии все передохнут».

Как будто с художником о чем-то другом нельзя поговорить или нельзя найти другого художника, который говорит о другом. Любо́й, даже самый безобидный, на первый взгляд, текст содержит хоть маленький, но обязательный оппозиционный заряд. Даже тем, кто не хочет высказываться о «кровавом режиме», раз десять зададут один и тот же вопрос в разных вариациях, пока он наконец не выдавит из себя что-нибудь подходящее.

Украинские события более не позволяют относиться к креативному классу с позиции стороннего наблюдателя, потому что изменилась реальность. И в этой реальности стало необходимо определиться.

Нынешний креативный класс — это не просто «умники» или хипстеры, это боевое движение, занявшее определенную сторону. Да, среди этого класса фактически нет убийц. Ресторатор и оппозиционер Кабанов, расчленивший в Москве интеллигентную жену, — исключение: он отчитался Злу за креативный класс, но все-таки не стал трендом. Кстати, забавно, какотреагировали креативные редакторы двух телевизионных каналов на это убийство: они натурально подрались за право эксклюзивного эфира с отцом Кабанова. Новость об этом была подана и воспринята, разумеется, в однозначно юмористическом ключе, как и все у «креаклов», не знающих, что любое убийство — человеческая трагедия в первую очередь, а уже потом только «ржака».

Но это было еще в мирное время. Нынешний «креакл» не ржет над убийствами, он однозначно их поддерживает.

Российские «креаклы», которые сейчас, в конце 2015 года, продолжают писать про «внутренние дела Украины», кому-то кажутся безумцами, кому-то предателями. На самом деле это просто люди с другой ценностной системой координат, и упрекать их в предательстве бессмысленно: они даже не поймут, что это такое. В их системе координат человеческая жизнь не является ценностью, а ценностью является только собственность. Украина в данной матрице является неодушевленной территорией, которая кому-то принадлежит. Покушение на чужую жизнь для этих людей вполне естественно, но покушение на частную собственность — преступление. Воспринимая Украину как некий пирог, от которого злобный Путин хочет отрезать кусочек, они злобно шипят: «Не трож-ж-жь», и пусть на месте Украины будет хоть воронка глубиной до самого земного ядра — неважно, главное — она будет «единой» и независимой.

Казалось бы, события вроде произошедших второго мая в Одессе и девятого в Мариуполе или речи херсонского мэра должны наконец «одушевить»



Украину для них, но нет! «Мой друг повесился у вас на глазах, а все вы остались такими же», — пел Летов.

«Креаклы» продолжают писать о рабской психологии как заведенные. «Ты раб, ты раб», — повторяют они каждому, кто скажет слово в защиту людей в Донецке, Краматорске, Славянске. И потому они ничуть не менее опасны, чем упомянутый «Правый сектор». Они ведут свою войну — так называемых «свободных» (их самих) против быдла, против народа.

Они клеймят рабами людей, зажатых в осажденном городе, стоящих до последнего, а сами для своей свободы ничего не сделали, кроме креативных кричалок на своих митингах: покривляться перед ментом, сфоткаться с водометом — это же так прикольно. Их борьба — за какие-то блага для себя, за «власть как сервис», как сформулировал в прошлом году их тогдашний кумир. А осажденные борются — за право жить. Интересно, поймут ли они когда-нибудь разницу?

Теперь, после всего случившегося, мы можем увидеть, как воплощаются споры о быдле и «свободных» на практике. Мы видим это на Украине. Мы видим, что эти «свободные» не остановятся ни перед чем, и именно так они видят свою свободу. Чтобы кто-то мог ездить в Европу и сидеть в дорогих ресторанах, другие должны сгореть в осажденном здании. Поэтому я считаю, что каждый, кто пишет о победившей свободе на Украине, об «овоцах», о «ватниках», — убийца.

Да они и сами не скрывают этого, призывая убивать. Крови им надо, «свободным», они жаждут крови! Я категоричен к креативному классу, но иначе теперь не получается.

Ведь по той же украинской модели все может развиваться и здесь. Хотя сейчас, конечно, ничто этого не предвещает.

Сегодня стало очевидно, что между нашими «креаклами» и идейными нацистами нет никакой разницы. И те и другие делают окружающих на сверхлюдей и недолудей. И те и другие хотят крови. И те и другие глухи к страданиям людей, к мольбам, к чужому горю.

Я до сих пор не посмотрел то видео — со смертельно раненной женщиной, которая что-то говорит в камеру возле Луганской администрации. Уж не знаю что. Но видел ее взгляд на скриншоте, растиражированном СМИ, блогерами и простыми пользователями соцсетей. Она похожа на многих женщин — на тысячи простых женщин России и Украины.

И я знаю, что рядом со мной есть люди, которые одобряют ее убийство. Я думаю, что они могут одобрить и убийство любого из нас. Я читал их комментарии — на самом деле они мирные люди, в «реале» — вне Интернета — у них наверняка есть друзья, они любят модные одежды, у них красивые молодые девочки (ну или мальчики). Может быть, любят клубы, может быть, спорт, может быть, книги — обычные люди, живущие обычной жизнью.

Мне было бы интересно посмотреть, как они выглядят. Подросток, живущий на деньги родителей, эпатажный художник лет сорока в цветных кедах, дамочка — владелица салона красоты, загорелая девушка со стройной фигурой, бородатый айтишник, поэт, предприниматель, поборник здорового образа жизни... Я много смотрел аккаунтов этих «свободных», с жовто-блакитным прапором вместо аватара.

Мы можем мило улыбаться им, пропуская их в очереди, прося передать за проезд в маршрутке, здороваясь в подъезде — совершенно не предполагая, что это вот именно они пишут про «самок колорадов».

В России может когда-нибудь случиться то же самое, что на Украине, и главный фактор, позволяющий быть в этом уверенным, — наличие этого самого креативного класса.

Ненависть копится в воздухе, как газ, наполняет сердца и души людей. Не хватает только искры. На Украине триггером ненависти стал Майдан, он дал сигнал: снимайте маски, теперь можно все.

Как это будет у нас? Как скоро настанет время, когда ненависть выйдет из берегов Интернета? Когда враги признаются друг другу, что они враги, сняв маски улыбочивых коллег и прохожих?

Крымские, киевские, донбасские, одесские события продемонстрировали еще одну важную черту креативного класса, без которой невозможно его понимание, — это бессердечие. Вернее, правильно будет сказать: избирательное сочувствие. Сочувствовать «креаклы» способны только одному горю — попранию свободы, но только в том значении, в котором они ее понимают.

Но они не способны сочувствовать простому человеческому несчастью, если только оно не является иллюстрацией их идей и его невозможно использовать как доказательство собственной правоты. А может, их вечное «жизнь как ржка» просто мешает им понимать боль? И эта черта как раз не является протестом, они не стремятся кого-то ей ошеломить или эпатировать (что в иных ситуациях обожают) — просто люди вот так устроены. Они, разумеется, могут посочувствовать человеку, просто далеко не каждого они готовы человеком признать. И здесь необходимо отметить еще одну черту «креативщиков», одну из самых главных: они искренни. Настолько, что это ужасает.

Но я, как человек совершенно некреативный, хочу спросить: разве избирательное сочувствие не есть бессердечие?

Креативный класс и литература

В конце 2014 года сразу в нескольких изданиях появилась идея подвести литературные итоги, задав влиятельным в этой области искусства людям традиционные вопросы. Таких текстов довольно много, но самый известный появился на либеральном рупоре «Кольта», еще один размещен в журнале «Литература», где печатают и меня.

Во втором случае ситуация лучше — в журнале традиционно дают площадку разным авторам, но и там некоторые ответы вызывают оторопь. Предлагаю посмотреть, чем запомнился (по версии этих двух изданий) ушедший год людям, определяющим литературный процесс: «...Премии — особенно такие статусные, каковой заявляет себя “Большая книга”, — во всем мире имеют столь мощную политическую составляющую, что награждаются не только и не столько произведения, сколько авторы... премия “Обители” — это премия Прилепину... <...> Одаренность Прилепина совершенно созвучна пафосу теперешней власти, а его литературный стиль совпадает с ее теперешней надрывно-квас-



ной тональностью. И это какое же странное искажение зрения надо иметь, чтобы не видеть, как идеально гладко главная книжная премия этого года ложится в его хронологию...»; «Победа публициста Прилепина над здравым смыслом»; «...Большим потрясением... стала подпись филолога Дмитрия Бака под письмом министра Мединского (письмо от имени деятелей культуры авансом оправдывало все будущие действия Путина на территории Украины). Режет слух не только нечувствительность профессионального историка литературы к подобному жесту: не менее оскорбительным кажется мне подписание любых верноподданнических писем с указанием должности, которую занимает подписант. В данном случае вопрос о буквальном разделении ответственности за этот шаг встает перед каждым, кто, пусть даже на полчаса, заходит в любое из зданий музейного холдинга, который возглавляет Дмитрий Бак»; «...Российские охранительные издания... сделали ставку на чудовищную примитивизацию мысли, массовая литература отреагировала незамедлительно»; «...Меня, бесспорно, печалит присуждение премии “Большая книга” Э. Прилепину — мрачный знак...»; «...Прилепин и Шаргунов — косноязычные *чоткие пацаны*, которых столичная интеллигенция, пестуя свой комплекс неполноценности перед сермяжным, посконным и домотканым, сперва назначила в писатели земли Русской, а теперь, глядя на свершения оных големов на общественно-политической ниве, сокрушается и посыпает голову пеплом»; «...До тех переполненных залов, которые собирали в декабре 2014-го вечера украинской поэзии в очищенных от прокремлевских бандформирований районах Донбасса, русской поэзии, увы, еще далеко»; «...Мы прощаемся с годом дурной, опереточной литературности, торжествующей на просторах “ДНР”...»; «Вообще смысл сегодня производится не в России».

Какое соревнование в демонстрации лояльности «единой Украине», прославлении Майдана и бурлящей ненависти к условной ДНР! И это при полном нежелании понимать, что если бы во многом подобные им креативные деятели не повеселились от души в центре Киева, так и никакой бы ДНР и близко не было. Однако не это сейчас главное.

Итак, литературные итоги года. Именно литературные. И подводит их креативно-либеральный литературный «цвет нации». Уничтожение Прилепина (который меньше всего нуждается в моей защите, но важен как иллюстрация) и презрение к патриотам — вот, собственно, все литературные итоги.

Я не собираюсь утрировать и утверждать, что у аполитичного писателя сегодня нет шансов добиться чего-либо в литературе. Но симпатия к Майдану будет, как пишут в резюме, существенным плюсом, тогда как открытая поддержка Новороссии для писателя, особенно малоизвестного, — огромным минусом. Не будь тот же Прилепин уже состоявшимся автором (или големом, по версии почтенных господ) к настоящему времени, дали бы ему состояться сейчас? Большой вопрос.

Креативная околотелитуратура выделяет отношение автора к событиям на Донбассе в отдельный критерий качества его текстов и личности. Как мы видим на примере Прилепина, этот критерий определяющий. Так и представляется чудесная картина, как господа приветствуют друг друга. «Слава Украине!» — рапортует автор. «Героям слава!», — отвечает критик, издатель, редактор правильного журнала.

Поскольку демоны, выпущенные на Майдане, уже никогда не уберутся вон самостоятельно, это значит, что нам предстоит жить и умирать в атмосфере ненависти «совестливых и порядочных людей» ко всякому быдлу, а литератору, имеющему репутацию «крымнашиста», придется туго. Что в этой ситуации делать? Не предавать жизненных идеалов и помнить о некоторых особенностях литературы.

Во-первых, она является одним из многих человеческих занятий наряду с другими, во многом более достойными. Во-вторых, литература и околотелитурный мир — не одно и то же. Литература говорит с Вечностью, а все, что происходит вокруг нее, в лучшем случае посредничает в этом разговоре, в худшем — препятствует, создавая эффект испорченного телефона. Говорить от имени Вечности может любой, но именно она выносит финальный вердикт и все расставляет по своим местам. Это единственное, что важно.

А в Вечности найдется место и представителям обоих лагерей, и тем, кто «над схваткой». Вот именно эти итоги и будут действительно литературными — в отличие от тех, что подводятся сегодняшним креативным классом.

Писатель — это не только талант. Писатель — это человек, у которого рабочий инструмент — сердце. И те представители армии «креаклов» в литсообществе, что превращают литературный процесс в демонстрацию лояльности киевскому режиму (здесь можно вспомнить, например, последнее вручение «Русской (вдумайтесь!) премии»), кажутся мне оглохшими на все сердце. Что не отменяет, конечно, таланта, но таланта в виде сухого порошка, который нечем растворить.

Сейчас популярна точка зрения, что какой-то общей литературы нет, есть несколько несообщающихся сосудов-литератур, и в какой-то мере справедливо, что в каждой из них появляются свои награды, которые будут обязательно доставаться и романам о дроблении России на множество мелких государств (отмечу отдельно, что я с почтением отношусь к личности Владимира Сорокина и мне нравится многое из его творчества, но в современной ситуации очевидно, что его последняя книга используется как знамя и вовсе не художественные ее заслуги интересуют тех, кто это знамя подхватил). Вскоре все будут подводить как бы «свои» итоги и не лезть в как бы «чужие».

Отчасти это уже так, но стоит подчеркнуть, что определяющими сегодняшней литературный процесс (несмотря на награду Прилепина) являются все-таки либеральные институты и персоналии, все тот же креативный класс.

Бессердечие торжествует в литературе. Страницы в Facebook, подписки и «лайки» — вот, собственно, главные итоги года. Это я писал про 2014-й, то же, похоже, придется говорить и о нынешнем, уходящем годе. Далі буде, как говорят на благословенной украинской земле.

Креативный класс и пустота

«Креаклы» и сами похожи на Украину, боготворимую ими, — тем, что они держатся на отрицании: «мы не...», «свобода от...». Обособленность от России — основа существования украинского государства. Обособленность от



быдла (то есть всех остальных) — основа существования креативного класса. То есть, по сути, все та же обособленность от России.

Чтобы представить себя в выгодном свете и доказать оправданность своих претензий на избранность, элитарность, креативная машина безостановочно снабжает нас «говнорашкой» — излюбленным жанром этой почтенной публики. И действительно, многое в нашей российской (русской) жизни вызывает оторопь и боль. А креативный принтер не останавливается, все печатая и печатая жуткие новости.

И думаешь: конечно, улыбчивый парень с бородкой, в очках, с палками для селфи и для накладных усов, что бы он там ни думал по Украине, куда симпатичнее, чем отморозки, вооруженные ножами, бейсбольными битами, «розочками» и арматурой. А значит, и Россия, создаваемая первыми, гораздо симпатичнее «рашки», населенной вторыми. Но это искусственный выбор, насаждаемый «креаклами», иными словами — обман. Ибо, выбирая первое, вы получаете в комплекте такие страшные «бонусы», что захочется ко вторым в гости — с теми, может быть, получится договориться.

Настоящие творцы, конечно, не станут принимать участия в создании и постоянном воспроизводстве «говнорашки». Но креативному классу достаточно собственных мощностей. «Творцы нам тут на... не нужны», — говорил персонаж Пелевина («Generation П»). Неудивительно, что к креативному классу в своем творчестве так часто обращается именно этот автор и что совершенно не исследованы «креаклы» писателями-реалистами. Все дело в том, что это люди из Пустоты.

Криэйтор Олег Кашин — тот самый, который считает, что Донецку «идет быть разрушенным» городом — знает простой рецепт счастья и делится им со всеми нами: оно наступит в стране, когда «уйдут эти». И далее «этих» перечисляет: «с баней и охотой, с серией “Библиотека всемирной литературы”, с водкой с утра, духовностью, гомофобией, церковными орденами, группой “Любэ”, Петром и Февронией, казарменным юмором, ненавистью к Западу, фильмами Гайдая».

Я знаю, что Кашин умный человек. Что дружбу с ним водят многие патриоты. Что он пострадал при таких обстоятельствах, которые в разумном обществе действительно недопустимы, и даже это уточнение — глупо и излишне, но я на всякий случай. Что не любить Кашина — вообще дурной тон...

Но именно Кашин, как никто иной, выражает настроения «креаклов» так точно, что кажется, что им, Кашиным, дышит весь креативный класс и сердце креативного класса бьется в такт строчкам кашинской публицистики и вздрагивает с каждым его твитом (щебетом, в переводе).

Я не люблю Олега Кашина, что поделаешь. Не личность, а те «истины», которые он транслирует. И не люблю весь креативный класс — за те «истины», которые транслирует, среди прочих и лучше прочих, Кашин.

Я люблю баню, которую не посещаю, и охоту, на которой никогда не был, я люблю водку с утра, хотя дожидаясь вечера, да и вообще предпочитаю вино, я люблю группу «Любэ», которую не слушаю, и духовность — да, ту самую духовность, именно в этом смысле, я тоже люблю. И люблю тех людей, которые все это любят.

А в широком смысле — и здесь я приближаюсь к главному противоречию с «креативной вселенной» — я люблю старый мир. В котором встречал Новый год возле елки с аккуратно завернутым подарком, выходил на балкон зажигать бенгальские огни и вдыхать прекрасный зимний воздух, а после — смотреть треклятую «Иронию судьбы», которую креативный класс так ненавидит. И мне очевидно, что я и есть то, что мешает ему жить и утверждаться, что я и есть то, против чего этот самый креативный класс выступает — семантически, идейно, эстетически, как угодно еще.

Это, в общем, и не стоит объяснять. Это можно чувствовать, и это чувствую, разумеется, не один я. Не самое приятное чувство. Когда тебя ненавидят, чего ж тут приятного? На Украине уже нашли способ, как с такими, как я, разбираться — без лишних, знаете ли, сантиментов. В том числе и за «Иронию судьбы». И за группу «Любэ». И за Петра и Февронию. Российские «креативы» застыли в восхищенном ожидании.

А я по-прежнему люблю то время, в котором никакого креативного класса попросту нет, нет вместе с навязанной им повесткой дня, вместе с его синими черепахами и розовыми гусями, накладными усами и палками для селфи, крафтовым пивом и «Пикником “Афиши”», антикафе и хенд-мейдами, героями и славой. Это время было совсем недавно, и оно обязательно еще будет.

Да и вообще — я просто люблю. Может, поэтому и не стал «креативным классом».



Алексей КУРИЛКО

СЛОВО В ЗАЩИТУ РАССКАЗЧИКА

Лично я бы назвал его Настоящим Писателем. Но он упорно настаивал на том, что он — всего лишь Рассказчик. Об этом он как минимум трижды заявлял в своих произведениях. И обосновывал: «Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди».

Его убийственная самоидентификация огорчает: «Я рассказчик, который хотел бы стать писателем». Пусть так, мысленно соглашаюсь я с ним, словно в частной беседе, принимая его приступы скромности за истинное мнение о самом себе. Это его воля. Его выбор. Его право. Это его личное дело!

Мое дело — слово! (Кажется, что-то подобное утверждал и сам Рассказчик.) А в данном случае слово в защиту того, кто отдавался главному делу своей жизни без остатка, со всей серьезностью, но зачислен теперь в авторы так называемой несерьезной прозы, прозы юмористической. Автор легкого «развлекательного чтения». Это было бы еще ничего! Но в последнее время все чаще слышишь отовсюду, что и юмор его невысокого качества, низкопробный, анекдотичный... Стало модным писать критические статьи, используя пренебрежительные, а

порой и откровенно злобные эпитеты: «писатель-сплетник», «поденщик от литературы», «трубадур отточенной банальности», «плебейская проза», «псевдодокументальная спекуляция» и — уже прямо классическое — «литературный пасквилянт»...

Многочисленные читатели, а тем паче почитатели Сергея Довлатова, о котором и пойдет речь, должно быть, немало удивятся тому, что талантливый автор превосходных книг «Зона», «Чемодан», «Компромисс», «Заповедник», оказывается, нуждается в чьей-то защите. Как? Почему? Ведь его книги многократно переиздавались как у нас, так и за рубежом. Эти книги, переведенные, к слову сказать, на десятки языков, раскупаются без всякой рекламы и пользуются действительно заслуженной популярностью, несмотря на то что их автор вот уж почитай четверть века, как почил.

Все это так. А в некоторой защите он тем не менее нуждается. В том-то и дело, что многочисленность поклонников его творчества, безусловная популярность его книг, юмористическая и сатирическая составляющая его произведений, простота и ясность слога — все это ему же и ставится в упрек. Абсурд? (Он всегда замечал немалую долю абсурда в реальной жизни.)

В широкой славе усматривают нечто постыдное. В глазах «серьезных» критиков и литературоведов слава Довлатова обусловлена не его дарованием (добавляют: «сомнительным»), а невысоким интеллектуальным развитием современной читающей публики. Примитивный уровень запросов современного читателя полностью удовлетворяет не менее примитивное чтение посредственного литератора. Вот чем объясняется вся эта шумиха вокруг «творений» Довлатова.

Ладно бы еще, если бы так думали и писали только озлобленные дураки, но порой об этом пишут его умные авторитетные коллеги и даже так называемые друзья.

Итак, первый упрек в адрес произведений Довлатова состоит в небывалой массовости спроса среди потребителей. Грубо говоря, все сводится к банальной мысли: раз это нравится всем, значит, это нечто низкопробное, примитивное, антиэлитарное, архискверное, короче, масскульт... Ну, ширпотреб — это вам не индпошив!

Я не хочу опускаться до обвинений в зависти. Тут, возможно, другое. Хотя я не исключаю и присутствия этим именитым деятелям литературы чисто профессионального снобизма. Ни за что на свете (пока им не заплатят) они не признаются, что их утонченный изысканный вкус может совпасть с примитивными вкусами непрехотливой публики. Если всем нравится Чаплин, то им исключительно Бастер Китон; презирая вульгарного Бальзака, они нахваливают Пруста, а Окуджаву чтут намного выше Высоцкого.

Критикам нравится быть умнее и прозорливее читателя. Вернее, не быть, а казаться.

Впрочем, не исключаю и того, что некоторые из современных критиков не

просто самоутверждаются за счет общепризнанного писателя, публично избиваемого ими, но и свято верят в глубину и искренность своих негативных суждений.

Вот как писал о Довлатове Дмитрий Быков в начале века: «Литература Довлатова оказалась идеальной литературой среднего вкуса для среднего класса. Так возникла его недолгая, но бурная слава: читатель проголосовал за него карманом». Ничего явно оскорбительного, кроме несколько пренебрежительного тона, неп. Строго говоря, выпад направлен не столько против его книг, сколько против читателей. Если вдуматься, этим элегантным пассажем он всего-то и хотел в очередной раз подчеркнуть свое литературное гурманство, но в результате он всех любителей довлатовской прозы записал в категорию среднего класса с невысокими запросами, обвиняя их... не в полной мере безвкусице, нет (тогда он еще не решался быть столь категоричным по отношению к Довлатову и его читателям), а лишь в наличии «среднего вкуса».

Быков это сказал в начале века. Тогда прошло чуть более десяти лет со смерти писателя-рассказчика. Объясняя причины его внезапной славы, Быков был уверен, что она продлится недолго. Прошло еще пятнадцать лет. Слава Довлатова не меркнет. Не кончается. Проявляет какую-то необъяснимую живучесть. «Недолгая, но бурная слава» — как в советское время «загнивание Запада», помните? Но Дмитрий Быков — тут следует отдать ему должное — в отличие от других критиков Довлатова не меняет своего мнения и снисходительного тона.

Популярность среди читателей — ни о чем не говорит. Тут я с ним абсолютно солидарен. Но для Быкова любая популярность — верный показатель дурновкусицы. Популярность — показатель со знаком минус. Как будто великие произ-

ведения априори не могут иметь громкого успеха у большинства. Но ведь было время, Диккенс был бешено популярен. «Тихий Дон» Шолохова имел оглушительный успех! «Мастер и Маргарита» до сих пор один из самых популярных романов двадцатого века. Впрочем, «Мастер и Маргарита» Быкову ненавистен, а в «Тихом Доне» ему нравится далеко не все.

Итак, популярность — недостаток. Проверка временем? Годы тоже, видимо, ни о чем не говорят. Мол, на смену одним недалеким читателям приходят другие, также не особенно «продвинутые». Ничем иным нельзя объяснить неувядающую популярность литературного наследия Довлатова. Быков верен себе. Раньше, правда, он хотя бы пытался как-то обосновать секрет довлатовской притягательности. «Довлатов, — говорил он, — в какой-то момент получил славу, явно превышавшую его литературные да и человеческие заслуги. Это случилось, когда все эмигрантские авторы вдруг стали носимы на руках в России, только что сбросившей бремя тоталитаризма. Уехавшие стали выглядеть гениями, оставшиеся — в лучшем случае конформистами, в худшем — предателями».

Секундочку, но в том-то все и дело, что далеко не все уехавшие пришлись по вкусу читателям и тем более далеко не все из понравившихся остаются в фаворе до сих пор. Вот в чем штука-то! Почему слава С. Д. растет, а скажем, литературная популярность Лимонова падает?..

Словно предчувствуя, что такой вопрос непременно возникнет, и желая тем не менее хоть как-то обосновать причину феноменального успеха этого «посредственного автора», Быков писал: «Сергей Довлатов — гений среднего вкуса, который не холоден и не горяч, а ровно настолько тепл, чтобы всем нравиться. Этот ангел Лаодикийской церкви образ-

ца восьмидесятых годов воплощает собою ту идеальную, совершенную в своем роде посредственность, жизнеописание которой никого не огорчит и всякого утешит. Люди любят, когда им жалуются остроумно и не слишком надрывно. Люди любят неудачников, у которых все более-менее в порядке».

Вот оно что! То бишь двадцать лет писать прозу и не публиковаться на родине, не иметь возможности честно и открыто самовыражаться, терпеть нищету и неустроенность, занимаясь журналистской поденщиной, эмигрировать, дабы избежать тюрьмы, жить в Америке, где снова, чтобы хоть как-то содержать семью, писать для газеты и радио вдали от основной массы своих потенциальных читателей, наконец, умереть в сорок девять лет, едва достигнув столь желанного признания, — все это «более-менее в порядке»? Оригинально!

Странно видеть жалобы там, где он всего лишь делится сокровенным. Он не оправдывался, не каялся в своих рассказах и повестях, он исповедовался. Исповедовался даже тогда, когда все выдумывал и сочинял. Должно быть, Дмитрия Быкова ввела в заблуждение веселая легкость его книг. Умение развеселить, утешить, а порой и рассмешить читателя, когда у самого на душе тяжелейший груз из потерь, разочарований и обид, когда самому грустно... Но, как писал Есенин, «казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». (Хотя зачем я на Есенина-то ссылаюсь? Он ведь, по Быкову, уже к двадцать второму году пропил свой и без того небольшой талант.)

Да, он писал смешно. Это второй и, кстати, главный упрек Довлатову. Так уж у нас повелось. Все юмористическое несет печать второсортности. Так считали раньше, так считают и теперь.

Вот когда мрак, темень, кровь, стон и скрежет зубовный да слог запутан в многопудовом текстобетоне, вот тогда — да! Русская литература! Да еще поучи нас жизни, да направь хотя бы и незнамо куда, а перед этим смешай нас с грязью, да ткни в грехи и глупости наши, но потом дай надежду на то, что мы избранный народ и что каждый из нас, даже тот, кто подышает в блевотине, послав собственное дитя на панель или предав погибели, звучит гордо! Вот! Где! Наша! Великая! Литература!

Великими гениями писатели сатирического и юмористического жанра стать не могут. Во всяком случае, в наших постсоветских краях. Мы, когда ржем, грустное и мудрое слышать не привыкли. А когда плачем, то нам не до шуток. Вот такие мы цельные натуры!

«Что я думаю сегодня о его творчестве? В сущности, думаю то же, что и в 80-е годы. Что писателю Довлатову не хватает градусов души. Что раствор его прозы не крепкий и не обжигающий. Самая сильная литература — трагическая». Это уже Эдуард Лимонов. Он тоже полагает, что сильная литература не может быть юмористической или сатирической.

Быков считает, что Лимонов более сильный писатель, чем Довлатов. Я Лимонова ценю не столь высоко. Он много и старательно пишет. Но я считаю, что он автор всего одной хорошей книги. Все остальное, по сугубо субъективному моему мнению, — эпатажное словоблудие с редкими проблесками одаренности. Быков полагает иначе. Безусловно, он имеет право высказывать свои мысли, но зачем же, яростно доказывая свою правоту и хваля одного, непременно очернять другого?

Если оставить в стороне сомнительные доказательства правоты, то мы остаемся наедине с тем, от чего на самом деле

мы всегда отталкиваемся в оценке того или иного художника: это обыкновенное человеческое «нравится — не нравится», близко мне или чуждо, цепляет или нет, и только-то. Кто-то восхищается Толстым, а тот был убежден, что мастерством владеет как раз Тургенев, которого терпеть не мог Достоевский, которого в свою очередь презирал с профессиональной точки зрения Набоков, более-менее уважающий Чехова, который, как мы знаем, частенько критиковал несовершенство текстов Горького, о которых пусть порой и свысока, но все-таки благосклонно отзывался тот же Толстой, презиравший Шекспира, которого уважал Тургенев, которого любил Бунин, ненавидящий и презирающий Горького, а Горький любил Бабеля, и это было взаимно, хотя Бабель больше учился у Мопассана, а тот уважал и ценил Тургенева, которого не любил Толстой, хотя и понимал, что порой тот умеет писать лучше и Гоголя, и Достоевского, и его самого, хотя Набоков полагал Толстого мощнее всех их, вместе взятых... Помните красочное описание Аппелем яркого фрагмента набоковской лекции? «Зал погрузился во тьму. Набоков возвратился к эстраде, поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. “На небосводе русской литературы, — объявил он, — это Пушкин!” Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. “Это Гоголь!” Вспыхнула лампа посередине зала. “Это Чехов!” Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился к центральному окну и отцепил штору, которая с громким стуком взлетела вверх: “Бам!” Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий плотный луч ослепительного солнечного света. “А это Толстой!”» (Довлатов, например, боготворил русскую литературу, но считал, что американская литература чест-

нее и чище, поскольку не претендует на то, чтобы заменить собою религию. Для американского автора читатель — равный собеседник, а русские писатели частенько публику презирают, они хотят владеть и править умами и душами читателей всецело.) Нет того, кто нравится всем!

Почему бы не признаться в истинных причинах нашей симпатии или антипатии? Скажем, Набоков однажды заявил: «Для меня рассказ или роман существует, только если он доставляет мне то, что я попросту назову эстетическим наслаждением... Все остальное — это либо журналистская дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну». Критикуя Достоевского, Горького, Пастернака, Шолохова, Набоков, к величайшему изумлению многих, искренне восхищался романами Ильфа и Петрова и его несколько не смущала ни массовая популярность романов, ни явная принадлежность диалогии к низкому жанру.

Набоков мог себе позволить быть честным. Его не страшила перспектива быть заподозренным в том, что у него вкус плебея. Это вызывает уважение.

Пусть снобы честно скажут: «Мы не желаем иметь такие же вкусы, как у рядовых потребителей массовой культуры!» Это вполне понятно. Я им слова в укор не скажу.

Пусть коллеги Рассказчика признаются: нас раздражает его слава, мы тут из кожи вон лезем в попытках достичь алмазной чистоты и богатства великой русской прозы, а он, понимаешь ли, травил себе анекдоты да байки... Нам теперь

обидно. Пусть открыто напишут об этом. Я посочувствую им. Во всяком случае, оценю степень откровенности.

Пусть умники и те, кто желает казаться умнее, чем есть, смело объявят о том, что им с детства вдалбливали в сознание ржавые гвозди строгих старых убеждений: все, что читается легко и содержит много юмора, не имеет права претендовать на величие и бессмертие!

Пусть хоть кто-нибудь из критиков хоть раз в жизни начнет свою статью так: «Что толку ругать скучный роман, о котором и так всем известно, что это унылое мягкое дерьмо в твердом переплете? И что толку хвалить лаконичность, поэтичность, метричность, афористичность и многогранность веселой, блестящей прозы Довлатова? Не-е-ет, мне куда интересней доказать, что куча дерьма содержит в себе запасы драгметалла, а золотой корпус довлатовских шедевров — самой низкой пробы, а еще лучше намекнуть о позолоте и выставить автора жалким фальшивомонетчиком. Это выделит меня из толпы. Скандал мне только на руку. Обо мне — мастере слова — заговорят все: и противники, и соратники, и враги, и друзья Довлатова, и те, кто ругает его, и те, кто его оправдывает!»

Критик нападает на то, что ему не нравится. Поделись он своими мыслями и эмоциями, которые вызывает в нем непонравившаяся вещь, получился бы честный и занятный текст, конечно, без претензий на Высшую Истину и Объективный Свод Законов и Правил Абсолютной Гармонии. Но ведь критик не пишет отзыв как просто читатель, он читатель-профессионал, он дока, величайший знаток... Критик не просто выражает мнение, он производит оценку специалиста... И дело тут якобы вовсе не в его вкусе. О вкусах вообще не спорят. А вот чья точка зрения правильная, чье зрение острее, чья на-

блюдательность лучше, а знания о предмете глубже и богаче, об этом спорить можно. И нужно. Это даже не спор. Это полемика и дискуссия. Интеллектуальная борьба. А кто победит, тот и расширит территорию влияния на умы и сердца. Тот царь горы. А если ты проиграл и царь горы другой — надо закидать того, другого, уничижительными эпитетами... И в гордом одиночестве стоять во всем белом! На трибуне лектория!

Ну ладно, по мнению твердолобых и маститых критиков, большинство — не столь умны, как некоторые. Но утверждать, что проза Довлатова — посредственное чтиво, что она по вкусу лишь посредственности с невысокими литературными запросами... Дорогие мои, вы же не столько нападаете на умершего художника, сколько оскорбляете без разбору всех, кто с удовольствием читал или читает его книги. Умный читатель (и такие читают Довлатова) не клюет, как вы решили, исключительно на «веселуху», но, например, может оценить мастерство рассказчика, лапидарность изложения, красоту и точность отдельных метафор, блеск и яркость характеристик, остроту шуток и горечь лирических отступлений...

Вы полагаете, что увидеть явные рубцы от сшивания некоторых историй, или ходульность определенных персонажей, или шаткость отдельных конструкций способны только вы... Мы тоже видим и слабые места, и ошибки, и ляпы в тексте. Идеального текста вообще не бывает... Но мы благодарны автору за наслаждение, которое получили от прочтения, и на весах нашего суждения достоинства перевешивают недостатки... Вы и похуже недостатки прощали своим любимым нудным авторам. Проходящим по списку «кумиров элитной публики».

Вот Веллер тоже невысокого мнения о прозе Довлатова. И он написал — по-

чему. Смело, честно, открыто, насколько мог! Вся суть его книги «Ножик Серёжи Довлатова» вовсе не в зависти, как полагают многие, вся суть вместилась в одном предложении: «...Стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами». И объявил об этом! И обрушил на себя шквал критики! Порой даже незаслуженно злой и оскорбительной, поскольку защитники Довлатова принялись переходить на личности и обвинять писателя в том, чего он не делал. Довлатова он не очернял. И не завидовал он Довлатову. Не завидовал хотя бы оттого, что себя считает более сильным прозаиком. Он был обижен, зол, оскорблен, задет за живое, о чем в меру откровенно и поведал. Он не завидовал, а скорее недоумевал, как случилось, что неидеальная (по его мнению) проза Довлатова пользуется большим спросом, чем его во всех смыслах гораздо более «совершенная» малая проза.

Быков уважает Веллера. Учитель как-никак, наставник. Вот и повторял за учителем: проза Довлатова примитивна. Много лет повторял, но конкретные аргументы блистали отсутствием. Наконец, поняв, что говорить «это плохо», но упорно не объяснять, почему ему так кажется, — странно, недавно Быков разродился желчным большим текстом. Стал поучать, что довлатовские тексты, «особенно последние, написанные уже на Западе, — поражают падением и того весьма скромного таланта, какой у него был: брайтонские байки скучнее зековских и армейских. “Иностранка” — пример неудачной попытки угодить самому невзыскательному читателю: это написано претенциозно и при этом плохо... Оба “Соло” — на ундервуде и на IBM — опять-таки демонстрируют вырождение жанра: байка уже не прикиды-

вается новеллой, поскольку для новеллы требуется и тщательно прописанный контекст, и острая фабула, и внезапная развязка, — нет, читателю предлагается обычный похмельный треп, и какая читателю разница, что каждое слово в этом трепе начинается с новой буквы, ни разу не повторяясь? Ну а повторялась бы она, — что, проза Довлатова стала бы музыкальнее или глубже? Его своеобразная епитимья, по выражению Андрея Арьева, — ни разу не начинать слова в одном предложении с двух одинаковых букв — могла создать у самого Довлатова ощущение творческого поиска и даже интеллектуального труда...»

Стало понятнее? Да нет, все тот же набор... Разве что стало абсолютно ясно, что Быков совсем не понимает, зачем Довлатову было необходимо, чтобы в предложении не было слов «с одинаковых букв»... Он вообще Довлатова не понимает! Например, авторскую скромность он принимает за кокетство: «...Он на свой счет и не обольщался. Но он и не поднимался до высот подлинной, отчаянной ненависти к себе: все — на уровне обычного кокетства. Да, вот я такой, непутевый, часто пьяный, небритый, нехороший. Но ведь я все понимаю про себя! И лучше пить, чем делать советскую карьеру и печатать советскую лживую прозу (что Довлатов тоже постоянно пытался сделать, но, к счастью, получилось только раз — в “Юности”)». А в этой последней фразе Быков нагло меняет причины и следствие местами. Передергивает и дальше: исполненный благородства поступок Курта Воннегута, очерняя, трактует как-то уж совсем по-своему: «А что его Воннегут похвалил, так ведь писатель любит хвалить тех, кто слабей». Ну, если такой логикой руководствоваться, тогда поведение Быкова вполне объяснимо. Хвалю тех, кто слабее, и ругаю тех, кто...

И все-таки давайте попытаемся хоть частично разобраться в сомнительных доводах и аргументах громких утверждений, будто книги Рассказчика скверные и дурно написанные. А также попытаемся понять, верно ли то, чем пытаются объяснить их успех.

Прошу кратко излагать все накопившиеся претензии к Рассказчику и его творениям.

Незамысловатые сюжеты?

Неплохо! Для начала... Незамысловатые сюжеты, стало быть... Это можно считать как минусом, так и плюсом, но, согласитесь, надо быть искусным мастером, чтобы незамысловатым сюжетом держать внимание.

Все его истории анекдотичны и смешны?

Не более, чем вся наша жизнь. Как подать. Под каким углом зрения. Контекст, знаете ли, настроение, натура... Всякую жизнь можно рассказать весело, а можно грустно. Да, Довлатов больше смешил, но внимательный читатель уловит и драматические моменты, и даже трагические в судьбах тех, о ком он рассказывал.

Если юмор и сатира, то к чему эти печальные, а то и драматические лирические отступления?

Отвечу почти что точной цитатой Рассказчика. «Отсутствие чувства юмора для автора — драма, а отсутствие чувства драмы — уже трагедия для автора».

Что еще? Он часто писал о том, чего на самом деле не было или было, но по-другому?

Братцы, да ведь на то он и сочинитель, чтобы сочинять. И увлекать нас своими сочинениями.

Он подавал все таким образом, будто это происходило именно так, как он описывал?

Я не понимаю, мы обсуждаем художественные произведения или протоколы

допросов? Если бы он рассказывал свои истории в суде перед присяжными, тогда мы могли бы ставить ему это в упрек.

Писал он примитивно, то есть слишком легко и просто?

Не путайте! Это читается просто и легко, но каким упорным трудом эта легкость достигается, мы можем только догадываться.

Что еще? Его герои все сплошь подонки, мерзавцы, моральные уроды?..

Так говорили об очень многих достойных людях. А он писал, что в его книгах нет положительных и отрицательных героев, нет плохих и хороших людей, а есть просто люди.

Всегда писал в одном жанре?

Это говорит о верности жанру и постоянстве избранного им художественного метода. Может, кто-то из маститых что-то добавит? Можно сослаться на чьи-то высказывания...

А вот, пожалуйста: «Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры» (С. Вольф).

Слегка приукрасил реальность.

«Я в самом деле один из персонажей этой... книги. И как персонажу мне “неуютно”» (А. Найман).

Понимаю, сочувствую и... поздравляю! Вас обессмертили!

Живя в Союзе, говорил одно, писал другое, а в газетах публиковал третье? Или, как писал Веллер: «Он портил перо х...ней в газетах»...

Нет, не портил, а оттачивал. Он говорил не раз, что журналистика, даже такая, какая была в Союзе, многому его научила! А что писал порой для газет не то, что думал... Об этом он первый же нам и поведал! Оцените хотя бы искренность, если не способны оценить его самоиронию. Он был типичным советским журналистом! Шел с совестью на компромиссы. И первый корил себя за это,

его это мучило, и он первый рассказывал об этом со страниц своих книг!

Здесь остановимся! А то я и так уже прямо слышу то Владимира Бондаренко, мусолящего тему «продажного пера» Довлатова, который якобы постоянно чувствовал в себе «убожество профессионального газетного поденщика, пишущего на любую тему и в любое время», то скрипучий голосок Сергея Каширина, написавшего две огромные статьи, одну из которых назвал «Вертухай Довлатов», и ненавидящего Рассказчика всем сердцем! Вот, позвольте процитировать: «Да ведь и Довлатов всем своим так называемым творчеством не просто бессовестно “погонными километрами” врал, а врал изощренно и целенаправленно русоненавистнически». Это самое невинное место в его статье, кстати.

Ненавидящих Рассказчика полно. Но и защитники найдутся. И друзья его живы! И пишут книги о нем... Правда... даже не знаю, стоит ли сейчас об этом?..

Вот вышла пару лет назад биография Довлатова. Да еще и написанная тем, кто его лично знал. Замечательно!

Но, прочитав книгу Валерия Попова из серии «ЖЗЛ» «Довлатов», я был, мягко скажем, обескуражен. Судите сами, формально книга о Довлатове, но фактически автор поведал о себе больше, чем о том, кого «безнаказанно» называет другом. Попову следовало бы озглавить свой труд «Я и Довлатов» — и тогда никаких претензий к нему, кроме разве что сугубо этического порядка. А так это форменное издевательство над читателем. Попов талантлив, бесспорно. И книга написана сочным, ярким языком, однако для серии «ЖЗЛ» следовало писать в другом формате. Легендарный проект «Жизнь замечательных людей» подразумевает, что автор, подробно изучив героя, расскажет о его жизни, а не

о своей. А Валерий Попов, когда вспоминает о главном герое книги, просто пересказывает и комментирует то, что Довлатов поведал нам в своих книгах, и разбавляет этот жидковатый и остывший супец, который «многие уже кушали», воспоминаниями друзей Довлатова и его врагов-товарищей. Попов схалтурил. Для него Довлатов не гений, а вчерашний младший товарищ, который при жизни не имел такой популярности, как он, Попов, и который после смерти вдруг резко вырвался далеко вперед и уже прочно вошел в список «бессмертных классиков» советской эпохи, а его более опытный и маститый товарищ продолжает видеть, как его достижения в литературе меркнут, размываются на фоне ярко разгорающейся славы Рассказчика. Попов и хотел бы, и старается подавить в себе это неуместное уже чувство превосходства и снисходительности по отношению к вчерашнему неудачнику, но перо выдает, и он лишь с удивлением наблюдает, как из приятного и привычного для себя статуса «талантливый писатель, шестидесятник, один из ярчайших представителей ленинградской литературной богемы», — опускается в нестройные ряды всего лишь коллег и современников Довлатова и, не сомневаясь в праве своем на высокий титул «писатель», получает к нему неизменную прибавку: «друг Довлатова». Он честно это осознает, вскользь об этом говорит, но чаще не говорит, а проговаривается.

Я не утверждаю, что и Попов много наврал о Довлатове. Ничуть. Наоборот. Порой он рассказывает в книге такое, что похуже лжи, — правду, известную только ему, но правда в данном случае задевает даже близких и родных Довлатова. Но меня, повторяю, правда никогда не смущает, какой бы она обидной или горькой ни была. Меня раздражает самолюбование Попова. В книгах о себе, о Попове-

неповторимом, любуйся собой сколько вздумается. Никто не удивится и не возмутится. К такому мы привыкли. Однако не делай вид, будто эта книга о друге. Из серии «ЖЗЛ».

Я не преувеличиваю. Прочитывая коротенький фрагмент из прозы друга о том, как тот в первый раз отправился в школу и каким он был смешным, как был не уверен в себе, Попов вдруг пишет: «Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:

— Нарисуйте каждый что хотите.

— А что, что? — слышались голоса.

— Что хотите!

Такой щедрый был подарок по случаю первого дня».

Затем, поразмышляв о советской школе вообще и о своей в частности, он дает слово другу Довлатова. Тот рассказывает коротенькую историю, заканчивающуюся так: «...Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Серёжу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злосчастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил). Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще — а бедный Серёжа совсем смутился». И дальше Попов вновь начинает делиться с нами своим опытом, полагая, что он будет не менее интересен: «Такое начало школьной жизни было и у меня — с отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами и жизнь “застенчивых мальчиков” состояла из ужаса и унижений».

И так бесконечно, на протяжении всей книги. Порой до смешного доходит. Не зная хорошо маму Сергея Донатовича, Нору Сергеевну, Попов признается: дескать, о ней он мало что может расска-

зять, но! «Но у моего лучшего друга была мать, чуть похожая на маму Довлатова, той же среды и закваски...» И дальше он начинает рассказывать о маме другого друга и делать обобщения!

Абсурд какой-то. А в предисловии Попов еще возмущается, что вдова писателя не дала согласия на использование в книге фотографий и частной переписки Довлатова. Как автор еще не додумался вместо фотографий героя книги вставить снимок какого-нибудь знакомого, сделал соответствующую подпись, мол, это не Довлатов, но профиль почти как у Сергея!

Кстати, Быков в своей вышеупомянутой речи тоже вспомнил о Попове: «Понятно чувство Валерия Попова, сказавшего однажды: “При жизни Довлатов на меня снизу вверх смотрел, а после смерти зазнался”. В одной этой фразе больше цинизма и юмора, чем во всей прозе Довлатова».

Несомненно! Цинизма намного больше, тут я с Быковым согласен. А что касается юмора... Теперь хоть имею представление, какого рода шутки нравятся Быкову.

Да... С такими «друзьями», как Валерий Попов, и такими защитниками, как Владимир Соловьёв (этот тоже, рассказывая о друге, иногда его «подставляет»), с такими друзьями, право слово, и врагов не надо! Вот, к примеру, Соловьёв как бы невзначай вспоминает, как Довлатов болезненно относился к вопросу своей и чужой славы: «Помню, как он измерял линейкой, чей портрет больше, — его или Татьяны Толстой, когда “Нью-Йорк таймс бук ревью” поместила рецензии на их книги на одной странице...» Даже если и поверить в этот бред, то для чего сей факт вспоминает автор, претендующий на звание ближайшего друга и ревностного защитника Довлатова от гнус-

ных завистников и клеветников? Или этот пассаж к чему, объясните: «Сам Довлатов не придавал большого значения постельным отношениям “без божества, без вдохновенья”, а только в угоду дамам, будучи скорее дамским угодником, чем женолюбом, либо для самоутверждения, а то и просто по физиологической нужде, чтобы сбросить семя — по-гречески — все равно в какой сосуд»? Это должно каким-то образом изменить к Довлатову отношение тех, кто обвиняет его в безнравственности?

Странные друзья... Попов вроде бы и хвалит Довлатова, но как-то уж оскорбительно: «Довлатов оказался гениальным мастером пиара, хотя тогда это слово было нам незнакомо (да и в Америке только обретало права). Как красиво он, например, подает свое знакомство с переводчицей: “Очаровательная Энн Фридман повергла меня в любовь и запой”. Даже запой пригодился для создания неповторимого образа!» Или вот еще он прямо «нескрываемо» восторгается: «Постепенно Довлатов становится самым знаменитым русским прозаиком эмиграции. И хотя хитрый Довлатов стремился в любви компании представиться непутевым Шурой Балагановым — “чеканный профиль командора” проступает все четче».

Прав был покойный ныне Виктор Топоров, написавший сразу после выхода книги Попова, что своей «посмертной всероссийской славой Довлатов затмил, деморализовал и, по сути дела, погубил Попова, превратив его из веселого эпикурейца с программным “Жизнь удалась!” в завистливого халявщика, без конца (и без малейшей надобности) то и дело бессильно ноющего: “Повезло Довлатову, причем повезло дважды: сперва уехал, а потом умер!”»

Сейчас такое время. Если ты не близкий друг великого человека, то скорее

становись его недругом, хулителем и критиком, и тогда, вспоминая его, гения, упомянут и тебя. Какая-никакая, но шумиха вокруг, внимание... Быков Довлатова не знал, в список друзей сложно попасть, во враги — тоже, а вот в бескомпромиссные критики, в мудрые сокрушители ложного идола — прямая дорога. К тому же он уже поднаторел в такого рода спорте.

Попову сложнее. Он знал Довлатова. Критиковать его не решается, боится суда публики. Писать о Довлатове мемуары — не столь уж многое их связывало. И он решил стать его жизнеописателем. Но писать не о себе ему трудно, вот он и заимствует у других, целыми страницами цитируя чужие воспоминания, а между этими фрагментами пытается рассуждать: «И каждая его новая книга — ступенька к славе. А для души его — ступенька в ад. В “Невидимой книге” он высмеял, хоть и прославил, любимых ленинградских друзей. В “Зоне” герой в конце почти теряет человеческий облик. Автор — бросает, вместе с местом службы, любимую девушку... Но не оставаться же было там? “Компромисс” — обижены верные друзья и сослуживцы, брошены любимая женщина и дочь... Но не оставаться же было там! Знаменитейший “Заповедник”... Ужасное поведение автора, отъезд в Америку — от полной безнадежности — жены и дочери. “Наши”. Ради красного словца автор, в полном соответствии с пословицей, не пощадил не только отца, но и всю родню. “Филиал” — отомстил литературной братии и главному врагу, мучившему его всю жизнь, — Асе. Каждый шедевр оставил рану в сердце, и оно болело все сильнее».

То есть мягко, осторожно, но подтверждают все обидные звания и эпитеты злобствующих против Рассказчика врагов и обиженных героев: пьяница, ни-

чего святого, врун, пасквилянт, сплетник, клеветник, подонок, моральный урод...

В заключение Попов признается: «О Довлатове написана уже масса исследований, в том числе и научных, и, заканчивая книгу, я с ужасом думаю о том, какую длинную придется составлять библиографию. Но нет, читал я не все...» Да чего там темнить? Из текста понятно, что автор прочитал лишь книгу Людмилы Штерн, воспоминания Аси Пекуровской, записки Тамары Зибуновой, да еще о многом до ссоры рассказала Елена Довлатова. И каждая из этих женщин была, скажем так, немного обижена на Сергея, а то и не немного, и хоть время лечит раны, но шрамы от них остаются.

Финал книги таков: «Мир Довлатова рухнет! Мало ему сомнений в своих рассказах — выходит, что и как человек он — дерьмо? Причем все свои подлости он, оказывается, ловко маскирует, успешно использует! Этот “итог” карьеры ему трудно принять спокойно. Утонули все “киты”, на которых прежде стояла его жизнь, — и выходит, что и ему самому впору топиться!»

Наверное, мы всегда, рассуждая о других, судим по себе. Я, например, анализируя жизнь Довлатова, вижу человека, влюбленного в свою профессию. Он всецело отдавался литературе, но очень долгое время, почти до смерти, его никто не воспринимал в качестве глубокого и тонкого прозаика, настоящего мастера короткой прозы. С годами он стал искренне верить в то, что неудачниками рождаются и ничего с этим не поделаешь, что это врожденный порок человека, как, например, косоглазие или горб. Он так долго и упорно трудился, а товарищи и коллеги если ценили его дар, то невысоко, на уровне раннего Чехонте или Аверченко. Ему казалось: он не хуже признанных классиков, но постепенно стал верить ко-

рифеем и уже сам принижал свою значимость.

Этот огромного роста человек, всегда, если судить по книгам, сохранявший ироничное отношение и к себе, и к другим, и к жизни вообще, он всегда был не уверен в себе. Он не позволял себе самоуверенного взгляда на свою роль в истории литературы. Никогда не доходил до самодовольства! Мягко и нежно или строго и зло, сержезно или в шутку критикуя других, он в первую очередь подвергал такой критике себя, свою жизнь и свое творчество!

Настоящий творец постоянно находится между верой в себя и неуверенностью в своих силах. Вечно то шепчет себе «я гений», то глохнет от крика внутреннего голоса «я бездарность». Это хорошо для творчества, хотя и утомительно для самого творца. Так и живет, разрываясь между двумя диагнозами. Даже одного из них хватило бы, чтобы свести человека с ума, а тут вечная борьба.

Он не был уравновешен и стрессоустойчив. Он был впечатлителен и раним. Фраза «обидеть Довлатова легко, понять — сложно» была им придумана не случайно. Он надеялся, что будет понят читателями. Внимательными читателями.

А годы брали свое! К сорока годам он ничего не добился! Не добился и десятой доли того, о чем мечтал. Ни дома, ни семьи, ни денег, ни славы, ни родины... И никакой уже веры в то, что когда-то это будет...

И не говорите мне, что он сам во всем виноват! Довлатов имел смелость сам об-

рушивать на себя подобное обвинение. И часто именно себя-то и корил. Винил себя подчас даже тогда, когда любой на его месте поступил бы так же. Этот аргумент в глазах Сергея Довлатова не играл роли. К себе, в первую очередь к себе он предъявлял высокие требования.

Между тем почти одновременно с книгой Валерия Попова в Петербурге вышло подробное исследование литературоведа Игоря Сухих «Сергей Довлатов. Время, место, судьба». В этой книге на первом месте тексты Довлатова. И сразу понятно, что критик и литературовед, бесспорно, относится к Довлатову как к серьезному и очень большому писателю.

Довлатов был писателем! Даже когда еще не писал прозу, а сочинял в армии стихи. И он был писателем, уже когда ничего не писал перед смертью. Писатель не тот, кто что-то пишет (выдавая по двести книги в год), а тот, кто глядит на мир глазами писателя, все фиксирует, обдумывает, пропускает через себя, ищет лучшие и наиболее точные слова.

Довлатов ушел из жизни раньше, чем вышел на заслуженный покой. Его оценки своих трудов были занижены. «Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят».

Довлатову не надо было просить добавки у Бога. Бог все видит и знает. Знает все наперед. Он знал, какое бессмертие ожидает Довлатова.



Светлана БЕЛЯЕВА

СИБИРСКАЯ СТАРИНА В ГРАФИКЕ ВЛАДИМИРА КОЛЕСНИКОВА

Новосибирск имеет право гордиться Владимиром Колесниковым. Он действительно талантливый и яркий художник, художник высокого мастерства, и я счастлив, что мы работаем в одном городе.

Академик А. П. Окладников

Пять лет назад, 30 сентября 2010 г., не стало известного новосибирского графика и иллюстратора Владимира Климентьевича Колесникова. Памятная дата побуждает еще раз вспомнить этого мастера, посвятившего свое творчество художественному воссозданию исторического прошлого Сибири.

В. К. Колесников родился 27 июня 1937 г. в Воронеже. В 1963 г. окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева, где его руководителем был выдающийся архитектор и педагог В. С. Масленников. С 1963 г. Владимир Климентьевич участвовал в многочисленных областных, региональных, республиканских, всесоюзных, международных выставках; в 1967 г. стал членом Союза художников.

Значительную часть своей жизни, с 1954 г., художник провел в Новосибирске, работал и как архитектор, и как дизайнер. Но главной в его творческой судьбе стала книжная и станковая графика. Первая оформленная им книга — «Капитан Фракасс» Теофиля Готье — увидела свет в 1957 г. Всего Владимир

Климентьевич проиллюстрировал более двух сотен книг для Западно-Сибирского, Куйбышевского и других издательств. Не единожды он становился дипломантом всероссийских и всесоюзных книжных выставок-конкурсов. И эта высокая оценка его профессионального мастерства неудивительна, ведь оформление каждой книги было для Колесникова серьезной работой, «вживанием» в литературный материал, благодаря чему художник из пассивного иллюстратора чужих мыслей превращается в полноправного соавтора писателя.

Тема сибирской старины занимала особое место в творчестве В. К. Колесникова. Сотни станковых листов и книжных иллюстраций оказались результатом долголетнего увлечения Владимира Климентьевича далеким прошлым Сибири, его многочисленных поездок по старинным городам, тщательного изучения библиотечных и архивных фондов.

В коллекции Новосибирского художественного музея хранится ряд значительных работ художника, связанных с книгой Леонида Мартынова «Повесть о Тобольском воеводстве». Изящны, кра-

сиво закомпонованы гравюры из серии «Ястребиная охота», гармонично соединяющие в себе рисунок и текст. А группа листов с изображениями старинных сибирских острогов — Томска, Сургута, Мангазеи, Нарыма, Тобольска, Тюмени — открывает давние страницы истории освоения Сибири.

Процесс присоединения огромного сибирского края к Русскому государству был длительным и сложным. Уже в конце XVI в. освоение новых земель сопровождалось строительством острогов — основных оборонительных и опорных пунктов на пути казачьих дружин. Характерными особенностями крепостного зодчества в Сибири, связанными с социально-экономическими и климатическими условиями, были лаконичность общего решения и подчеркнутая строгость сооружений, выразительность их силуэтов и малая декоративность. Эти черты острожного строительства впоследствии нашли отражение и в сибирской деревянной архитектуре.

В. К. Колесников в своих произведениях умело восстанавливает облик утраченных острогов, дает возможность представить, какими они были несколько веков назад. Суровость и лаконичность их внешнего вида, само их предназначение диктуют и особенности изображения — сдержанность и благородство цвета, простоту рисунка, — выразительно передающие атмосферу далеких лет. В то же время художник прибегает к стилизации, продиктованной спецификой книжной иллюстрации. Все это, а также продуманное гармоничное сочетание изображений, гербов и шрифтовых надписей способствует тому, что из простого зрительного сопровождения текста рисунки

превращаются в равноценную составную часть исторического повествования.

В собрании Новосибирского художественного музея помимо книжной графики В. К. Колесникова хранятся его станковые листы, также посвященные теме острожного зодчества и принадлежащие к авторским сериям «Сибирь старинная» и «Сибирские остроги».

Произведения из серии «Сибирь старинная» отличаются единством стиля и в то же время позволяют увидеть, как точно выбирает художник выразительные средства и приемы, наиболее подходящие для каждого изображения. Особое внимание привлекают здесь листы «Томск» и «Нарым», отмеченные яркой красочностью, сказочностью созданных образов.

Работы из серии «Сибирские остроги» очень разнообразны, каждая по своему интересна и неповторима: исполненный в строгой коричневой гамме «Кузнецкий град», лаконичный «Сибирский город Нарым», изысканный молочно-черный с серебристыми проблесками «Енисейск град», сдержанный зеленовато-темный «Епанчин град». В ажурном, с четко читающимися силуэтами, «Кузнецком караульном граде» в очередной раз применено совмещение разных точек зрения — прием, неоднократно встречающийся в графике Колесникова. А в монотипии «Острог» в единое целое соединились постройки, показанные сверху, снизу, сбоку, изображенные в прямой и обратной перспективах.

Работы В. К. Колесникова, хранящие обаяние старины, определяют ценность и своеобразие его творческого наследия и остаются неотъемлемой частью сибирской художественной культуры.



АВТОРЫ НОМЕРА

Беляева Светлана Анатольевна — главный хранитель Новосибирского государственного художественного музея.

Герман Надежда — автор трех поэтических сборников и книги прозы. Член Союза писателей России. Живет в Хакасии.

Горшков Олег родился в 1964 г. в Ярославле. Окончил юридический факультет Ярославского государственного университета. Занимается адвокатской практикой. Публиковался в журналах «Новый берег», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Крестьян» и др. Автор четырех книг стихотворений. Лауреат ряда всероссийских и международных конкурсов. Живет в Ярославле.

Кожухов Игорь Александрович родился в 1967 г. в с. Береговое Новосибирской области. Работал строителем, сантехником, плотником, мастером на рыбозаводе, рыбаком, кочегаром. Живет в с. Береговое, работает в котельной.

Курилко Алексей родился в 1976 г. Писатель, актер, радиоведущий. Публиковался в журналах «Нева», «Радуга», «Крестьян», «Флорида» и др. Автор книг «Земля вращается со скрипом», «Волчья любовь» и др. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Киеве.

Ливинский Станислав родился в Ставрополе. По образованию фотограф. Работал фотокорреспондентом, видеооператором и звукорежиссером. Стихи

публиковались в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов» и др. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012). Автор книги стихов «А где здесь наши?» (2013). Живет в Ставрополе.

Орлова Серафима родилась в Омске. Рассказы и стихи публиковались в журналах «Кольцо А», «Пролог» и др. Лауреат нескольких литературных премий. Создатель театрального проекта «Вишневы шкаф». Живет в Омске.

Панкратов Георгий родился в 1984 г. в Ленинграде. Публиковался в журналах «Нева», «Север», «Нижний Новгород» и др. Финалист премии «Дебют» (2014). Проживает в Москве и Севастополе.

Ряскин Алексей Александрович родился в 1984 г. в Воронеже. Окончил Воронежский государственный университет. Работал курьером, сторожем, продавцом, мастером на заводе. Печатался в журналах «Подъем», «Наш современник», «Север», коллективных сборниках. Автор книг прозы и поэзии. Работает инженером, живет в Воронеже.

Светлосанов Владимир Сергеевич родился в 1957 г. Окончил филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Работает преподавателем русского языка и литературы. Автор нескольких поэтических книг и ряда журнальных публикаций. Живет в Новосибирске.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «**СИБИРСКИЕ ОГНИ**» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: **(383) 344-92-94**
E-mail: **sibogni@sibogni.ru** Сайт: **сибирскиеогни.рф**



Сдано в набор 11.11.2015 г. Подписано в печать 11.12.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф>

Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.